

Полевой П.



БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ

РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

Петр Николаевич Полевой

Братья-соперники (Россия державная)

Петр Николаевич Полевой (1839–1902) – писатель и историк, сын Николая Алексеевича Полевого. Закончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, где в дальнейшем преподавал; затем был доцентом в Новороссийском университете, наконец профессором Варшавского университета. В 1871 г. Полевой переселился в Санкт-Петербург, где занялся литературной деятельностью. В журналах публиковал много критических статей по истории русской литературы. В 1880-х гг. Полевой издавал «Живописное обозрение». Большой успех имели его «История русской литературы в очерках и биографиях» и «Учебная русская хрестоматия»; из беллетристики – многократно переизданные «Исторические рассказы и повести», а также романы «Государев кречотник», «Братья-соперники», «Корень зла», «Избранник Божий», «Под неотразимой десницей» и другие.

Главные герои романа «Братья-соперники», публикуемого в этом томе, – двоюродные братья Голицыны, князья Борис и Василий, игравшие видную роль в государственной жизни России, но принадлежавшие к разным партиям: Борис Алексеевич – к партии На-

рышкиных, выдвинувшей на трон Петра I, Василий Васильевич – к партии Милославских, поддерживавших царевну-правительницу Софью и ее брата Иоанна.

Содержание

#1	0007
I	0008
II	0018
III	0032
IV	0043
V	0057
VI	0074
VII	0092
VIII	0107
IX	0123
X	0142
XI	0159
XII	0176
XIII	0194
XIV	0210
XV	0223
XVI	0236
XVII	0251
XVIII	0268
XIX	0283
XX	0295
XXI	0313
XXII	0324
XXIII	0340
XXIV	0350

XXV0362
XXVI0376
XXVII0389
XXVIII0403
XXIX0418
XXX0433
XXXI0452
XXXII0466
XXXIII0479
XXXIV0493
XXXV0508
XXXVI0522
XXXVII0536
XXXVIII0548
XXXIX Эпилог0563

Петр Николаевич Полевой

Братья-соперники

© ООО ТД «Издательство Мир книги»,
Оформление, 2011
© ООО «РИЦ Литература», 2011
* * *

Зима 1686 года в Москве была, что называется, «сиротская». Легкие морозцы перемежались частыми оттепелями, и уже к концу февраля согнало снег с кривых и узких улиц Белокаменной. Все ждали ранней весны: завернули холода, задули резкие ветры, повалил мокрый снег – грязь развело невылазную. Вот и апрель наступил и к половине стал близиться, а тепло все не приходило: даже ветлы стояли голые, и ни одна травка не показывалась из земли.

Дивились москвичи такой напасти: «В былые годы об эту пору лист развертывался в полушку, черемуха зацветала, а тут и похожего нет!» Но еще более москвичей дивились непогоде польские послы, уже второй месяц гостившие в Москве и напропалую ругавшие «пшеклентых москалей» за их ослиное упрямство и непомерную требовательность. Сидя в четырех стенах Посольского двора на Покровке, они с досадою вспоминали между собою, что «в их-то благословенной Польше или хоть бы в той же Литве – теперь сущий

рай: яблони и груши как снегом осыпаны цветом! Красота и аромат! А в Варшаве, пожалуй, уже отцвели и каштаны... а тут! Видно, сам Бог отвернулся от этих схизматиков – в насмешку дает им такую весну!» Но как ни досадно было, а приходилось сидеть в Москве и ждать у моря погоды.

А между тем Москва давно уже не видала такого блестящего посольства! Цвет польской знати был прислан королем Яном Собеским для переговоров с великими государями московскими о деле первостепенной важности: о заключении вечного мира и крепкого союза против врага всех христиан, турецкого султана. Во главе посольства стояли старые воины и опытные дипломаты: князь Марциан-Александр Огинский, великий канцлер Литовский, и Криштоф Гримультовский, воевода Познанский; а при них были в товарищах – князь Николай Огинский, мечник княжества Литовского, да Александр Присский, да знаменитый богач и красавец Александр-Ян Потоцкий, да свита человек из пятидесяти шляхтичей, все самых родовитых, из самых отборных и старых польских и литовских фами-

лий; да столько же гайдуков, слуг и всякой челяди. Секретарем при посольстве состоял тайный иезуит Бартоломей Меллер – тонкая лица, на которую возлагались поляками большие надежды. И, несмотря на весь блеск посольства, несмотря на все полномочия, данные ему королем, дело подвигалось вперед черепашьим ходом, бояре и думные люди ни на шаг не отступали от требований, предъявленных послам с самого начала переговоров, настаивали на уступке Киева России, а под конец еще добавили к условиям вечного мира весьма важную статью, которую решено было прочесть и обсудить в заседании, назначенном на 18 апреля.

В день, назначенный для этого решительного заседания, погода, казалось, была еще хуже, чем во все предшествующие дни. Мгла, сырая и непроглядная, с утра белым саваном повисла над Москвою и скрыла от глаз не только золотую шапку Ивана Великого и островерхие кровли кремлевских башен, но окутала даже главы кремлевских соборов, затушила даже причудливо раскрашенные и вызолоченные вышки царского Теремного дворца.

Изредка, словно сквозь сито, сеял дождик, покрывая стены зданий сероватым, матовым оттенком сырости и насквозь пронизывая холодом боярских слуг и челядинцев, которые толклись в грязи на Ивановской площади, сплошь заставленной каретами, колымагами, колясками старых бояр и сотнями верховых коней. Продрогшие кони жались и ежились под своими попонами, щепетливо переступая ногами и потряхивая головой; люди кутались в армяки и полушубки, похлопывая рукавицами и сердито поглядывая искоса на сторожевых стрельцов, которые в виде почетной охраны окружали посольские кареты и посольских челядинцев, так плотно укутанных в темные плащи с куколем, что из-под куколя видны были только носы да усы. Нигде – ни смеху, ни говору, ни обычных шуток и заигрываний; все были утомлены и голодны, потому что топтались на холоду и в грязи от раннего утра и напряженно сосредоточивали все свое внимание на Государевом дворе (насколько он был виден через решетку с площади), стараясь уловить признаки, предвещающие близкое окончание «боярского сиденья».

Но этих-то именно признаков и не было видно. У ворот двора по-прежнему стояли караульные жильцы с бердышами и копьями, по двору степенно расхаживали стрелецкие десятники, поспешно перебежала от палат к палатам дворцовая служня, и с озабоченным видом шагали от приказов к дворцу и обратно подьячие с большими свитками столбцов под мышкою...

Под навесом главного дворцового крыльца, на широкой площадке, толпилась густая масса дворян, гостей и низших придворных – так называемых площадных. Здесь, на площадке-то, собственно и была главная биржа всех дворских слухов, вестей, интриг и сплетен. Все эти стольники, стряпчие и дворяне, собираясь сюда ежедневно, как на обязательную службу, толкались здесь иногда десятки лет, в ожидании «пожалования» должностью или «повышения» в своем дворском положении: все знали друг друга в лицо и могли один о другом рассказать всю подноготную. Понятно, что и в этот день на площадке главным предметом всех толков было то «сиденье с польскими послами», которое происходило

В Ответной палате. Между отдельными группами шел такой оживленный и непрерывный говор, что общий гул его доносился даже и за ограду двора: несколько сот человек говорили вполголоса, и речь их сливалась в какое-то нестройное жужжание громадного растревоженного улья.

– И чего они там рассиживают, словно тесто в квашне! – слышалось в одной из групп. – Ну, порешили бы уж чем-нибудь разом да шли бы по домам щи хлебать!

– Ишь ты, прыток больно! Это ведь не Алтынного царя послы пришли, что можно сказать: «Поцелуй пробой да ступай домой!» Тут, брат, я думаю, у самого боярина Василья Голицына от дум-то голова трещит!.. А кажется, уж на все руки ловок?

– Что и говорить! Недаром братец-то его, кравчий Борис Алексеевич, себе в бороду посмеивается да поговаривает: «Как бы тут князь Василий себе шеи не свернул!»

– Свернуть не свернет, а повозиться с ними еще таки придется. Король Ян знал, кого в послах отправил!

– Да пойми же ты, Иван-свет, – слышалось

в другой группе, – что нашим теперь уступить никак негоже! У великих государей осталось с королем Польским всего только девять перемирных лет, а поляки нас в войну с турским султаном тянут... Вот им и предлагают.

– Что предлагают?.. – нетерпеливо перебил собеседника сановитый московский дворянин. – Предлагают такое, на что поляки ни в жисть не согласятся! Не лучше ли бы уже все разойтись, чем столько времени в пустых речах проводить?

– Нельзя разойтись-то! Мы им теперь во как нужны. Кесарь-то римский на Польшу налег, чтоб в союз нас звала – нами правую руку у султана удержать хочет. Вот князь-то Василий Васильевич, – тут говоривший понизил голос, – и уперся на своем: коли хочешь вечного мира да союза – отдай нам Киев да Запороги...

– Ну вот под Киевом и сидим семь недель, ни разу не доспавши да не поевши вовремя...

– Какой там вечный мир с Польшей? Что они толкуют! – слышалось в третьей группе. – Лях русскому первый враг – хуже лютого тата-

рина. По-моему, поваднее с татаринном на ля-
ха идти, нежели с ляхом на татарина!

– Эк ты хватил! Настоящий хохол! Да ведь
нам бы великий стыд и зазор учинился, кабы
мы теперь от иных христианских государей
отстали, потому и кесарь римский, и Вини-
ция...

– Какие там христианские государи! Поди
полюбуйся, что у нас под боком польский ко-
роль делает! Все православие по Литве разо-
рил и церкви Божьей от него житья нет! А то-
же, поди, христианским государем слывет!

– Как поглядишь поближе на людей-то,
братец мой, – перешептывались тем време-
нем в дальнем углу площадки два старые дья-
ка, – ажно и страшно станет! Словно звери
лютые друг на друга смотрят – который кото-
рого в клочья разорвет! Ведь вот хоть бы и
меж бояр-то наших, два братца – князь-то Го-
лицыны! Князь Василий из сил выбивается,
чтобы царевне Софье потрафить; а князь-то
Борис только того и смотрит, как бы его в лу-
же утопить да царицу Наталью Кирилловну с
царем Петром потешить...

Но тут дверь на верху крыльца хлопнула,

и вся площадка смолкла разом... Из двери вышел на крыльцо думный дьяк Возницын, тучный и красный как рак, и стал поспешно спускаться по ступенькам, насколько позволяли ему его тучность и ослабевшие старые ноги. К нему, впрочем, тотчас же подскочило несколько человек знакомцев из числа стоявших на площадке, подхватили милостивца под руки и почтительно и бережно помогли ему сойти с крыльца, на пути его распрашивая и на лету ловя отрывочные его фразы. И в то время как дьяк Возницын, грузно переваливаясь, поплелся через Государев двор, мимо соборов, к Приказам, площадка уже во всех концах гудела только что полученными свежими вестями. «Дело не клеится...» «Дьяка в Посольский приказ наспех послали...» «Сказки донских казаков о польских подговорах требуют...» «В Ответной палате духота такая, что хоть с ног вались...» «Поляки-то криком кричат, Бутурлин с паном Криштофом так было сцепились, что хоть водой разливай...»

Но минуем площадку, минуем заветную «преграду» дворцового крыльца, строго охра-

няемую дворцовым караулом, и чрез Золотую палату пройдем прямо туда, где в настоящую минуту вершится «дело государское» и ведутся «разговоры пространные» и «споры многие».

Посольская, или Ответная, палата, где обычно происходили переговоры бояр с иностранными послами, была не обширна, но зато отделана – на славу. Незадолго до приезда великих и полномочных послов ее всю подновили, а потолок расписали в ней синими облаками, по которым разметали частые золотые звезды. Стены палаты раскрасили под разноцветный мрамор, а поверх этого мрамора пустили серебряные травы с золотыми цветами. В двух углах палаты, на массивных львиных лапах, стояли печи из пестрых поливных изразцов. Пол палаты был устлан мягкими войлоками и цветными немецкими сукнами, а стены, кругом, до половины завешаны дорогими персидскими коврами. Кругом стен стояли рундуки и лавки, покрытые мягкими тюфяками, а в переднем углу поставлен был длинный стол на точеных золоченых ножках, с рѳписною доскою. Около стола – два богатых кресла, обитые заморскою золотною кожею, и несколько стульев и стульцев с подушками, обшитыми золотым

кружевом. На стене в переднем углу висел небольшой деисус в богатой золотой ризме, усаженной крупными камнями, которые играли, переливаясь лучами при свете горевшей лампы; на двух других стенах, как раз противоположных, вывешены были писанные масляными красками *персоны* (или портреты) покойного царя Алексея Михайловича и польского короля Яна III Собеского – оба в резных золоченых рамах. Первый из этих портретов краем рамы почти прикрывал решетчатое окно *тайника*, из которого особы царского семейства нередко слушали посольские речи.

В переднем углу, по обе стороны стола, заседали польские послы и бояре, назначенные быть с ними «в ответе». На первом месте сидел ближний боярин князь Василий Васильевич Голицын, «царственные большие печати и государственных посольских дел обергатель» – высокий, статный мужчина лет сорока пяти, с замечательно умным, приятным и выразительным лицом. Рядом с ним – ближние бояре: Борис Петрович Шереметев да Иван Васильевич Бутурлин; далее – ближние

окольничие Скуратов и Чаадаев. Рядом с князем Голицыным стоял первый делец Московского государства, думный дьяк Посольского приказа Емельян Игнатьевич Украинцев, человек весьма пожилой, с большою проседью в длинной и жидкой бороде.

По другую сторону стола, на первом месте, помещался князь Марциан Огинский – старик лет под семьдесят, седой и величавый; рядом с ним сидел его товарищ, Криштоф Гримультовский – типичный представитель коронного шляхетства, полный, атлетически сложенный мужчина, с огромными русыми усами, упадавшими на бархатный контуш, с энергичными движениями и весьма выразительною мимикой. Далее помещались около стола почетнейшие представители свиты посла – младший Огинский, Потоцкий и Присский. Между Марцианом Огинским и Гримультовским (как раз напротив Украинцева), почтительно нагибаясь то к канцлеру, то к воеводе, стоял секретарь польского посольства, Бартоломей Меллер, человек самых тонких светских манер, мягкий и вкрадчивый в обращении.

В глубине палаты, на лавках около стен, чинно и неподвижно сидели, по одну сторону, думные дворяне в своих длинных и величавых станowych кафтанах, а по другую – польские шляхтичи, в роскошных контушах с откидными рукавами, в пестрых поясах, расшитых шелками, и в щегольских сафьянных сапогах, подбитых серебряными подковами. По бокам входной двери, завешенной тяжелым ковром, словно два каменных изваяния, стояли, опершись на саженные протазаны, два жильца в красных кафтанах и в бархатных шапках, опушенных соболем.

Палата была освещена очень скудно, десятью небольшими окошками. Да и откуда было взяться свету? Сквозь частый фигурный свинцовый переплет и расписную слюду с надворья проникал в палату только сумрак и, казалось, на всех и на все налагал свой оттенок. Притом в палате, по русскому обычаю жарко натопленной, было душно и смрадно: в воздухе стоял пар от дыхания и пота присутствовавших, заседавших уже несколько часов сряду.

И все заседавшие были утомлены, изнуре-

ны тягостным «сиденьем». И с польских послов, и с бояр градом катился пот. Князь Голицын и князь Огинский внимательно прислушивались к горячему спору, завязавшемуся между Гримультовским и Бутурлиным, между тем как Украинцев, вытянув ладонь левой руки и положив на нее узкий и длинный листок бумаги, быстро и четко записывал в столбец посольские речи, то и дело помакивая перо в чернильницу, привешенную к поясу.

Гримультовский говорил с каким-то особенным, напускным пафосом.

– Уступает крулевское величество и Речь Посполитая *Москевским* государям навечно города – Чернигов, Стародуб, Новград-Северский, Глухов, Батурин, Нежин, Полтаву и всю Малую Россию – а вам все замало!.. Вам пул крулевства нужно! То не можно, Панове.

Бутурлин отвечал ему не менее запальчиво:

– Пусть ваше при вас и останется! Вы нам только наше-то верните! Киев – святая отчина и дедина нашим великим государям, «матри городов Русских»! А вашего полкоролев-

ства нам не нужно...

– Прошу наияснейшего пана великого печатника, чтобы повелел еще раз нам читать из вашей грамоты, как там о Киеве написано? – обратился Гримультовский к Голицыну.

Оберегатель кивнул головою в сторону дьяка Украинцева, и тот истово, толково и внятно прочел следующее:

– «...Да на той стороне реки Днепра, богоспасаемый град Киев, с Печерским и Межигорским и с иными монастыри... Тако ж и вниз реки Днепра от Киева до Кадака, и тот город Кадак, и Запорожский Кош, город Сечу и даже до Черного леса и до Черного ж моря со всеми земли и реки, и речки, и угодьи, чем исстари владели запорожцы, и с...»

Князь Огинский не дослушал и, обращаясь к Голицыну, сказал:

– В великом-то у меня есть подивлении, пан великий печатник, что вы уже совсем в наши рубежи вобрались!..

– Любительно прошу вашу милость, брата моего, – спокойно и с достоинством отвечал Голицын, – прошу припомнить, что его величество король Польский по Журавинским до-

говорам уже уступил всю Украину турецкому салтану, а салтан Турский переуступил Киев и украинские города и все Запорожье в сторону царского величества. О каких же *ваших* *рубежах*, ваша милость, изволишь говорить?

Огинский, не ожидавший этого возражения, не нашелся ничего ответить, а Голицын продолжал:

– Киева в польскую сторону никак отдать нельзя и не будет отдан, потому у малороссийского народа с поляками за утеснение веры и за другие обиды великие ссоры и брани идут, и никогда успокоения ожидать нельзя. О каком же вечном мире рассуждать станем, коли своих братьев вам на утеснение отдадим? Если же король польский уступит царским величествам город Киев и Приднепровье по тот рубеж, какой у нас в грамоте указан, то их царские величества готовы и вечный мир заключить, и в союзе с королем войну против крымского хана вести.

Вопрос поставлен был так ясно, что дальше и обсуждать было нечего. Удар нанесен был метко и сильно. Голицын это сознавал, и в то время, когда в палате на мгновение во-

дворилось молчание, а польские послы стали о чем-то перешептываться между собою, Голицын невольно поднял взоры к портрету царя Алексея Михайловича; он чувствовал, что из-за его резной рамы, сквозь частую решетку тайника на него приветливо смотрят чьи-то черные, пламенные очи...

Молчание нарушил Гримультовский:

– Ясновельможный пан печатник упомянул об обидах великих и ссорах и бранях между малороссийским и польским народом, которые будто бы, не уступив Киев, и примирить не можно. Объяви, ваша милость, в чем, *на пшиклад*, обиды?

Вместо Голицына Гримультовскому стал опять-таки возражать Бутурлин, которому Оберегатель охотно уступал слово в этом споре, припасая к концу свой веский довод.

– Пан воевода, немудрено нам будет объяснить тебе польские обиды к малороссийскому народу и за прикладами ходить недалече. Еще недавно присыланы с польской стороны на Украину через лазутчиков прелестные письма, и те лазутчики все изыманы, и пытаны, и в своем воровстве повинились. А коли

хочешь больше знать, так вот гетман Иван Самойлович доносит, что в приднепровские города даже и чернецов с польской стороны пускать не велел, опасаясь от них всякой смуты, да он же Самойлович и жалуется, что поляки, за его верность великим государям, многожды его всячески извести хотели...

Гримультовский круто повернулся в своем кресле и резко перебил боярина Бутурлина:

– Вельможный пан воевода Бутурлин, как видно, позабыл, что *concordia parvae res crescunt, discordia et maximae dilabuntur!*..[1] Позабыл, вельможный пан, что мы здесь собрались к договариванью о вечном мире и союзе и можем слушать только то, что к святому покою обоим государствам надлежит, а не противности и покою нарушающие речи!..

– Какому тут быть святому покою, когда с Украины вопль до Москвы доходит от ваших утеснений святой нашей Церкви! Вот, полюбуйся, пан воевода, что в Посольский приказ пишет князь Гедеон Четвертинский, что в Луцке епископом был!..

– Что же он может писать? Зачем ему верить? Он королевскому величеству измен-

ник, перебежчик!

– И всякий побежит, пан воевода, как станут приневоливать в римскую веру либо в униаты. Недаром же он и епархию бросил, и от доходов отказался, и живет теперь простым иноком в Батурине. Лучше уж в Батурине укрыться, чем на вечное заточение в Мариенбург угодить!

Тут Гримультовский, Потоцкий и Огинский-младший разом так громко заговорили и по-польски, и по-русски и так яростно стали возражать Бутурлину, что Голицын попросил князя Марциана унять крикунов и, когда восстановлено было молчание, сказал совершенно спокойно и твердо:

– На все то противное и вредительное братской любви между государством Московским и коруною Польскою, о чем боярин Иван Васильевич Бутурлин пану воеводе высказал, присланы нам подлинные письма епископа Луцкого и гетмана Ивана Самойловича, которые здесь под рукою могут быть панам послам предъявлены...

Поляки молча переглянулись между собою и пожали плечами.

– Но ясновельможный пан Гримультовский был прав, – продолжал Голицын, – напомним нам, что мы здесь собрались совещаться об умножении крепчайшей между великими государями дружбы и к тому должны всяких средств и способов изыскивать. В этих видах великие государи положили его королевское величество умильно просить, дабы во всей коруне Польской и великом княжестве Литовском всем живущим людям греко-российского закона никакого утеснения не чинить... Емельян Игнатьевич, прочти это место в грамоте...

Украинцев отложил столбец на стол, перо заложил за ухо и, взяв со стола грамоту, прочел в ней следующее:

– «Всем живущим людям утеснения не чинить и чинить не велеть; но, по давним правам, во всяких свободах и вольностях церковных блюсти...»

– Вот чего добиваются проклятые схизматики! – прошипел на ухо Гримультовскому Бартоломей Меллер.

– «А благословение и рукоположенъе, и постановление всему духовенству православно-

му, которое в Польше и Литве обретается, принимать в богоспасаемом граде Киеве, от преосвященного киевского митрополита без всякого препинания и вредительства...»

Послы польские так и привскочили на своих местах. Между ними явственно послышался шепот:

– Так вот для чего москалям Киев нужен! Москали и нас хотят окрестить в свою схизму!

Но Огинский подал знак, и говор смолк. Положив руку на королевскую грамоту, великий канцлер обратился к Голицыну и сказал дрожащим от волнения голосом:

– Вижу, что нам не придется нашего святого дела завершить и к общему добру вместе поднять оружие на врагов всего христианства. *Але* одно скажу милости вашей, брату моему, и вам, панове воеводы государства Московского, что *ежели* враги Церкви Божьей, турки и татары, цезаря римского и круля Польского *зничтожат*, то потом и на нас встанут войною, и вам с ними воевать будет трудно.

Голицын не дал Огинскому закончить и

сказал строго и чинно:

– Таких речей, милость ваша, нам здесь вести непригоже. Государство у их царских величеств пространное и многолюдное и оборониться от всяких врагов может, ни у кого не прося ни союза, ни помощи. И я прошу у твоей милости прямого ответа на главные статьи договора, о вечном мире...

– Прямого ответа? – отозвался Огинский сухо и холодно. – Пан-секретариуш! Пиши, что я тебе укажу!

Бартоломей Меллер и Украинцев разом взялись за перья; а в палате воцарилась такая тишина, как будто все притаили дыхание. Огинский продиктовал:

– «Наияснейшего и великого государя Яна III Божию милостью круля Польского, великого князя Литовского, Русского и иных, его величества канцлер великий Марциан-Александр князь с Козельска Огинский, Мстибовский, Радишовский, Сидричинский и проч. староста – на уступку Киева Московскому государству не изволяем».

В окне тайника ярким пламенем блеснули те же черные глаза, и за решеткой его занавесились.

веска задернулась так порывисто, что князь Голицын явственно расслышал, как звякнули кольца занавески о медный прут. Послы и свита их поднялись со своих мест, за ними встали все сидевшие «в ответе». Поляки обменялись с боярами чинным и холодным поклоном и горделиво вышли из палаты.

Взор, брошенный вслед им Голицыным с товарищами, был слишком красноречив и выразителен.

«Большой двор» князя Василия Васильевича Голицына занимал, невдалеке от Кремля, лучшую часть Белого города, между Тверскою и Дмитровкою, как раз против Моисеевского монастыря. Но палат князя Василия с Тверской не было видно, потому что все его владение было обнесено высокой каменной стеной; из-за нее протягивались на улицу зеленые ветви вековых густолиственных лип, кленов и ясеней, среди которых только местами выступали вышки и кровли боярского дома, крытые заморским белым железом, да возвышался купол церкви Живоначального Воскресения, построенный во дворе князя Василия, направо от въездных ворот, выходивших на Тверскую.

Эти ворота представляли собою целое здание, с жильем наверху, с высокою черепичною кровлею, над которою высился большой железный прапор (флюгер) с гербом Голицыных. Тяжелые дубовые створы ворот, обитые лужеными гвоздями и вырезными скобами, отпирались настежь только для хозяев дома и

почетнейших гостей, пользовавшихся правом въезда во двор княжих палат. Все остальные смертные должны были входить во двор калиткою, оставляя верховых коней и повозки на улице около коновязей, нарочно для того устроенных вдоль всего забора княжего двора.

Вошедшему на двор налево бросались в глаза широкие крытые крыльца боярских палат, направо – расписная паперть надворной церкви, соединенной особыми переходами на столбах с главным домом. За церковь тянулся огромный флигель оружейной и конюшенной палаты – домашний арсенал и склад конской сбруи, – и громадные конюшни, в которых постоянно стояло не менее полутора ста коней, всяких мастей и пород, от белых как снег высоких голштинских возников до приземистых иноходцев и степных аргамаков. Налево, против оружейной, тянулось огромное здание общей людской палаты, под которую помещались каретные сараи и особые конюшни для самых дорогих и любимых княжеских коней. Далее, среди зелени, виднелись крыши и трубы мастерских палат и всяких

остальных служб.

На дворе, конечно, было вечное движение, потому что в усадьбе князя Василия постоянно жило по меньшей мере 300–400 человек всякого рода слуг, мастеровых, подручников, приспешников, приживальщиков, стариков и захребетников. На половине супруги князя, княгини Авдотьи Ивановны, тоже было не меньше сотни всяких служанок, сенных девушек, мастериц, старух, богомолиц, юродивых, карлиц и дурак. Каждый даже и самый последний из слуг князя Василия понимал его значение и силу, понимал, что «за его спиной, как за каменной стеной» можно жить припеваючи и делать все, что вздумается, не опасаясь ни спросу, ни сыску. Часть этой праздной и сытой челяди вечно толпилась и балагурила за воротами, благодаря этому по Тверской, даже среди бела дня, не было ни проходу, ни проезду от буйства и грубых шуток голицынской дворни, которая не давала спуску ни конному, ни пешему; а под вечер... все предпочитали объезжать княжие палаты окольным, но менее опасным путем.

Но с тех пор, как третьего дня князь Васи-

лий вернулся из дворца темнее грозовой тучи, весь дом, весь многолюдный двор его словно замер. Ни толпы за воротами, ни шума, ни движения во дворе... Все наострили уши и вытянулись в струнку. В дворне только шепотом передавали друг другу на ухо, что князь в тот день не обедал и не ужинал и никого даже из семейных к себе не допускал. На другой день князь не поехал ни во дворец, ни в Приказы, сказался больным, даже посылал за дохтуром-немцем в немецкую слободу и с тем немцем беседовал более часа.

На третий день, рано утром, к князю явился за приказаниями дьяк Украинцев. Встреченный на крыльце низкими поклонами многочисленной челяди, он тотчас был проведен особыми сенями, обитыми червчатым английским сукном, прямо в шатровую палату князя.

Шатровая палата была любимым домашним покоем князя Василия. Название свое она получила от того, что потолок ее имел вид купола. В нем было пробито несколько круглых просветов, забранных слюдяными оконцами. Сверх того палата освещалась це-

лым рядом небольших стекольчатых окон, выходявших в сад. Стены этого покоя были обтянуты красным сукном, а снизу, в виде широкой панели, почти в рост человека обиты немецкими золочеными кожами и расписными холстами в золоченых рамах. На этой панели очень красиво выделялись черные резного дела немецкие шкафы и пузатые комоды, с серебряными кольцами и скобками и черные стулья с подушками, обитыми алым бархатом. У двух стен стояли два стола с врезанными в них оловянными узорами и личинами. Над одним из столов, на стене, висели французские часы без гирь, в футляре с перламутром и бронзою, а по бокам стола два зеркала в роскошных рамах с серебряными фигурами и углами. На противоположной стене красовался целый ряд немецких гравюр за стеклом и в рамах. Убранство палаты дополняли высеребренные шанданы (канделябры) на стенах и хрустальное виницийское паникадило (люстра), с цветными подвесками, спускавшееся с середины купола.

Весь передний угол палаты блистал и горел богатейшими иконами в золотых и сереб-

ряных ризах, осыпанных камнями, золочеными киотами, янтарными крестами, ценными панагиями и складнями – дарами, приношениями и благословениями, которые сыпались на Оберегателя со всех концов России и ежегодно переполняли «крестовые палаты» князя, княгини и их семейства.

Дьяк, войдя в палату, застал князя Василия в кресле у стола, с толстым фолиантом в руках; Украинцеву показалось, что за два дня князь Василий успел и побледнеть, и похудеть. Перекрестившись на иконы и отвесив князю обычный поясной поклон, дьяк осведомился о здравии.

– Телом здоров, Емельян Игнатьевич, а духом немощен! Каковы у тебя вести?.. Не утешись ли чем?

– Добрых вестей нет. Куранты[2] вчера из Смоленска получены – так и в них тоже ничего для нас подходящего не пишут. А послы-то польские – точно, что в дорогу собираются.. Поговаривают, будто завтра хотят просить, чтобы поскорее «у руки» быть.

Князь сердито топнул ногой и отвернулся. Помолчав немного, он снова обратился к дья-

ку с вопросом:

– *А тем-то путем ты их обойти не пробовал?*

– Как не пробовать, князь-батюшка, когда ты мне сам приказал! Посылал я к этому Варфоломею Меллеру и пристава нашего (уж на что продувной малый!), и немку одну из Немецкой слободы подставлял (а ведь эти езовиты до женского пола во как люты!), так нет же: все неймет! «Я, говорит, своего короля ни за какие тысячи не продам». А слышно, этот самый Варфоломей душою Огинского, как своим майонтком[3], владеет.

– Ну как же быть теперь, по твоему-то разумению? – спросил князь, пристально вглядываясь в умное лицо опытного дьяка. И сразу понял, что задал напрасный вопрос: лицо Емельяна Игнатьевича выражало такое недоумение.

– Задержать бы их немного... – решил он только процедить сквозь зубы. – Узнать бы, что за вести им гонец привез?..

– Какой гонец? Когда? Что ж ты мне не скажешь!.. – вскрикнул князь, вскакивая с места.

– Прошу прощенья, запомятовал... А ве-

сти-то, должно быть, немаловажные; потому что послы того гонца тотчас на ключ в чулане заперли и стерегут...

– И неужели же ты, старая, ношенная птица, не мог узнать... подкупить... подслушать?

– Государь мой милостивый, – отозвался несколько обиженным тоном Украинцев, – все подкуплено! Каждый шаг их ведом: трижды в день доклады с Покровки получаю. А как же ты узнаешь, какую грамоту послы с гонцом получили, когда они ее, запершись, промеж себя читать станут? Да кабы ту грамотку и в руках держать – что проку? Писана цифирью – без ихней азбуки не разберешь. Чай сам ведаешь, как крюками пишут? На всякое дело свой крюк! Знаю только, милостивец...

– Ну, ну, что знаешь? – говори скорей.

– Знаю, что, получивши вести от гонца, послы велели всем готовиться к отъезду и наспех в путь собираться... И вся их шляхта на радостях перепилась до страсти! Сам Потоцкий в пляс пустился... Так вот подзадержать бы, милостивец...

– У тебя, Емельян Игнатьевич, всегда одна

песня! Позадержать бы... позамедлить! Да ведь это не грамота, не писаная отповедь, что под сукно положить можно, а живые люди! Если их «к руке» не допускать подольше, так хуже может выйти – «без руки» уедут! Им не дороги подарки! А ежели уедут, не справив дела, да ежели без нас салтана одолеют – что скажут наши приятели, соседушки-то Преображенские? Что зашипят Нарышкины да Шереметевы, да Черкасские, да Долгорукие?! Как станет надо мной глумиться братец-то почтенный, Борис-то Алексеевич! А? Да они меня со свету сживут!..

Дьяк упорно и сосредоточенно молчал; он очень хорошо понимал, в какую опасную и трудную игру играл Оберегатель; а зная характер князя Василия, еще лучше понимал, что советовать в данную минуту было опасно.

Между тем Голицын, пройдясь несколько раз по палате, успел совладать с собою настолько, что мог уже сказать Украинцеву совершенно спокойным голосом:

– Я и сегодня не поеду во дворец. Жду дохтура – так и скажи там, на Верху, чтоб знали. А сам зайди ко мне сегодня под вечер, попоз-

же, ты мне будешь нужен.

Украинцев низенько поклонился князю Василию и вышел из палаты. Он хорошо понял, что Оберегатель принял какое-то важное решение. Но какое?.. Это даже и умному Емельяну Игнатьевичу не приходило в голову.

Тотчас по удалении Украинцева Голицын свистнул. Вошел старый дворецкий Кириллыч.

– Никого не принимать до моего приказа! Обедать мне велишь подать в моей столовой. Да распорядись ко мне послать Куземку.

Дворецкий поклонился, но не уходил, переминаясь с ноги на ногу на пороге.

– Ну что тебе еще?

– Матушка княгиня Авдотья Ивановна приказала у милости твоей о многолетнем здравии спросить; а сын твой Алексей, князь Васильевич, твоих пресветлых очей видеть желает.

– Попозже... некогда теперь... А княгине передай, что мне полегчало... помог-де дохтур-немец травным зельем. Так посылай живой Куземку!

Дворецкий поклонился молча и удалился

неслышными шагами.

Несколько минут спустя в сениях послышались скрип сапог и легкий кашель.

– Войди! – крикнул князь Василий.

На пороге появился высокий сухощавый человек лет пятидесяти, смуглый и рябой, с целой копной черных волос на голове, с курчавой бородкой, в которой кое-где серебрилась седина. Большие серые глаза – глаза хищной птицы – зорко и смело глядели из-под густых нависших бровей. На нем был вишневый суконный чекмень, подтянутый щегольским черкесским поясом с серебряными бляхами; а из-под чекменя выглядывало лазоревое тафтяное полукафтанье с серебряными пуговицами. В руках он держал суконный колпак, отороченный пухом. Это и был Куземка Крылов, старший ловчий князя, пользовавшийся большим доверием.

– Съезди к Гваксанию! За тем же дохтуром-немчином. Проведешь его через часовню! Да мигом будь обратно!

Куземка отличался тем, что ему не нужно было повторять приказаний.

IV

Гваксаний, итальянец по происхождению, светский иезуит и иезуитский агент по профессии, давно уже поселился в Москве, где жил под видом флоренского купца. В 1685 году, воспользовавшись пребыванием в Москве царского посла Курцея, Гваксаний при его посредстве купил даже дом в Немецкой слободе и приготовил гнездо для иезуитов в Белокаменной. К нему в том же году пробрался из-за польского рубежа иезуит Шмит, который, пользуясь кое-какими сведениями в медицине и выдавая себя за дохтура, сумел втереться в дома влиятельнейших лиц и прежде всего, конечно, вошел в сношения с Оберегателем. Он привлек внимание Голицына тонким умом, блестящим светским образованием и основательными сведениями в различных областях знаний. В беседах своих с князем Василием Шмит не скрывал того, что он принадлежит по религиозным убеждениям к ордену иезуитов; с пафосом, достойным превосходного актера, рассказывал он о могуществе и всемирном значении ордена и не упус-

кал случая искренне пожалеть о том, что только в Россию еще закрыт иезуитам путь. Князь Василий все это слушал и мотал на ус; он видел в Шмите ловкого агента, которым можно будет воспользоваться в дипломатических сношениях с Европой, и не приказывал тревожить «дохтура» слишком пристальным надзором за его деятельностью. А эта деятельность особенно усилилась с тех пор, как прибыло в Москву польское посольство и при нем в секретарях – Бартоломей Меллер, один из важных иезуитских агентов, совершенно опутавший старшего Огинского. Меллер и Шмит по целым вечерам проводили вместе в каких-то тайных совещаниях, и уже после первых заседаний с послами Шмит дерзнул предложить Голицыну свое посредничество...

Князь Василий отклонил его довольно сурово. Шмит стушеввался и не показывался на глаза Оберегателю до тех пор, пока в день полной «разрухи» с послами Голицын сам о нем вспомнил. Тогда уж Шмит, явившись, предложил свои условия. Князь Василий не дал ему никакого ответа и сказал, что подумает... На том они и расстались. И действитель-

но, он выжидал весь следующий день. Через Украинцева и агентов Посольского приказа он пустил в ход все пружины, которыми, казалось, можно было повернуть дело на настоящий путь и побудить Огинского к возобновлению переговоров. Но все усилия ни к чему не привели, а ждать не хватало силы... Отовсюду приходили вести недобрые – враги Оберегателя уже торжествовали заранее его несомненную неудачу; а двоюродный брат его, князь Борис Алексеевич Голицын, не стесняясь, осмеивал дипломатические уловки и тонкости, пущенные в ход князем Василием в переговорах с поляками и все же окончившиеся «разрухой».

Князь Василий, от ранней юности избалованный счастьем, привыкший к легкой удаче и к легкой наживе, выросший и созревший среди интриг и ожесточенной борьбы дворских партий, беспощадно губивших друг друга, рано был вознесен на верх славы прихотливою судьбою. Между тем как другие около него боролись и гибли, то проливая кровь, то пачкаясь в грязи, он сумел, не запятнанный ничем, вознестись над всеми, только благода-

ря своему уму, своим блестящим способностям и обворожительному умению всех прельщать и всем нравиться. Сблизившись с царевной Софьей, он стал первым из первых вельмож в государстве. И вот теперь, когда царевна ожидала, что он, как и всегда, восторгается над всеми препятствиями и прославит ее имя заключением выгоднейшего мира с Польшей, его надежды вдруг готовы были рушиться... Он понимал, что, если послы уедут, не закончив «вечного мира», все обвинят в неудаче его, Оберегателя, позабыв все его прежние заслуги, все закричат, что, мол, управление делами Посольского приказа не его ума дело!.. «А то скажет, что подумает царевна, привыкшая ему верить!..» При этих мыслях вся кровь бросалась в голову князю Василию; он судорожно сжимал кулак, грозя какому-то незримому врагу.

– Нет! Будь что будет! Поневоле пойдешь окольной дорогою, коли нельзя идти прямым путем... А там с помощью царевны сумеем как-нибудь поправить дело и схоронить концы в воду!

Часа три прошло с тех пор, как Куземка по-

ехал за дохтуром. Князь Василий после обеда не пошел отдыхать – ему не до отдыха было! Он заперся на ключ в своей шатровой палате и тревожно ходил по ней взад и вперед, углубленный в думы.

Вдруг послышался легкий стук в стене. Князь нажал пружину в панели: одна из расписных рам откинулась и обнаружила скрытую за шпалерами потайную дверку. Князь Василий отпер дверь висевшим на его поясе ключом и сказал вполголоса: «Входи».

Дверь тихо скрипнула, и в нее, сторбившись и наклонив голову, вошел Куземка Крылов, ведя за руку дохтура-немца, закутанного в плащ с башлыком, надвинутым на самый подбородок.

Куземка помог дохтуру раскутаться и исчез за дверкой, а рама сама собою стала на прежнее место.

Когда Шмит (а это был он), ослепленный светом палаты, протер себе глаза и осмотрелся кругом, то увидел пред собою князя за столом, в роскошном кресле, обитом яркою камкою.

Шмит поспешил раскланяться и почти-

тельно приблизился к князю. Это был маленький человечек с весьма заурядной физиономией, гладко выбритый, живой и подвижный. Он был одет не только опрятно, но даже щеголевато в черный, немецкого покроя кафтан и камзол, из-под которого выставлялась наружу тонкая батистовая манишка.

Когда князь Василий указал ему на стул около себя, Шмит расшаркался и сказал очень кстати какую-то любезность по-латыни.

Голицын ответил ему на том же языке, и весь дальнейший разговор продолжался по-латыни, так как князь владел этим языком в совершенстве.

– Ваша высокоименитость, конечно, призывали меня потому, что обдумали мои условия и желаете изъявить на них согласие? – вкрадчиво и сладко проговорил иезуит.

– Вы человек умный и сметливый! – отвечал ему князь с улыбкой. – Но прежде моего согласия на ваши условия я желал бы знать, чем я могу быть обеспечен в успешном исходе моих переговоров с вами?

– Высокоименитый князь Огинский, пол-

номочный посол его величества короля Польского, ревнуя ко благу святой Римско-католической церкви и преклоняясь перед могуществом ордена Иисусова, передал мне на сегодняшний день все свои полномочия, а потому вы, князь, можете трактовать со мною, как с самим князем Марцианом. В удостоверении этого он вручил мне и свою княжескую печать, доверив приложить ее к тому документу, который мы заключим с вами.

И Шмит, сняв перчатку, показал князю Василию драгоценный золотой перстень с гербом Огинским, осыпанный крупными сапфирами, изумрудами и рубинами.

– Какой же документ мы с вами заключим?

– Документ, в котором будет от имени князя Огинского выражено, что он желает возобновить с вами переговоры о вечном мире и союзе против турок, соглашаясь на предложенные вами условия.

– И на уступку Киева, и на условие о киевской митрополии?!

– На все условия вашей грамоты...

Глаза Голицына на мгновение загорелись

торжеством победы, но затем его брови насупились, во взоре выразилось недоверие, и на устах мелькнула даже насмешливая улыбка.

– Видно, тот гонец, о приезде которого вы не сказали мне ни слова, привез князю Огинскому не слишком приятные новости?

– О приезде гонца, – спокойно отвечал Шмит, – я никак не мог сообщить вашей высокоименитости, потому что он приехал третьего дня в ночь, как раз в то время, когда я был у вас. К сожалению, я ничего не могу сказать вам и о вестях, привезенных гонцом, потому что их не знаю; но я, впрочем, уполномочен показать вам документ, заготовленный на тот случай, если бы мы с вами неладились сегодня...

Шмит бережно вынул из кармана листок бумаги, обернутый в зеленую тафту, и почтительно подал его князю Василию. То было официальное извещение Посольского приказа о том, что послы его королевского величества не могут долее оставаться в Москве и просят о назначении дня...

Как ни старался князь быть спокойным, но ему большого труда стоило не скомкать этот

официальный акт, на котором была четко выставлена подпись Огинского.

Шмит внимательно следил за выражением его лица.

– Как изволите видеть, ваша высокоименитость, мои полномочия налицо. А в ваших мы не сомневаемся: мы знаем, что имеем дело с могущественнейшим вельможею Московии, удостоенным высокого доверия державной правительницы. Притом мои условия такие скромные, такие исполнимые...

– Но я ведь выставлял уже вам на вид, что если бы даже царица на них согласилась, то патриарх никогда не даст своего согласия.

– Я имел уже честь вам докладывать, что его согласие нам не нужно, что мы поведем свое дело тихонько и скромненько. Мы никогда не станем силою принуждать к признанию правоты наших догматов, не будем гласно проповедовать... Да притом ведь святейший отец патриарх не бессмертен! Ведь рано или поздно он будет же заменен другим лицом более просв... более мягким и веротерпимым, которое, может быть, не захочет гнать бедных иезуитов? Я повторяю вам: нам нужно

только ваше согласие...

Оберегатель, слушая доводы Шмита, видимо, что-то соображал и наконец спросил его:

– Но в каком же виде я могу вам выразить мое согласие?

– В виде простого письма к папскому нунцию в Вене, в котором вы только упомянете, что не станете теснить нас. А впрочем, если вам угодно, я даже заготовил это письмо, и вам стоит только подписать его.

И Шмит, изгибаясь, подал князю неизвестно откуда явившееся в руках его письмо к нунцию, в котором он, Оберегатель, от своего лица, конфиденциально извещал нунция, что иезуиту Шмиту разрешено устроить в Москве, в доме Гваксания, домашнюю церковь, пригласить в помощь священника иезуитского же ордена и открыть при церкви школу для русского юношества.

И между тем как князь Голицын читал это письмо, Шмит вкрадчиво и подобострастно ему нашептывал:

– Вам только стоит подписать это письмо и приложить к нему печать!.. И я тотчас же вручу вам собственноручное письмо Огинско-

го о возобновлении переговоров.

На минуту князь Василий испытал странное впечатление: ему почудилось, что сам дьявол в образе Шмита стоит над его душою и подсовывает ему свое рукописание... Но затем ему пришли на память его прежние думы, в ушах раздались насмешки его врагов, и он сказал себе: «А ну хоть бы и сам дьявол был! Еще молоды! Авось отмолимся! Главное – врагов одолеть, супостатов! Раздавить их – „преклонить под ноге”».

И он быстро взял со стола большое лебяжье перо, обмакнул его в чернильницу и четко вывел под письмом к нунцию свою полную подпись. Затем, положив на него свою большую, красивую руку и обернувшись к Шмиту, повелительно произнес:

– Давайте письмо Огинского!

Шмит передал ему письмо канцлера, в котором тот очень любезно извещал Оберегателя, что хотя послы уже и совсем изготовились к отъезду, но он не прочь возобновить переговоры, «не желая столь великого, славного, прибыльного дела оставить и своих трудов туне потерять».

Голицын не мог прийти в себя от изумления и восторга.

– Ставьте скорее печать! – торопил он иезуита.

– С величайшим удовольствием, но покажите мне пример, – язвительно заметил иезуит, указывая на письмо к нунцию.

Князь Василий снял с руки перстень с печатью и оттиснул его на готовой восковой лепешке, привешенной к письму.

То же сделал и Шмит на письме канцлера к Оберегателю и, подавая его левою рукою, правую протянул за письмом к нунцию.

Получив его, он почтительно поцеловал руку князя, потом подпись его на письме и, бережно засовывая письмо во внутренний карман камзола, произнес торжественно:

– Великодушный поступок, достойный вечных похвал и признательности потомства! Позвольте мне в свою очередь пожелать вашей высокоименитости, чтобы заключенный вами вечный мир с Польшей заслужил вам прозвание *Великого* в истории вашей страны!..

И вдруг, как бы в ответ на эту фразу, на

улице раздалась свист, хохот, крик, топот бешеной скачки, стук колес и звяканье колокольцев. Какая то пьяная ватага с визгом, песнями и присвистом подкатила к воротам дома князя Василия и стала не стесняясь стучать в них что есть мочи.

Князь Голицын, поспешно открыв потайную дверь и передав иезуита на руки Куземке, захлопнул дверку и задвинул ее рамой, затем он отпер двери палаты в сени.

Перед ним как из земли вырос старый Кириллыч:

– Что там за шум?

– Братец твой, боярин князь Борис Алексеевич к тебе с гостями в гости пожаловал. На пяти тройках прикатили. Прикажешь ли принять?

А между тем стук в ворота и шум все усиливались; явственно слышались то громкий хохот, то крепкая ругань.

– Вели отпереть ворота, прими князя Бориса Алексеевича с почетом; да сыну скажи, чтобы шел встречать его на верхнюю ступеньку. Пусть просит их пожаловать в свою столовую палату. Да ключников пришли ко

мне скорее!

И между тем как старик опрометью бросился исполнять приказания, князь Василий вернулся в шатровую палату, запер письмо Огинского в кованный ларец устюцкого дела и, горделиво выпрямившись, высоко подняв голову, почти вслух произнес:

– Ну кстати ты пожаловал, гость дорогой! Есть чем перед тобой похвастать! Теперь посмотрим – чья возьмет.

Когда старый Кириллыч передал молодому князю Алексею Васильевичу приказания его батюшки, тот поспешил гостям навстречу, приказав слугам отпереть свою столовую палату и все в ней приготовить для приема. В то время как толпа слуг чинно выстраивалась по обе стороны ворот и по ступенькам крыльца, а воротные сторожа отмыкали железные засовы и открывали настежь обе створчатые половинки, князь Алексей стоял на верхней ступеньке крыльца, с некоторой тревогой прислушиваясь к нестройному гаму приехавшей хмельной братии. Воспитанный под строгим началом и еще не испорченный жизнью, этот двадцатилетний юноша хотя и занимал уже видное положение при дворе благодаря отцу, но не в отца был недалек, не боек на слова и ненаходчив; а потому он не любил бывать «на людях», всему на свете предпочитал охоту с соколами и терпеть не мог веселых пиров и шумных празднеств. И вдруг ему поручено принять хмельных гостей, играть роль хозяина...

Но вот ворота распахнулись настезь, и три лихие тройки, взмыленные до ушей и окруженные целым облаком пара, подкатили к крыльцу, звеня бубенцами и колокольцами и позвякивая богатым набором сбруи. Слуги стали высаживать бояр из колымаг и почти-тительно взводить их на крыльцо, поддерживая с двух сторон под мышки, между тем как Кириллыч, стоя на нижней ступени лестницы, отвешивал каждому гостю низкие поклоны и перед всеми извинялся в том, что их, мол, так долго задержали у ворот.

Тут был князь Борис Алексеевич Голицын с двумя братьями, князь Юрий Ромодановский, князь Юрий Трубецкой, да князя Куракин и Щербатый, да боярин Исай Квашнин, да человек пять-шесть окольных, и все из первой знати. Виднее и бодрее всех на вид были князь Борис и Ромодановский – высокие, здоровенные, плечистые мужчины, сложенные богатырями и недаром прославленные во всей Москве своими пьянственными подвигами.

Всех наверху крыльца с поклонами встречал князь Алексей Васильевич и всем повто-

рял то же стереотипное приветствие:

– Милости просим, гости дорогие, добро пожаловать!..

– Здорово, Алешка! – кричал ему еще снизу князь Борис Алексеевич. – Что вы с отцом спать, что ли, легли? У нас у всех нутро горит – медку холодненького до смерти хочется, а вы у ворот держите... Смотри, брат, я это тебе припомню, как ко мне приедешь! Хе! Хе!

– Прощенья просим, дядюшка! Отцу второй день неможется, так никого он и принимать не велел; вот холопи-то и не посмели, вишь, без спросу... Да и признали вас не сразу...

– Холопи, братец, не признали нас затем, что мы не в своем виде! Так, что ли? Ха, ха, ха! Ну что ж, племянничек – и точно: хмельны! Ну и во славу Божию! Да полно целоваться – веди скорей в столовую палату!

Но это было легче сказать, чем выполнить, потому что каждый встречаемый князем Алексеем гость лез к нему с объятиями, с лобызаниями, с расспросами и, не слушая ответов, начинал без всякой видимой причины смеяться и задавать новые вопросы.

Наконец между двумя рядами слуг, поставленных по обе стороны сеней и отвешивавших низкие поклоны, гости с великим шумом, с непрерывающимся говором и смехом прошли на половину князя Алексея Васильевича, еще недавно только законченную отделкой, так как князь Василий собирался вскоре женить сына и уже высмотрел ему невесту в богатой и родовой семье боярина Ивана Квашнина.

На пороге столовой палаты князь Алексей опять встречал гостей, всем кланяясь, и всем опять твердил все то же, что и прежде: «Добро пожаловать к нам, гости дорогие!»

Как ни были хмельны многие из приехавших гостей, но все, переступив порог столовой князя Алексея, остановились, сбились в кучу и залюбовались красотой высокого, причудливо отделанного двухсветного покоя.

В верхнем поясу палаты пробито было двенадцать круглых окон с оконницами из белых цветных стекол; в нижнем поясу – двенадцать окон с оконницами из фигурной мелкой слюды. По стенам и потолку вся палата была обита выписными заморскими шпале-

рами, изображавшими человеческие и птичьи и звериные персоны. В простенках между нижними окнами повешены были зеркала в резных золоченых рамах; а на другой, противоположной от входа стороне висело большое зеркало в черной раме и по сторонам – другие два, поменьше, в черепаховом окладе. На месте поставца, обычного во всех тогдашних столовых, стоял превосходный резной ореховый шкаф, в стиле Возрождения, с представленными резью сценами охотничьей жизни и фигурами зверей, а направо, налево от входа, на особых возвышениях, поставлены были два органа. По стенам, где не было зеркал, развешаны были в золоченых рамах писанные масляными красками картины, изображавшие библейские притчи и гравированные портреты европейских государей, и между ними на первом плане, на почетнейшем месте – портреты короля Польского и его королевы, присланные в подарок Оберегателю.

Вся мебель в палате – столы и столики, кресла и стулья – была ореховая, под стать резному шкафу, и была покрыта около стен

темно-зеленым трипом, а посредине, около стола, косматым бархатом того же цвета. Только по углам для игроков-любителей поставлены были расписные столики с тавлейными досками. Убранство палаты дополнялось фигурным оловянным паникадиллом, спускавшимся на цепочке над столом, и высокими английскими стенными часами в углу.

Все гости были в первый раз в палате, и все ее хвалили хором:

– Ну, брат Алешенька, балует же тебя отец! Какую он тебе палату соорудил! Да этакой и в Теремном дворце не найдешь, пожалуй, не токмо что в наших старых домишках! Ай да палата!

Но князь Борис и на этот раз смутил племянника:

– Ну точно, хороша твоя палата! Видим, что красна углами, а красна ли другим чем? Показывай, каков хозяин у палаты?

Князь Алексей беспомощно заметался из стороны в сторону, не зная, какие распоряжения сделаны на этот счет отцом: но на выручку юноши явился сам князь Василий.

В фезязи из голубой дорожчатой камки,

подтянутой кованым серебряным поясом с крупными яхонтами в больших выпуклых гнездах, в мурмолке с запоной из бурмицких зерен, князь Василий вошел в палату боковой дверью и с приветливою улыбкой подошел к гостям, которые все обратились к нему, кто с объятиями и лобзаниями, кто с дружеским приветом. Один только князь Юрий Трубецкой не тронулся с места по той простой причине, что он как вошел в палату, так грузно опустился на первый попавшийся стул и заснул непробудным богатырским сном.

– Поклон вам, дорогие гости! Спасибо, что не обошли моего убогого домишка.

– Ну, князь, не обессудь – не хотели мимо проехать! – говорил Голицыну, плохо владея языком, князь Константин Щербатый.

– Не обессудьте вы, что долго вам не отпирали ворот! Князь Алексей, да что же ты гостей ничем не потчуеть? Пошевелись да поторопи холопей!

– Чего там обессудить? Знаем, почему не отпирали! – сказал князь Борис, выдвигаясь на передний план и отводя рукою князя Щербатого. – Племяш-то мой недаром проговорил-

ся!

– Что, братец, мог тебе сказать Алешка?

– То и сказал: холопям-де тебя не признать было, потому... не в своем ты виде, дядя, в люди ездись!

– Не верится мне, братец, чтобы Алеша так сказал... Шутить изволишь! – с улыбкой отозвался князь Василий.

– Чего шутить! И точно, что не в своем виде! Алеша прав... Я, точно, пьяница всем известный! Давно во всей Москве прославлен! Кто чем, а я все этим грешен... И от вина меня трудно отвадить или оберечь, коли я запил...

– Зачем оберегать-то, князь Борис? По-моему, и пей во здравие, коли пьется... Ты знаешь, «пьян да умен»...

– А тебе небось и любо, что я пьян! – отозвался князь Борис, видимо, придираясь к князю Василию. – Любо? Ну да я ведь ума-то не пропью... Меня и во хмелю не скоро обойдешь! И на твои приманки не скоро поддамся – не как другие...

– А знаешь, где мы так наугощались? – заговорили разом, обращаясь к князю Василию, старинные его друзья Головины и князь Фе-

дор Куракин.

– Да, верно, вот у кого? – ответил князь Василий, подмигивая на князя Юрия Ромодановского, который стоял с ним рядом, упершись в бока, и с небрежением поглядывал на охмелевшую братию. – Князь Юрий мастер угостить! Со всеми пьет и всех положит лоском, а сам стоит, как столб, – не ворохнетя.

– Нет, нет, не угадал, Оберегатель! – вступился снова князь Борис. – Нас всех употчивал твой зятек, князь Трубецкой, да он же сманил нас и к тебе поехать.

– Спасибо, князю Юрью! Да где же он сам?

– Вон, вон он! – раздалось со всех сторон, среди общего взрыва хохота. – Поил, поил нас и теперь за всех нас приехал к тебе спать!

Но между тем, как все окружили князя Трубецкого и тщетно старались разбудить его, дверь палаты отворилась и следом за Кириллычем, попарно, чинно вошли в палату десять человек холопей, неся корчаги с льдом и ведерные оловянки со всевозможными квасами: малиновым, вишневым, грушевым и яблочным; за ними так же чинно шли другие десять человек, неся в серебряных брати-

нах мед липовый, черемховый, гвоздичный; за ними еще пятеро несли на расписных подносах массивные серебряные сосуды и серебряные торели с моченою морошкой и яблоками, сливами в уксусе и лимонами в сахаре. Аромат внесенных прохладительных напитков тотчас привлек гостей к столу, уже покрытому скатертью и уставленному ковшами, стопками и достаканами. Усадив гостей по старшинству и сану, а с собой рядом посадив князя Юрия Ромодановского да боярина Исая Квашнина, князь Василий сел на хозяйском месте. Против него уселись три его двоюродных брата: князь Борис, Иван и Яков Алексеевичи Голицыны. Князь Алексей Васильевич в качестве хозяина дома сначала распорядился, чтобы князь Юрий Трубецкой был отнесен в опочивальню, а затем и не присел к столу, а все ходил кругом и потчевал гостей, кланяясь особо перед каждым. Но гости и не заставили себя просить: холодные квасы и мед пришлись им по нутру и стали осушаться так быстро, что расторопные слуги еле успевали удовлетворять всех, то и дело подливая холодного питья в ковши и достаканы. Все

так дружно и так жадно набросились на прохладительное, что даже перестали шуметь и смеяться: слышны были только вздохи да возгласы: «Давай еще!» или «Вот квас так квас!», «А мед каков!». И снова кряканье, и вздохи, и звяканье ковшей о достаканы.

– А почему ж ты думал, что напились мы у Ромодановского Юшки? – спросил князь Борис у князя Василия, когда первый приступ жажды был утолен и гости обратились к фруктам и моченью.

– Да думал, уж не он ли вас зазвал справлять канун кануна именин своих?

– Нет! Нет! – крикнуло несколько голосов. – Нас к себе князь Юрий Ромодановский не заманит! Нам памятни остались именины!..

– Когда? Какие? Что такое? – забасил князь Юрий, обращая в сторону кричавших свое неподвижное багрово-красное лицо и поглядывая искоса своими маленькими, заплывшими черными глазками.

– Небось забыл? – крикнул ему князь Иван Алексеевич Голицын. – Мы собрались к нему, как добрые, к обеду, – продолжал он, обращаясь к князю Василию, – ну и понагрузились;

ужинать остались; спать полегли, и утром, поотрезвясь, хотели было в путь. А он и говорит: «Держать не смею, гости дорогие, дела делами, поезжайте с Богом... Да только вы едва ли проберетесь нынче через мой двор!» И точно: сунулся там кто-то на крыльцо, а ему навстречу – медведь! Он на другие, и там косматый дьявол! Да так три дня нас и держал в усадьбе, покамест мы весь погреб не осушили!.. Ха! Ха! Ха! Вот он каков!

– Шутка недурная! – заметил князь Василий.

– Все небывальщину плетут! – пробасил князь Ромодановский. – Им и медведи, чай, причудились от перепоя?

Все, конечно, на него напали и стали вспоминать в виде доказательств о таких эпизодах трехдневной богатырской попойки, что князь Алексей поспешно подошел к иконам и, набожно перекрестясь, задернул их завесой. А между тем среди общего шума и смеха слуги, исполняя приказания Кириллыча, не дремали. Убрав ковши, стопы и достаканы, они расставили перед гостями чарки и кружки, а на столе явились три громадные мисы с

«кипяченым зельем» – горячим вином, приправленным пряностями, корицей, гвоздикой, кардамоном и ванилью. В то же время по знаку князя Василия, который очень мало принимал участия в попойке, но очень зорко следил за тем, чтобы гости пили, у органов явились игроки и раздалась громкая торжественная музыка какого-то немецкого застольного гимна, покрывшая резкими звуками труб и густыми нотами фаготов нестройный шум и гам разгоравшейся попойки...

А вслед за «кипяченым зельем» князь Василий стал хвастать князю Борису и князю Ромодановскому своим погребным запасом. Слуги то и дело разносили в кубках то романею, то алкан, то мушкатель, то мальвазию, то сладкое катнарское вино, как редкость присланное Оберегателю в подарок гетманом Иваном Самойловичем. Но чем более хмелили гости, чем веселее становились их говор и смех, тем резче и яснее бросалось в глаза князю Василию явное намерение князя Бориса затеять ссору, вызвать Оберегателя на объяснение. То он порицал намерение царевны Софьи вступить в союз с кесарем и Польшей

против султана и крымцев, то привязывался к словам, то прямо говорил, что и не ждет порядка, покамест «баба делами правит».

– Князь Борис, – заметил ему на это князь Василий, – между нами здесь нет предателей, не донесут; а все же негоже нам эти речи слушать...

– Дивлюсь я тебе, князь Василий! – сказал на это князь Борис. – Умен, хитер и ловок ты, и мастер на все руки, а не можешь понять того, что и малому ребенку ясно? И все слепит тебя твоя гордыня! Она тебя и сгубит, коль не опомнишься да не отстанешь от милославского отродья!

– Да уймись же, князь Борис! Я говорю тебе: негоже мне эти речи в моем доме слушать!

– Негоже? Да разве я тебе обязан потрафлять да ластиться к тебе! Пусть перед тобою другие ползают... А я еще не то скажу тебе!

– Да полно вам, князья! – вступился было князь Куракин. – Ну о чем тут спорить? Мы все здесь великим государям верные и преданные слуги... И вас обоих – ей-богу – уважаем...

– Нет! – крикнул князь Борис. – Знаю я, какую песню пою, знаю и кому пою! Не все мы великим государям верные слуги... Да если правду-то сказать, так ведь из государей царь Иоанн ни во веки веков не будет править; царевнины часы изочтены – ну три-четыре года ей еще повластвовать... А там...

– Должно быть, так у Нарышкиных в Преображенском порешено? – резко перебил Бориса князь Василий. – Да и тебе такпеть заказано?

– Ты колешь мне глаза Нарышкиными? Пусть так! Знай: я дружу им, я в случае чего... готов за них стоять! Я грудью защищать их стану! Иль ты забыл, что от Нарышкиной растет у нас законный государь? Да ведь еще какой! Разумник, богатырь! Надежа наша и крепость! А ты кому дружишь? Ты за кого стоишь?

Князь Василий поднялся со своего места и крикнул громко:

– Алеша! Выйди вон и выведи холопей!

Затем, обратившись к князю Борису, сказал с волнением:

– О каком законном государе ты говорить

изволишь? У нас нет государя, а есть государи, и есть при них державная сестра их, государыня-царевна, а мы рабы их, всем должны равно служить.

– Красно поешь, князь Василий! Да подырыш не тот берешь на гусях! Давно ль царевна-то державною стала? Кто ей вручил державу? Уж не ты ли?

– Ты верно позабыл, как все мы... весь народ просил ее принять державство?..

– Должно быть, ты забыл, что мы не дети здесь собрались? Все помним мы, как было дело, – и лучше уж о том не вспоминать... Да не к тому речь! Я знаю, кому ты служишь!..

– Князь Борис, не ты один, все знают, что я верою и правдою служу великим государям и государыне царевне!

– Ну пусть будет так! А я все же, князья и бояре, предлагаю выпить кубок во здравие и честь моего питомца, великого государя Петра Алексеевича – и да разразит Господь всех его врагов и супостатов!

– Нет, я с тобой не пью! – громко крикнул князь Василий. – И я тебе напомню, что ты здесь гость, а не хозяин...

– Не пьешь? – сказал князь Борис, поднимаясь со своего места и ставя кубок на стол. – Ну так знай же, что отныне у нас с тобой все врозь! Вижу, что мы разными дорогами идем и не сойдемся больше *никогда!* А чтобы ты не зазнавался, не возносился пред людьми, так на прощанье вот тебе мой сказ! Ты говоришь, что служишь верою и правдою великим государям и государыне царевне? А я тебе скажу, что служишь ты себе, своей утробе – мамоне служишь!

И он, не простясь с хозяином, шатаясь, направился к двери, а князь Василий по уходе его поднялся с места и сказал гостям:

– Дорогие гости, предлагаю выпить во здравие великих государей и государыни царевны Софьи Алексеевны!

Все гости встали с мест, все кубки разом поднялись и осушились.

– Эй, Кириллыч! – крикнул князь Василий, стараясь скрыть свое волнение. – Давай еще вина нам! Да песенников, плясунов сюда! Живее! Чтобы шли с волынками, с зурнами, с бубном... Пусть гостей моих потешат!

VI

Ссора, происшедшая между князем Василием Васильевичем и его двоюродным братом, князем Борисом Алексеевичем, не была простою случайностью: она готовилась уже издавна и, несмотря на продолжавшиеся, по видимому, родственные отношения, должна была рано или поздно разразиться. И Василий, и Борис Голицыны – дети родных братьев – принадлежали одинаково к одному из знаменитейших княжеских родов и одинаково выдавались в ряду остальных вельмож обширным умом и замечательными своими способностями. Будучи почти ровесниками, они оба получили по тому времени хорошее образование, оба почти одновременно начали службу при дворе «тишайшего» царя Алексея Михайловича, и оба стали быстро возвышаться по ступеням дворской и служебной лестницы; оба, почти одновременно, достигли боярства в царствование царя Федора Алексеевича. Тесная дружба связывала в ту пору князей Бориса и Василия, которые умели ценить друг друга и с одинаковою непри-

язнью и суровым осуждением относились к тем непорядкам и нестроениям, которые видели кругом себя в русской жизни. Дружбу братьев несколько охладила женитьба князя Бориса на княжне Марье Федоровне Хворостининой, которая до замужества была приезжею боярыней при царице Наталье Кирилловне и еще в девичестве очень с нею сдружилась. Жена умная, молодая и красивая привлекла, конечно, и мужа на сторону несчастной вдовствующей царицы, когда по воцарении Федора Алексеевича та очутилась в таком печальном положении среди царского семейства, недружелюбно относившегося к мачехе. Царь Федор, благоволивший к Борису Алексеевичу, назначил его воспитателем к малолетнему царевичу Петру. Уже тогда Борис и Василий Голицыны очутились как бы на двух разных берегах: один откровенно и прямо держал сторону Нарышкиных и сына Нарышкиной, царевича Петра; другой, не выказывая неприязни к Нарышкиным, держался, однако же, более партии Милославских, хотя предпочтение, которое он им оказывал, и не могло выражаться слишком явно, пото-

му что большую часть царствования Федора князь Василий Васильевич Голицын провел на юге России – в Киеве, в Путивле, в Севске и Чигирине, – то сражаясь против татар и турок, то улаживая раздоры и смуты в Малороссии. Тут-то и выказал он свои блестящие дипломатические способности и задумал провести обширный план реформ, который должен был начаться с введения новых порядков и лучшего устройства в войсках, а кончиться – сожжением местнических книг, по повелению царя Федора и решению собора, воспрепятствовавшего дальнейшим местническим счетам «под страхом клятвы и смертной казни». И когда князю Василию, несмотря на все препятствия и озлобления против него старейших боярских родов, удалось провести это трудное дело в жизнь – князь Борис радовался его успехам, гордился братом своим и не завидовал его быстрому возвышению и обогащению. Но уже во время болезни царя Федора князь Борис заметил, что князь Василий сблизился с Софией, очаровал ее и овладел ее сердцем... Заметил и то, что князь Василий стал отдаляться от него – даже явно избегать

его... Он не помешал, однако же, Борису и партии Нарышкиных возвести на престол малолетнего царевича Петра, помимо старшего, болезненного Иоанна; а немного спустя не помешал и партии Милославских, с Софией во главе, разыграть страшную трагикомедию майских дней 1682 года и, по воле Софии, вдруг стал первым вельможею в Московском государстве. Он сумел обойти заговоры обеих партий, сумел выйти сух из воды и чист из крови; сумел всего добиться одною игрою ума и холодного, спокойного расчета... Но умный и прямой Борис не поддался соблазну, не захотел пасть ниц перед Ваалом! Он предвидел, что рано или поздно партиям Петра и Софии еще придется столкнуться и вступить в борьбу и что при той борьбе уже нельзя будет пустить в ход *игру ума*, а нужно будет прямо идти против присяги, против клятвы... Между братьями наступило охлаждение, а потом глухая вражда. Князь Борис не упускал случая вызвать князя Василия на неприятные для него объяснения и наконец добился ссоры и разрыва, давно уже назревших в сердце братьев-соперников.

«Ну Бог тебе судья! – подумал князь Борис, покидая дом князя Василия. – Но я клянусь всеми святыми, что сумею охранить царское детище от твоей царевны!»

«Оно и лучше, что мы с ним сшиблись наконец, – думал со своей стороны и князь Василий. – Пусть каждый идет своею дорогою! Но князь Борис напрасно думает, что мы ему уступим поле!.. Посмотрим, чья возьмет!»

И в этих мыслях он на другое утро поехал во дворец, к обычному утреннему приему, до ранней обедни. Когда его карета, запряженная шестериком караковых одномастных коней, подкатила к воротам государева дворца и он, поддерживаемый своими служилыми гайдуками, степенно вышел из кареты, а затем, сняв шапку, твердой мерной поступью направился через двор к Постельному крыльцу, – на *площадке* произошли смятение и давка: так все усердно спешили очистить дорогу Оберегателю. Величаво и приветливо кивая головою на обе стороны в ответ на низкие поклоны площадных придворных, князь Василий поднялся на крыльцо, вошел в широко распахнувшиеся двери и направился, всюду

встречаемый низкими поклонами, на половину царевен, соединенную с каменным корпусом теремного дворца особыми переходами. Здесь, в трехэтажном здании, недавно отстроенном и отделанном после пожара, была устроена «комната», где царевна София Алексеевна ежедневно принимала бояр для сиденья с ними и слушания всяких дел. Перед этою «комнатою» была *передняя* (по-нашему: приемная), в которой князь Василий нашел всех комнатных и ближних бояр в сборе. Бояре ждали выхода царевны, которая принимала доклад от Шакловитого, служившего дьяком в Приказе тайных дел. Князя Василия окружали, осыпали приветствиями, поздравлениями с успешным окончанием переговоров, расспросами о здоровье и лестью во всех видах и способах проявления. У князя Василия для всех и на все был готовый ответ и либо острое, либо ласковое слово; но он спешил отделаться от докучных расспросов и, пользуясь правом входа в «комнату» без доклада, прямо вошел к царевне...

В палате, убранной довольно просто, но роскошно расписанной «притчами» и сцена-

ми из жития Пресвятой Богородицы, на богатом резном и золоченом кресле с высокою спинкою сидела царевна София и внимательно слушала то, что читал ей дьяк Шакловитый – высокий и плечистый темноволосый мужчина лет тридцати пяти, с большими и выразительными карими глазами и резкими чертами лица, в которых явно сказывалось его малороссийское происхождение. Он был одет в цветной охабень с двойными серебряными нашивками и решетчатыми серебряными пуговицами; платье сидело на нем ловко и щеголевато обрисовывало его крепкую и видную фигуру.

Царевна София была одета в темно-мосоковую алтабасную ферьязь с жемчужными пуговицами и в такой же треух, опущенный соболем и едва прикрывавший ее роскошные волосы. Цвет материи ее наряда до некоторой степени смягчал излишнюю смуглоту ее лица и сглаживал значительную полноту всего ее стана. Царевна была далеко не красавица: темноволосая, с огненными черными глазами и мощно развитыми формами, рано созревшая, как и все брюнетки, она казалась го-

раздо старше своих лет[4], и при первом взгляде ее наружность не производила приятного впечатления. В лице ее было что-то жесткое и суровое, а во всей ее внешности слишком много силы и мало женственности, но когда она начинала говорить, то сдвигая, то поднимая свои густые черные брови, когда она от времени до времени скрашивала речь своею прекрасною приветливою улыбкой и глазам придавала бархатную мягкость и негу, она казалась очень привлекательною и могла нравиться. Глубокий и сильный взгляд ее умных глаз, полных огня и страсти, способных выражать малейшее движение ее тревожной души, надолго оставался в памяти тех, кому случалось видеть царевну хоть раз в жизни.

Царевна София встретила Оберегателя приветливо и допустила к руке. Дьяк Шакловитый прекратил чтение «памяти» и, низко поклонившись Голицыну, отошел почтительно в сторону.

— Здоров ли ты, князь Василий? Два дня сряду я за тобой посылала, и два дня мне докладывали, что ты со своего «большого двора» никуда не съезжаешь и у дохтура-немца

лечишься.

– По просьбе моей, истинно тебе дьяк Украинцев докладывал, великая государыня. Крепко мне недужилось... Да уже позволь мне, верному слуге твоему, всю правду молвить: если б и здоров был, не посмел бы перед твои светлы очи предстать, не исполнив дела государского...

– Князь Василий, твое усердие нам ведомо, но ведомо и то, что не всякую службу и при усердии сослужить можно. Однако вижу по лицу твоему, что ты сегодня с добрыми вестями пришел. Готова слушать...

– Великая государыня-царевна, послы его королевского величества короля Яна Польского после вчерашнего сиденья нашего на все наши договорные статьи согласие изъявили. Когда угодно тебе повелеть боярскому сиденью быть и весь договор о вечном мире прослушать и одобрить?

София поднялась со своего места, перекрестилась на иконы и, сложив на высокой груди свои красивые руки, проговорила:

– Благодарение и хвала Создателю в Троице славимой! Великое свершилось дело! Неда-

ром потеряны труды, и неисчислима польза, Российскому царству принесенная!

Затем, опустившись в кресло, София обратила лицо свое в сторону Шакловитого и, вся сияя радостью женщины, гордой успехами любимого человека, сказала:

– Каков наш князь Василий! Какую одержал победу! Да мы сто лет боролись с Польшей: кровь проливали и разоренья сколько приняли – а такой прибыли и славы державе нашей не приобрели, какую князь Василий одним своим умом взял? Федор Леонтьевич, наведи в Посольском приказе справки о том, как великие государи в прежние годы за такую службу жаловали, чтобы и нам от них не отстать и даже превзойти их в щедрости на столько, на сколько и служба ближнего нашего боярина и Оберегателя превосходит все прежние посольские службы!

– Если дозволишь, государыня, мне слово молвить, – сказал Шакловитый, – то я скажу одно: радуюся за прибыль и славу Русского царства и за поправление польской гордыни, достигнутое радетельною службою и великим умом князя Василия Васильевича Голицына,

но еще того более радуюсь за поправление злых наветов со стороны твоих недругов, великая государыня! Теперь придется им, пожалуй, и прикусить язык!

– Я, чай, они уж верить не хотели тому, что мы одолеем упрямых ляхов!

– Вчерась князь Михаил Черкасский прямо говорил в твоей передней, что польские послы уедут, что не будет мира с Польшей и весь тот неуспех от нераденья князя Васильева...

Оберегатель улыбнулся, а София с гордым сознанием достоинства сказала:

– Вот завтра и услышат в думе о «неуспехе», которого добился князь Василий «нераденьем»... Завтра с великими государями-братьями моими и с государем патриархом, и с ближними боярами и думными людьми мы будем слушать договор о вечном мире и союзе с Польшей и его одобрим. Так всем и объяви сегодня, Федор Леонтьевич; да сейчас ступай добудь мне справки из Посольского приказа.

Шакловитый поклонился царевне и вышел из комнаты и переднюю; София и князь

Василий остались наедине.

София взглянула прямо в глаза своему любимцу и спросила его:

– Ты писал, князь Василий, что должен мне открыться на каком-то деле, предупредить о чьих-то кознях? Говори же скорее!

– Государыня-царевна, раб твой виноват перед тобою в лукавстве...

– В каком лукавстве? – тревожно переспросила София, насупив брови. Ей пришли в голову те сомнения, которые так часто терзают всякое любящее сердце.

– Искусил меня лукавый в сношениях с поляками, и я, радея о твоём успехе, покривил душою...

– А, да! Ты о поляках... – сказала София, проясняясь. – Так что же? Расскажи, какими чарами ты их заколдовал?

– Понадеявшись на милость твою, решился дать обещание езовитам... от себя, а не от имени великих государей... что им препятствия не будет в Москве.

– Да разве ты не знаешь, князь Василий, что патриарх на это не даст согласия? А без него не только ты, но даже и я не могу того

им разрешить!

– Знаю, государыня-царевна, но тут все дело было в их руках проклятых! Послы уже сладились к отъезду, уже уложились в путь и мне прислали извещение о том. Тогда я вздумал, что лучше лишний грех приму на душу, да лишь бы дело государское не истерять да ворогам твоим, Преображенским, рот замазать!

– Спасибо, князь Василий, за службу верную. В тебе я не ошиблась! Но расскажи, как было дело и что ты обещал?

Голицын в двух словах объяснил Софии всю историю своих отношений к Шмиту, изложил его «скромные» требования и рассказал о своем письме к нунцию.

– И только-то всего? – спросила София, видимо, облегченная и обрадованная. – И за это ты выманил у них такой договор. Такую учинил свободу православной церкви от римского утеснения! В чем же тут лукавство против нас? Тут против них лукавство!

– Суди как хочешь, государыня! А я так мыслил, что, если б на меня и все поднялись, если б мне и головою за это дело поплатиться,

оно еще не скоро наружу выйдет; а договор-то завтра будет уже подписан и останется навечно утвержденным. Но я не дерзнул от тебя укрывать все это!

– Ты правильно судил, Василий. Да если бы ты и был виновен – ты знаешь, что повинной головы меч не сечет. Но я все же в толк не возьму, что этим езовитам нужно? Что им за прок иметь здесь церковь и школу? Ну, сам посуди, кого они туда заманят?

– Они все это строят, царевна, для гордости одной, для прославления панежского. «Вот, – говорят, – у нас в Китае попы уж сколько лет живут, и только еще в Российском государстве гнезда у нас не свиты». Так и пытаются... А если правду-то сказать, что это за гнездо? Сосуд скудельный! Не угодят тебе, так завтра же велишь их взять за приставы да за рубеж перевезти...

– И вестимо! А покамест их никто не видит и не слышит – пускай живут. Ты только прикажи за ними наблюдать, чтобы с Польшею каких не учинилось пересылок... Так это-то и есть те козни, о которых ты писал мне?

– Нет, государыня. Те козни пострашнее.

Был у меня Бориско да спьяну мне насказал таких чудес...

– А, вот что? Верно, то, что ему «медведица» преображенская надула в уши!

– Не без того, великая государыня! Он все на том настаивал, зачем я твою руку держу, а не руку «законного» царя.

– Ах он, крамольник, о каком законном царе смеет он говорить? Да он у меня в Сибири места не найдет! – гневно заговорила Софья, изменяясь в лице от негодования.

– Дозволь сказать мне слово, государыня. Бориске мы должны сказать спасибо за открытие его. Пускай его прямит тому царю, который кажется ему законным! Но дело вот в чем: Нарышкины ему напели, что «твои часы изочтены».

– Что ж? Известь меня хотят они, что ли? Или какой предел мне положить?

– Нет, государыня, не к тому они речь клонят! А к тому, что, мол, государю Петру Алексеевичу уже скоро можно будет вручить бразды правления...

– Мальчишке?! Где же ему править: у него лишь игры на уме, да конюхи потешные, да

барабаны... Не вижу я, чтоб из него и после вышел какой толк. Недаром люди говорят, что его матушка еще недавно в Смоленске у себя в лаптях ходила! Оттого и сыну дает холопьими потехами тешиться!

Голицын спокойно выслушал весь этот поток слов гневной царевны и затем сказал:

– А все же, великая государыня, от Нарышкиных можно всякою худа ожидать, и я бы думал, что следует принять кое-какие меры!..

– Давно я это думаю, – мрачно сказала Софья, предполагая, что Голицын угадывает ее тайные замыслы, – и есть у меня люди, готовые на дело...

Голицын поспешно перебил ее:

– Нет, государыня, я не о том... теперь еще не время... Да и дай Бог избежать крови! Мне думается, что их проще можно убедить и в силе, и в крепости твоей...

– Что ж ты придумал?

– По-моему, теперь, при заключении вечного замиренья с Польшей, следует тебе яко правительнице при отпуске послов явиться, допустить их к руке, а затем велеть себя вписать в титул договора. Если против того ни-

кто не возразит, то мы во все концы Российского государства от имени и твоего, и великих государей разошлем извещение о благополучном окончании переговоров с Польшей и о союзе с нею, и тогда все увидят, что царский титул преумножен и твоим именем!

– Ну а дальше что же?

– А далее, когда привыкнут видеть твое имя рядом с именами государей малолетних и к правлению неспособных, то уразумеют, чьей мудростью достаются столь прибыльные для Российского государства приобретения, уразумеют, кто Русскою землею правит, и должно будет...

– Ну, ну, что должно будет?..

– Тебе венчаться вместе с братьями на царство...

Софья пристально и вдумчиво посмотрела в лицо любимцу своему.

– А братья?

– Тебе они не могут быть помехой! Не им тягаться в уме с тобой, государыня! Один пусть тешится конями, а другой – потешными огнями да солдатами... Ты будешь править как державная царица – и кто же тогда по-

смеет разинуть рот?

– Спасибо, князь Василий, за службу верную и за совет. Но мы об этом с тобою поговорим еще сегодня вечерком. Ты сделай вид, что просишься на именины... Уж, верно, есть Юрий в родне?.. Я объявлю поход в Новодевичий монастырь к вечерне... И жди меня на своем Загородном дворе.

Князь Василий низко поклонился царевне и вышел из комнаты в переднюю, где выхода царевны уже так давно ожидали бояре и вельможи. Широко распахнув дверь, он громко провозгласил:

– Государыня царевна София Алексеевна изволит жаловать в переднюю.

Затем стал обок двери и вместе со всеми остальными боярами почтительно и низко поклонился, касаясь перстами пола, между тем как Софья, шурша тяжелым шелковым нарядом, с царственным величием переступила порог и входила в палату.

VII

Добрый совет Оберегателя был принят царевною к сведению и применен на деле. Три дня спустя трактат, в титуле которого красовалось имя царевны Софии наряду с именами братьев, был подписан, и затем списки его разменены обеими сторонами. В тот же день братья-цари подтвердили его в присутствии всех бояр и вельмож торжественною присягою в Грановитой палате, перед самими послами, и послам объявлен был отпуск.

На другой день, 27 апреля, по царскому указу послы были «приватным обычаем» приглашены в комнату – и были «у руки» государей, которые спрашивали послов о здоровье через думного дьяка Украинцева, угощали их вином и пили за здоровье королевское. Затем, против всех дворских обычаев былого времени, послы допущены были к руке и царевны Софии Алексеевны, которая сказала им от себя краткое приветствие и сама жаловала кубками с вином.

Под вечер этого дня, когда улицы Москвы

начинали уже пустеть и Белокаменная стала затихать, отдыхая от дневной суеты, какой-то всадник, закутанный в кобеняк с высоко поднятым воротником, в бархатной шапке, нахлобученной на глаза, подъехал мелкой рысцой к воротам Спасского монастыря, что за Иконным рядом на Никольской улице, соскочил с коня и брякнул воротным кольцом.

Воротный сторож окликнул его и, вероятно, тотчас узнал по голосу, потому что поспешно распахнул калитку настежь и, отведав низкий поклон, проговорил:

– Пожалуй, батюшка, пожалуй, милости-вец! А о лошадке не изволь тревожиться: поставим к месту и обережем.

И он принял повод из рук приезжего, который, не останавливаясь в воротах, прошел сначала в левый угол двора, а потом, видимо, знакомый с местностью, направился по узкой деревянной лестнице к дверям одной из келий.

– Милосердия отверзи ми двери, – произнес приезжий вполголоса, постучавшись.

– Въиди в храмину убожества моего, – отвечал изнутри чей-то звучный и громкий го-

лос; задвижка щелкнула, и дверь отворилась.

Приезжий, наклонившись, прошел в низенькую дверь и очутился в светлой и просторной комнате, скорее похожей на кабинет ученого, нежели на келью инок.

– Земляку преименитому, Федору Шакловитому! – воскликнул хозяин кельи.

– Отцу Сильвестрию, латинцику и книжнику! – приветливо отозвался Шакловитый.

И оба земляка обменялись крепким дружеским рукопожатием.

Сильвестр Медведев был лет на десять старше Шакловитого и значительно ниже его ростом; но его умное и энергичное лицо также носило на себе несомненные признаки южнорусского происхождения. Сухой и коренастый, несколько сутуловатый от постоянной и страстной привычки к книжным занятиям, Сильвестр, судя по его внешности и движениям, принадлежал к тем неутомимым и неутомонным натурам, которые никогда не довольствуются одним каким-нибудь родом деятельности, а любят одновременно заниматься несколькими делами зараз и всю жизнь свою творят, созидают и изобретают,

пока смерть не наложит «печати хранения» на уста их. О деятельности Сильвестра ясно свидетельствовали полки, тесно заставленные книгами, аналои с разложенными на них лексиконами, столы, заваленные грамматиками, свитками, столбцами и кипами бумаг, и корзины, в которые он складывал писанные на отдельных бумажных лоскутках выписки и заметки. Небольшое распятие в углу первой кельи заменяло икону; а в соседней келейке, служившей Сильвестру спальнею, три лампы ярко горели перед большим китом с образами.

Усадив гостя, Сильвестр задвинул задвижку входной двери, достал из маленького стенного поставца сулею и две серебряные чарки и, поставив их перед Шакловитым, сказал:

– Вот уж именно, как царь Давид, могу возгласить: «Ждах, иже со мною поскорбить, и не бе утешающего», – а мне тебя Бог послал, Федор Леонтьевич! Благодарение Ему!

– А ты что же, Сильвестрий, все воюешь небось? Все своих букварей с Лихудьями поделить не можешь? – насмешливо спросил Шакловитый у своего собеседника.

– Какие там буквари! Эти самобратии совсем на меня насели! Им уже мало показалось одной школы греческого языка в Богоявленском монастыре! Позавиствовали они моему настоятельству, дерзнули всякие ложные клеветы на меня перед отцом-патриархом рассевати – и мне учинилось вестно, что он этим гречишкам, этим хищникам, этим волкам новопотаенным...

– Да полно ругать-то их! Аль еще не надоедо? Говори, в чем суть!

– Моченьки моей не станет! Душа изныла! Сколько лет труждаюсь! Сколько сил потратил! А тут вдруг наехали эти Лихудьици, душу святейшего патриарха напрасно помutilи и побуждают его мою-то школу закрыть и ту, что на Печатном дворе, – тоже; а им чтобы дозволено было здесь, в самых стенах моей обители, свое осиное гнездо завести.

– Как так? Ведь ты, кажется, патриарху угождал и учением в твоей школе он бывал доволен?

– Вначале взыскан был его милостью, и награды удостоился, когда учеников своих к нему привел и еще, помнишь, один из них

ему «орацию» в Крестовой палате говорил?

– Ну так что же это вдруг с ним случилось?

– А то и случилось, что заспорил я сначала с его любимым справщиком Евфимием да с ризничим Акинфом о богословских наших делах; а оно-то святейший – человек по себе и добрый, да учен-то он мало и речей богословских не смыслит, – вот он на меня за тот спор и осердился. А тут эти проклятые элины вступились – прости господи! – и давай ему нашептывать, что латинские школы будто бы панежским духом заражены и надлежит быть в Москве одним «элинским школам», будто бы и благий учитель мой, Симеон Ситианович Полоцкий, тем же панежским духом заражен был. И про меня разные душевредные пакости стали ему наводить... вот он и поддался им, и здесь... здесь собирается строить им каменные палаты и академию Эллино-словенскую им учреждать! Видно, мне последние времена пришли!

Шакловитый презрительно улыбнулся и, ничего не отвечая Сильвестру, отхлебнул из своей чарки.

– Счастлив ты, Сильвестрий, что в глубине

своей кельи схорониться можешь да всю душу полагать в борьбу с Лихудьями! А что бы ты запел, кабы тебе пришлось то видеть, что у меня на Верху государском каждый день на глазах?

– Велики твои тягости, Федор Леонтьевич! И я, нищетный инок, не променяю своей ряски на твой богатый терлик.

– Ну вот хоть бы сегодня: послы прощаться с государями явились, и встречать их в Крестовой палате назначен был я с князем Алексеем Голицыным; а его отец, князь Василий, являть их должен был в комнате. И этот молодкосос, щенок полуграмотный, который без году неделя и читать-то выучился, повел послов к царям, а меня в Крестовой оставил – их челядь угощать! Он вот в бояре метит, а меня и в гроб окольниковичим положат! А ты из-за своих счетов с Лихудьями уж и вопишь, что последние времена для тебя пришли... Гневишь ты Бога! То ли ждет нас впереди, когда у нас царевны-то не будет?

– Государыни-царевны? Что же бы это такое! Ты меня пугаешь, Федор! На нее вся и надежда моя возложена – я за нее вечный мо-

литвенник!

– Что твои молитвы! Может, они и доходны до Господа, да тут молитвами уж не поправишь дела! Тут другое нужно...

– Да говори же, противниче! К чему ты речь клонишь? – серьезно сказал Сильвестр, хватая Шакловитого за руку.

– А вот к чему! С нынешнего дня царевна на тот путь вышла, чтобы ей с братьями соцарствовать и быть, как и они же, самодержавицей. Так ее князь Василий надоумил! Подбивает ее к тому вести дело, чтобы и ей тоже венчаться на царство...

– Тонко придумал царедворец!

– Тонко придумал, да об одном позабыл, что это прежде бы догадаться сделать! А теперь нужно одно помнить (тут Шакловитый понизил голос): что кровью начато, кровью и кончать надо...

– С нами крестная сила! – прошептал Сильвестр. – Неужто же на помазанников Божьих руку дерзнете поднять?

– И в голове этого нет! А главные ветви от коня отсечь потребно, пока корень-то не окреп да не заматерел...

– Кого же ты под этим разумеешь?

– Вестимо кого! Около младшего царя есть два всему злу заводчика: Бориско-пьяница да Нарышкин Лев. Стоит их принять, так «старой медведице» с нами не справиться будет!

– А что же князь Василий тебе на это скажет?

– Что скажет, коли мы его не спросим? Разве ты его не знаешь? Замутить да надомнить – его дело, а на нож полезть – других подставит. Вестимо, если дело до крови дойдет, – он не помога нам.

– Но как же без него? Разве *она* решится, не спросясь его совета...

– Вестимо, нет! Она ему верит, как Богу... И как любит его! Души в нем не чаает... Но ведь скоро ему придется идти в поход...

– В поход! В какой поход? Так это точно правда, что он в поход пойдет?

– Чему же ты дивишься? Ну да! В поход на крымцев. Мы ведь обязались договором с Польшей зачать с ними войну! А он кого же пустит в воеводы, кроме себя?.. Так вот – и скатертью дорога! Как он в поход, так мы сейчас примемся за дело... И мы должны его об-

ладить втихомолку...

– Недурно ты придумал, Федор!.. Но...

– Но это дело без стрельцов не обойдется! Их мы должны опять поднять; а и нет у меня людей таких надежных, подходящих... кому бы я мог довериться... через кого мог бы их на ум наставить... мог бы путь им указать! Ну, словом, ты мне нужен, Сильвестрий! Понимаешь? Ты мне нужен...

– Но чем могу тебе помочь? Я смиренный инок и крови трепещу...

– Да не в том и дело! У тебя между стрельцами есть благоприятели, есть старые знакомцы, с которыми ты водишься издавна... Ну, словом, помоги! Ведь все равно – сегодня царевна потеряет власть, и мы с тобою пропадем! Тебя съедят Лихуды, доведут до покаянья, до позора – а мне и в Сибири не найдется места! Так лучше уж дерзнем!..

– О! Лишь бы заградить уста этим глаголющим неистовые брехания, я готов помочь тебе, друг Федор! Знаю, что ты и в славе меня не забудешь...

Если царевну Софию нам удастся узреть державною, венчанною, соцарствующею бра-

тъям-царям, то ты из этой кельи переедешь в Патриаршие палаты.

Глаза Сильвестра загорелись недобрым огнем.

– А если не узрим, друг Федор? – спросил он Шакловитого, пристально вперив взор в лицо его.

– Ну так пойдем на плаху вместе!

И оба друга, обменявшись крепким рукопожатием, смолкли на мгновение...

Потом Сильвестр, как будто припомнив что-то, наклонился к Шакловитому и тихо сказал ему:

– Друг Федор, я и сам к тебе хотел идти и рассказать диковину. Есть человек один (не к ночи будь помянут) – сильный и страшный человек... в волхованиях и в чарах явно искусный! А ты... как? Ты в это веришь?

– Случалось слышать много... и видеть чудного немало приходилось... А сам не пробовал...

– А вот князь Василий – тот всего попробовал! Ты знаешь ли, как он добился милостей царевны?

– Как? Неужели чарами?

– Волхва сыскал, своего холопа, который в яствах клал корешки «для прилюбления», и относил те яства к царевне Софье.

Шакловитый вскочил со своего места, схватил Сильвестра за плечи и стиснул его, как в железных тисках:

– Неужели это правда! Вот если бы мне найти такого волхва! Чего бы я не дал ему!

– Ну так, видишь ли, есть и у меня такой же человек! Я от него-то и узнал о корешках, а он про это слышал от князя Василия людей... Так, видишь ли, вот этот самый человек...

– Да где же он? Кто он такой! Веди меня к нему! Поддай мне его сюда!

– Теперь не время... Да ты ж его и на Верху видал и знаешь!.. Тот самый знахарь-то, что из-за польского рубежа вызван лечить царевича Ивана Алексеевича от глазной скорби...

– Митька Силин?!

– Тсс!.. Тише, тише! Не называй его по имени – не надо! – прошептал Сильвестр, махая руками и опасливо оглядываясь по углам потемневшей кельи. – Да, он самый! У-у! Силица большая! С самим нечистым водится! Гадать умеет на все лады и от болезней разных

лечит снадобьями, и в солнце смотрит, и по солнцу узнавать горазд – кому что будет!

– Ну так что же?

– Я о тебе и о себе его заставил гадать, не сказывая, о ком гадаю: и он смотрел по зодиям и по кругам небесным, и по звездам, и говорит: великие-де государи недолговечны; перво-де, говорит, один к Богу пойдет, а потом и другой; а после того великое будет смущение, какого еще в Московском государстве не бывало; и кто-де, говорит, наверху теперь – тот на низу окажется, а про нас с тобою сказал, что мы... в большие князи произойдем.

– Не возьму я в толк...

– Ты слушай дальше! Я ведь ничего не ведал о походе, а просил его на князя Василья погадать, мол, будет ли тому удача в деле, в посольском-то? И он влезал на колокольню Ивановскую с чернецом Арсеньем и в солнце через черное стекло смотрел! И говорит потом: ему теперь удача будет и честь великая, а потом его за тридевять земель пошлют войною, и в той войне не быть удачи, – только кашу государскую истратит да людей изомнет.

– Диковинно! Как мог он об этом проведывать?..

– Чего он не знает! Так веришь ли теперь, что он тебе, пожалуй, окажет помощь и в сердечном деле? Он говорил, что жен с мужьями и помутить, и развести, и вновь свести – все это может... А во дворец он вхож...

– Ох, друг Сильвестрий! Пусть он все возьмет: мне ничего не жаль... Лишь бы... Да что об этом толковать? Тут дело делать нужно! Поразунай, покамест под рукою, порасспроси своих приятелей между стрельцами – согласны ли они помочь нам в нашем деле? А как только князя Василья сбудем, так уж прямо напролом пойдем, чтоб уж и царевне не было возврату... И если точно будет удача, пусть ей венец не из его руки, а из моей достанется! Так буду ждать твоих вестей!

Друзья расстались. Шакловитый, сопровождаемый Сильвестром, вышел во двор, где воротный сторож дожидался, держа под уздцы его коня. Легко и ловко вскочил Шакловитый в седло, сунул сторожу в руки серебряную монету и выехал за ворота, не оглядываясь. А Сильвестр долго стоял на последней

ступеньке лестницы, в глубоком раздумье, прислушиваясь к удаляющемуся топоту коня, звонко отдававшемуся в стенах давно заснувшей обители.

VIII

Наконец в половине мая собраны были все надлежащие справки в Приказах о том, как в прежние годы награждались бояре за свои службы при посольствах и при заключении договоров, и всем лицам, участвовавшим в заключении вечного мира с Польшей, князю Василию Васильевичу с товарищи, назначены были награды, щедростью своею далеко превосходящие всякие чаяния и упования. Эта щедрость, как все очень хорошо понимали, вызвана была желанием царевны наградить своего любимца так, как еще никто не бывал награжден до него; но само собою разумеется, что на это никто из его товарищей не жаловался: напротив, по особому свойству человеческой природы, все ощущали даже некоторую признательность по отношению к вельможе, на счастья которого создано и их общее благополучие.

И вот закипела работа в Приказах: пошли подьячие выводить свои крючки и росчерки и писать с дьяческих черняков жалованные грамоты красным почерком и красным сло-

гом. И значилось в тех грамотах после подробного изложения всех обстоятельств, сопровождавших заключение вечного мира, что «великие государи и самодержцы для того вечного мира и святого покою пожаловали такого-то за службы предков и отца его и за его, которые службы ратоборство и храброе и мужественное ополчение, и крови, и смерти, предки и отцы его, и он сам показали в прошедшую войну в Коруне Польской» и, всю «тое службу похваляя», утвердили за ним такое-то «поместье в вотчину». Любопытно, что такая грамота дана была, между прочим, и Емельяну Игнатьевичу Украинцеву, который никогда на своем веку не проливал никаких кровей и воевал только со своими подчиненными, уча их деловитости и порядку.

Раздача наград и чтение грамот в присутствии великих государей и всей Боярской думы назначены были на 22 мая; но уже за неделю всем было известно, какие кому сверх вотчин и грамот будут выданы подарки в виде серебряных сосудов, шуб, дорогих материй на платье и соболей. Никто не знал только, что будет назначено сверх вотчин и прибав-

ки жалованья Оберегателью, потому что подарок ему еще не был избран царевною Софией из Большой государевой казны. На всезнающей площадке на этот счет только втихомолку подсмеивались и острили:

– Хоть и неведомо, что ему подарят, однако ведомо, что не обидят.

– Хорошо тому, братцы, на свете жить, кто в сорочке родился! – говорили на это одни.

– Ну что там пустое толковать о сорочке, братцы! – у него *царь* в голове, оттого ему и удача во всем.

– *Царь*-то у него в голове есть, да удача не от «*царя*», а оттого, что *его счастье* в кике ходит, – лукаво добавляли другие.

Как только стало известно, что награды будут раздаваться 22 мая, князь Василий решил в этот день позвать к себе на обед патриарха, всю знать и всю родню; он знал, что все и без того к нему, как к первому вельможе, явятся поздравить с царскою милостью, что всех и без того придется угощать и дарить, а потому задумал придать этому празднеству по возможности блестящий и торжественный характер. И повод к празднеству был давно

готов: дело о свадьбе сына Алексея с дочерью боярина Исая Квашнина было совсем слажено, и на 22 мая можно было назначить стовор. Как только это решение созрело в голове князя Василия, он сообщил о нем для сведения и исполнения своей супруге-княгине и сыну-князю, а сам озаботился о важнейших приготовлениях к празднеству.

И заботы эти были настолько значительны, что отняли немало времени у Оберегателя. Подобное празднество в то время было недешево устроить, и мы это поймем, если примем во внимание существовавшие в то время обычаи. Князю Василию предстояло принять у себя не менее тысячи человек гостей из всех слоев общества и каждого из них угостить сообразно его положению, да сверх того посадить за стол человек двести почетнейших гостей и родни и, кроме обеда в пятьдесят – шестьдесят блюд, каждому из этих гостей поднести подарок, соответствующий его состоянию и служебному положению.

Князю Василию предстояло решить очень нелегкую задачу, несмотря на все громадные

материальные средства, бывшие в его распоряжении. Василий Васильевич Голицын, в описываемое нами время, был уже страшно богат и любил жить широко, любил блеск и роскошь в своей домашней обстановке; но при этом он все же был расчетлив и, как истый русский боярин XVII века, не пренебрегал никакими средствами для увеличения богатства. Кроме доходов с громадных имений, которые почти ежегодно разрастались от новых придач, прирезок и приобретений, кроме большого по тому времени жалованья и беспрестанных подарков от великих государей (то в виде дорогих мехов и платья, то в виде мебели, то в виде золотой и серебряной посуды), Оберегатель получал добровольные дары и приношения со всех концов России. По общему обычаю времени, он не брезгал не только «благодарностью» со стороны людей, которым доставлял места и должности, но даже и остатками казенных дворцовых кормовых и погребных запасов. Когда же случался пожар в одном из его четырех московских домов или в одном из его двенадцати подмосковных имений, то он без всякого стеснения подавал

государям челобитную и получал от них пособие на «погорелое».

При такой запасливости и таких способностях к приобретению князь Василий был прекрасным хозяином, всему знал цену и не любил тратить деньги по-пустому. Даже и во время своих долговременных отлучек из Москвы по делам службы князь Василий получал самые подробные сведения о каждой мелочи в своем хозяйстве и всем распоряжался сам через близких и доверенных людей. В доме его был образцовый порядок, и всей его громадной движимости велись весьма подробные переписные книги, в которые заносилась каждая, даже и самая незначительная, вещь. Сверх того, за многие годы сохранялись сметы и записи расходов, произведенных по поводу семейных празднеств, освящения домашней церкви, больших приемов и других случаев ежегодного обихода, сопряженных с угощениями и затратами.

И вот за несколько дней до празднества князь Василий, предоставив своей матушке Татьяне Ивановне и своей супруге Авдотье Ивановне ведаться с поварами и всякого рода

приспешниками, позвал к себе главного своего приказчика Матюшку Боева, человека весьма ловкого, оборотливого, опытного в житейских делах и уже обладавшего довольно кругленьким достатком, чтобы при его помощи ознакомиться с наличным количеством всяких запасов, хранившихся в его княжеских кладовых, погребах и на житных дворах, и составить приблизительную смету предстоящим расходам.

Матюшка (всем известный при дворе князя под именем Матвея Ивановича) немедленно предстал пред князем со связкою ключей на поясе и с полдюжиной толстых записных книг и тетрадей под мышкою.

– По нонешнему весеннему времени, – обратился к нему князь, – есть ли у нас достаточно запасов, чтобы к сговору сына такое же угощение учинить, как на дочкиных крестинах было или освящении нашей церкви?

– Как, государь, запасу не быть? У тебя дом – море; где ни черпни, все полно.

– Да вот, мне кажется, мы рыбой-то не богаты, да и запас-то такой, что похвалиться нечем! А ведь тут сам святейший будет...

– Помилосердуй, государь! У нас ли рыбы не быть, когда нашим новгородским Приказом и при государском дворе вся рыба держится – вся через наши руки на кормовой дворец поступает. Как бы и тут, опомнясь, нижегородский целовальник Логинка Брызгалов с товарищи и оханную рыбу великим государям привез, так и твоей милости двумя бочками поклонился; а в них – и мякотные осетри косяки, и хрящевые, и тешки, и башки белужьи, и осетрики просольные. Да он же привез две кадки икры, пудов до пяти, да визиги, да клею, да пуд молока, да два пуда пупков белужьих и осетрих. Да двинский целовальник Петко Онегин, как привозил государям десятинную красную рыбу семгу просольную, тоже твоей милости двумя бочками челом ударил. Да в пруду нашем на Загородном дворе под Девичьим монастырем есть еще с прошлого года запас живой рыбы – стерляди мерные шехонские да сырты новгородские, которых митрополит Корнилий тебе в дар прислал.

– Это рыбный запас! А мясного-то да живности хватит ли?

– Если бы ты, князь, и завтра затеял своих гостей созвать, так и тогда бы всех ублаготворили; а как тут до сговора князь Алексеева пять дней осталось, так мы еще из двух мест обозы живности получим, потому я во все твои ближние вотчины грамотки с нарочными посыльщиками отправил и в них именно прописал: «Как только ся моя грамота придет, собрали бы с крестьян на наш обиход, в счет денежных доходов, столько-то быков, да баранов, да гусей, да уток, да поросят, да куров индейских, да куров русских, да столько-то тысяч яиц, да сыров самых добрых, да...»

– Ну хвалю за обычай! Запас беды не чинит. Так вот теперь пораскинуть бы умом надо: кого чем угостить? кому что подавать? кого чем дарить? Чай у тебя сохранны записи за прошлые годы, чтобы нам и теперь против тех записей поступать.

– Как не сохранны, государь! И теперь с собой захвачены... Вот, примерно, если с духовенства начать, как мы их прежде угащивали и даривали, хоть бы при освящении церкви. Так вот тут у меня в записи значится, что тогда отцу патриарху один сорок соболей под-

несен ценою в пятьдесят рублей, а пестрым властям[5] тридцать семь рублей семь алтын да две деньги розданы. А питей про пестрых и про всяких святейшего патриарха чиновных людей – полтретья ведра ренского, да романеи тож...

– Не много ли будет? И того и другого им по ведру довольно?

– Не маловато ли будет? Потому ведь пить-то они все не плохи!.. Разве что будет их нынче поменьше?

– А дальше что?

– Вина церковного семь ведер...

– И трех довольно...

– Да двойного два ведра, да простого восемь; а пив и медов сколько ты сам, государь, укажешь.

– По десяти пива и меда за глаза с них будет. И то сказать: утробисты!

– А яствы на них записано: двадцать осетров просольных, да четыре пуда икры черной, да провесной рыбы.

Но тут любопытная запись Матвея Ивановича, свидетельствовавшая о гомерическом аппетите пестрых властей, была прервана

приходом Кириллыча, который доложил, что золотописец Карп Золотарев закончил свою работу на подволоке большой столовой палаты и просит князя взглянуть «на его дело». Князь приказал Матюшке подождать своего возвращения, а Кириллычу велел принести в большую столовую палату из особой казенки верхнего жилья всю сложенную там серебряную и вызолоченную посуду.

Карп Золотарев, специальный золотописец Посольского приказа, великий мастер и художник своего дела, благодаря современной моде был постоянно занят работами в Теремном дворце и в других загородных дворцах, где вместе с артелью своих рабочих расписывал стены и потолки хором под стать различных мраморов, золотил карнизы и рамы, покрывал золотыми лучами и травами притолоки дверей и амбразуры окон. Ему же поручалось золочение мебели и расписывание ее разными цветами по золоту, если ей хотели придать особенную ценность и изящество; а между делом он успевал исполнять и заказы Посольского приказа, разрисовывая заголовки и прописные буквы грамот или по-

ля священных книг, подносимых царевнами и вельможами в дар различным храмам и обителям. Ему-то и поручил князь Василий расписать стены и подволоку в своей большой столовой палате – самом обширном и самом видном из покоев его дома.

Эта палата, освещенная сорока шестью окнами, расположенными в два ряда, свободно могла вместить в себя двести пятьдесят – триста человек гостей. Князь вступил в это громадное зало и, ответив на поклон Карпа Золотарева приветливым кивком головы, бросил беглый взгляд кругом.

Большая столовая палата производила очень приятное общее впечатление, потому что все в ней свидетельствовало о тонком вкусе хозяина, и побывавшие в ней иноземцы недаром говорили, что она могла бы украсить собою дворец любого итальянского принца. Стены палаты были с трех сторон расписаны под мраморы различных цветов, а с четвертой, украшенной девятью портретами русских государей, – обиты золочеными немецкими кожами. В окнах все оконницы были не только стеклянные (что было боль-

шою редкостью и диковинкой по тому времени); но в двух крайних окнах стекла были даже расписные. Вся мебель состояла из опрометных скамей, обитых красным сукном, и двух огромных столов с мраморными досками. Над столами спускалось с потолка изумительное по резьбе большое костяное паникадило о пяти поясах. Около одной из стен стояли органы и басистая домра в футляре; около другой, увешанной зеркалами, возвышались раскрашенные и раззолоченные поставцы, уставленные серебряною и хрустальною посудой и немецкими кувшинами и кружками самых причудливых форм. И все это роскошное убранство столовой палаты завершалось пестрою и оригинальною живописью потолка, на котором по углам и вокруг, в двадцати медальонах, были писаны по золотому фону «пророки» и «пророчицы», а в середине, по одну сторону – ярко вызолоченное солнце с лучами, по другую – бледный месяц, а вокруг солнца «беги небесные с зодиями и с планеты, писаны живописью».

Князь Василий залюбовался затейливым рисунком и почти не слушал доклада Карпа

Золотарева, который подробно пояснял ему, как он выполнял его заказ, как покрывал холст левкасом и золотил по левкасу и сколько недель потом, лежа навзничь на подмостках, расписывал по золоту «лики» и «беги небесные».

А в то время как князь осматривал свою столовую палату, Кириллыч со слугами вносил корзину за корзиной и, вынимая из них серебряные чарки, чаши, кубки, стопы и ковши, расставлял их в ряд по столам для осмотра боярского. Но боярину было не до того...

Под впечатлением всего, что было испытано и пережито за последние дни, под впечатлением ожиданий предстоящего торжества князь Василий представлял себе эту палату залитою светом, полною бояр и первейших сановников, в аксамитах и алтабасах, в жемчугах и камнях, за столами, которые гнутся под тяжестью золотой и серебряной посуды... И себя он видел между ними на первом месте. И слышал он кругом себя веселый шум, говор и почтительный шепот удивления перед тем, чего он достигнул, что он совершил. А вон сквозь толпу, с трудом протесняясь, шествуют

дьяки в золотах, держат писанную на пергаменте жалованную грамоту, несут торжественно золотую чашу, обсыпанную камнями, несут шубу атласную на бесценных соболях... А в той грамоте четко приписано, что им, князем Василием, «преславному имени Царского Величества учинено многое повышение, а православной вере – умножение, а державе Российской великая прибыль и по всему свету вечная слава и хвала...».

«Слышите ли вы, враги и супротивники? Сознаете ли вы свое ничтожество?!»

И поднимаются с мест царевичи крещеные и все боярство, и кланяются ему, князю, в пояс, и громко славят его имя, его бескровную победу! И гремит музыка, гудят колокола церковные – и шумно ликует кругом его светлых боярских палат всенародное множество, выхваляя щедрость и милость боярскую. А почему ликует? Кто виновник всего этого торжества и ликования? Он – князь *Василий*... Да то ли еще будет, когда он выступит во главе всего воинства русского на попрание исконных врагов христианства – на злых татаровей... Он одолеет их, сотрет их с лица земли – он

должен вернуться победителем! И тогда он оживит пустыни, населит их, проложит в них пути мирному землепашцу и предприимчивому купцу...

И вдруг золотая нить мечтаний князя порвалась столкновением с действительностью...

– Государь всемилостивый, – раздался сзади голос старого Кириллыча, – изволь сам назначить, какие кому золотые и серебряные сосуды даровать изволишь, чтобы потом каких оглядок не вышло.

И князь Василий, пробужденный от обаятельных грез тщеславия, перешел к рассмотрению и взвешиванию серебряной и вызолоченной посуды, делая указания Кириллычу и тщательно соразмеряя ценность назначаемого дара со значением и весом лица, которому дар предстояло поднести.

В суетном мечтателе и ненасытном честолюбце опять проявился практический и сметливый московский боярин.

IX

Дня три спустя после того шумного и блестящего празднества, которым Оберегатель отпраздновал и получение щедрых царских милостей, и свою семейную радость – стовор сына Алексея с боярышней Марьей Исавной Квашниной, – длинный поезд, состоявший из нескольких карет, колясок и колымаг, тащился по изрытой колеями и грязной дороге от Москвы к Преображенскому. В каретах и повозках сидели участники последних переговоров с Польшею, князь Василий Васильевич Голицын с товарищи. Накануне все они были на поклоне у царевны Софии и царя Иоанна Алексеевича и допущены были «к руке»; и дворский обычай требовал, чтобы с тою же цепью они побывали и в селе Преображенском, где юный царь Петр проводил большую часть года под крылом своей матери. И вот Оберегатель со товарищи ехал благодарить великого государя Петра Алексеевича за те милости, награды и подарки, в которых Петр, собственно говоря, не принимал никакого участия.

Впереди поезда ехали «для береженья» человек тридцать боярских слуг, с саблями через плечо и с пистолями за поясом; да человек двадцать точно так же вооруженных слуг ехали на хвосте поезда. По обеим сторонам повозок, на борзых аргамаках, гарцевали служилые гайдуки князя Василия, в пестрых кафтанах с откидными рукавами; а по правую руку кареты Оберегателя ехал неизменный спутник всех выездов князя – Куземка Крылов – на поджаром вороном коне, выступавшем бойкою дробною ходой. В передней расписной карете, запряженной шестериком рослых и сильных гнедых коней, сидел, развалясь на подушках, князь Василий, а против него, на передней скамье, помещался дьяк Украинцев.

Дорога в Преображенское шла, извиваясь, глухими, привольными местами, то пересекая топкие и низменные луга, поросшие гривами камышей и кустов, то пролегая по густой и темной чаще. Трудно было даже и поверить, чтобы такая глушь, такой «охотничий рай» мог начинаться почти у самой московской городской заставы! Недаром оценил и

облюбовал эти места страстный охотник царь Алексей Михайлович и, откупив их для своей царской потехи, сделал их заповедными... В этой-то благословенной зеленой глуши построил он и свое любимое село Преображенское, в которое наезжал нередко раннею весною и позднею осенью во всех видах, потому что в соседних с Преображенским лесах водилось великое множество всякой птицы и зверя, а часть леса около самого села была даже отведена под искусственный зверинец, для содержания запасного зверя или же зверя диковинного, редкостного, привозного.

Уже в царствование царя Федора Алексеевича село Преображенское было указано вдовствующей царице Наталье Кирилловне *как удобное для нее местопребывание*, и она туда охотно переселилась вместе с малолетним сыном Петром Алексеевичем и маленькою дочкою Натальею Алексеевною. Здесь, вдали от неприятного ей двора, царица Наталья Кирилловна посвятила себя заботам о воспитании детей и о их будущности. Но когда царь Федор скончался, а через две недели после его кончины так нежданно разрази-

лись ужасы Стрелецкого бунта и на глазах царицы так позорно и так безжалостно были умерщвлены ее друзья и брат; когда так открыто и так нагло выступили на сцену главные деятели заговора и София захватила власть в свои руки... О, тогда Преображенское стало для царицы еще более дорогим и привлекательным! Только здесь, среди ближайших родных и друзей, окруженная верными и преданными слугами, она не трепетала за детей и могла свободно предаваться то скорбным воспоминаниям, то отдаленным надеждам и упованиям.

При переезде через один из ручьев, пересекавших дорогу, карету Голицына трянуло так сильно, что он ударился плечом об одну из стенок ее и, не остерегшись, чуть не выбил стекла локтем.

– Ну уж дорога к царскому селу! Хуже всякого проселка, – проворчал он досадливо.

– Да! Таки потряхивает! – отозвался Емельян Игнатьевич. – Да, впрочем, на этом ручье, что из Лосинового острова течет, и всегда так было! А мне этот ручей еще и тем памятен, что я тут однажды чуть живота не ли-

шился!

– Каким же это случаем?

– А послан я был в самый канун Аграфенина дня с грамоткой к покойному царю Алексею Михайловичу от боярина Ртищева. Поехал я для скорости верхом, и лошадь мне с дворцовой конюшни дали такую, что еле ноги волочила. И только бы мне к этому ручью подъехать, как вижу, передо мной на полянке взмыл из-за лесу коршун, а на него, как камень, пал сверху красный кречет, – да как черкнет его!.. Коршун от него – наутек через дорогу, к лесу; а кречет – за ним. Не успел я оглянуться, как вдруг вижу, прямо на меня со стороны полянки что есть духу мчат человек тридцать царских сокольников, а впереди сам батюшка-царь... И все вверх глядят и кричат во весь голос, и шапками вверх машут – а меня и не видят! Налетели, коня с ног срезали и все через меня, как вьюга, промчались к лесу, за кречетом! Как я очнулся от испуга, как встал – и сам не знаю! Да уж насилу-то, насилу пешком добрел до Преображенского. А государь-то батюшка – блаженной памяти! – и говорит потом: «Счастлив твой Бог, что мы

только коня под тобой помяли! Иль ты не ведаешь, что в лесу поваднее с медведем по-встречаться, чем в поле поперек дороги охотнику стать?..» Да вот уже мы и подъезжаем.

Поезд князя Василия Голицына с товарищи остановился у рогаток, которыми были огорожены ворота околицы села Преображенского, и передовые слуги боярские уже вступили в переговоры с караулом из солдат и жильцов, охранявших ворота. Пришлось боярам вылезть из повозок и объявить о цели приезда в Преображенское, затем оставить за околицей всех коней и всю свиту, а самим брести пешком до дворца, между тем как старший из караула побежал докладывать дворцовой службе о приезде бояр из Москвы.

Шествуя к дворцу, бояре с любопытством осматривались кругом и многому дивились не на шутку. Как раз перед дворцом на расчищенной лужайке человек пятьдесят потешных конюхов, с мушкетами на плечо, маршировали под такт барабана, довольно неуклюже поворачиваясь всем строем по команде немца капрала, который осыпал их бесцеремонной бранью и кричал на них осипшим го-

лосом: «Лефой, прафой! Слюшай комантa! Лефой, лефой!» Далее на той же лужайке человек десять потешных в самых разнообразных полукафтaньях и шапках возились около двух небольших железных пушек, обучаясь приемам зарядания и наводки и живо действуя банником. Видно было, что это уже не новички в деле. Поправее дворца и ближе к берегу Яузы возводилась какая-то постройка: две больших избы обносились высокою зубчатую стеною из толстых бревен, а над воротами их воздвигалась башня с высокою шатровой кровлей. В то же время вдоль стены одни землекопы рыли глубокий ров, а другие отвозили землю на тачках и насыпали высокий вал между рвом и стеною. Работали, по-видимому, спешно, и работа кипела: звонкий стук топоров сливался с криком сотни голосов и отдавался гулким эхом в окрестных лесах. Где-то далее слышно было, как пели «Дубинушку» – должно быть, били сваи или накатывали тяжелые бревна на постройку. А среди этого шума из лесу доносилась по временам трескотня мушкетной пальбы то в виде залпов, то одинокими выстрелами.

У входа на дворцовое крыльцо князь Василий и его товарищи были встречены боярами-князьями Прозоровским и Троекуровым, которые, обменявшись обычными приветствиями, пригласили гостей в «переднюю» государеву.

– Государыне царице Наталье Кирилловне о твоём прибытии уже доложено, – сказал Троекуров Голицыну, – ну а государя-то Петра Алексеевича вам, пожалуй, немало времени подождать придется...

– А почему бы так, князь Иван Борисович? – спросил князь Василий. – Иль государь в отлучке? Поход, что ли, куда затеял?

– Какой там поход! Он никуда отсель не отлучается. А вот и дома, да негде взять. Иной день с ног собьешься, его искавши...

– Да что же он от вас нарочито хоронится, что ли? – вступился Шереметев.

– И не хоронится, а не сыскать!.. Ведь он у нас как молонья... То здесь, на стройке, то там, на земляных работах, то с Зоммером-то, с иноземским капитаном, на стрельбу за две версты укатит, да все пешком...

– Как! Неужели пешком? – воскликнули с

изумлением все приезжие бояре.

– А как же? Да сюда вернется-то иной раз весь в грязи, в пыли, в поту – и никто не смеет ему и слова молвить, чтобы он переменить изволил обувь или другой кафтан надеть. Сейчас отрежет: «Не суйся под руку! Я сам все знаю!» Да! он у нас бедовый!

– И неужели же государыня пускает государя повсюду одного – не тревожится? – спросил Голицын с недоумением.

– А как его непустишь? – продолжал Троекуров. – Заладил: «Хочу! Чтоб было – и конец!» Одной лишь матушки-царицы и слушает... Ну а как та рассердится, прикрикнет, он сейчас к ней с ласкою; уговорит ее, умаслит и таки поставит на своем. И государыня-царица уж привыкла – не боится теперь. Да он же не один: с ним неотступно всюду ходят трое Нарышкиных да Никитка Зотов, а то и сам князь Борис Голицын. И уж как он их иной раз загоняет – посмотришь, право, ну и смех и грех!

Словоохотливый боярин, вероятно, и далее продолжал бы занимать гостей своими любопытными рассказами о преображенском ба-

ловне; но дверь в комнату отворилась, из нее чинно вышел ближний боярин царицы Тихон Никитич Стрешнев и произнес громко:

– Благоверная государыня-царица Наталья Кирилловна изволит жаловать в переднюю. Князь Иван Борисович, тебе бояр являть повелено.

И в то время как бояре и дьяки выстраивались по старшинству и сану, а князь Василий становился впереди их с князем Троекуровым, царица Наталья Кирилловна в темном летнике с золотыми пуговицами и в широкой теплогрее, обшитой золотым кружевом, вошла в палату. На голове ее был темный же каптур, низанный жемчугом. Позади ее вступили в переднюю две ближние боярыни, а двое молодых стряпчих внесли кресло, на которое царица опустилась, ответив на земной поклон бояр.

Высокая, стройная и статная государыня на вид казалась значительно моложе Софии Алексеевны, хотя, в сущности, была лет на пять старше царевны. И она была все еще прекрасна и лицом своим напоминала тип той чисто русской красоты, которой в песнях

приписываются «брови соболиные, очи соколиные и поступь лебединая»... Но тяжкие испытания и незаслуженные удары судьбы, но пережитые ею горести и утраты наложили на ее прекрасное лицо печать грусти и уныния, а бессонные ночи, проведенные в смертном страхе и горьких слезах, отуманили блеск ее очей и сменили прозрачную бледностью прежний яркий румянец щек. К тому же потрясения, испытанные царицею во время майских дней 1682 года, оставили такой глубокий и неизгладимый след в душе царицы Натальи, что она всегда тревожно и вопросительно оглядывала каждого подходившего к ней, прежде нежели обращалась к нему с речью.

Князь Троекуров явил приезжих бояр, которые все издавна были известны царице лично, и при этом объяснил, что князь Голицын с товарищи прибыли в Преображенское благодарить великого государя Петра Алексеевича за полученные милости и награды и просят о допущении их «к руке государской».

– Рада видеть вас, князья и бояре, рада бы я просьбу вашу исполнить, да не знаю, скоро

ли наш посланный отыщет государя – сына моего! – сказала Наталья Кирилловна. – А благородная царевна Софья Алексеевна все по-здорову ли?

– Великая государыня царевна и великая княжна Софья Алексеевна по сей день по милости Божьей здравствовать изволит и тебе, великой государыне, с нами поклон и привет шлет, – отвечал с низким поклоном Оберегатель.

За этим первым официальным вопросом о здравии правительницы последовал ряд таких же вопросов о здравии всех шести сестер и двух теток ее, и князь Василий на все эти официальные вопросы правил такие ответы с низкими поклонами.

Этот скучный церемониал еще не был вполне окончен, как в сенях послышался шум, говор и стук шагов, потом дверь распахнулась настезь и государь Петр Алексеевич вбежал в переднюю, а за ним поспешно вошли младшие братья царицы – Лев, Мартемьян и Федор Нарышкины – и дядька царевны дьяк Никита Моисеевич Зотов.

Четырнадцатилетний Петр, не по летам

высокий и плечистый, смотрел семнадцатилетним юношей и тогда уже обещал в будущем быть богатырем. Голицын и бояре с первого взгляда на царевича успели убедиться в том, что в рассказе о нем Троекурова не было ничего преувеличенного. На царе был потасканный полинялый кафтан из зеленой обьяри, обшитый золотым плетеным, сильно поношенным галуном. Из такого же галуна были и нашивки с кистями на груди. Высокие смазные сапоги его были забрызганы грязью. Густые черные кудри были всклочены и спускались на самые брови. Пот крупными каплями катился по его лицу, пылавшему румянцем здоровья. Но и в лице, и в насупленных бровях выражалось неудовольствие взрослого ребенка, не в пору оторванного от любимой забавы.

Не обращая ни малейшего внимания на поклоны бояр и князя Василия, Петр стремительно подошел к матери, поцеловал ее в руку, потом в щеку и стал рядом с ее креслом, сердито надувши губы и потупившись.

– Садись! – спокойно и твердо сказала ему царица, указывая на кресло, которое пододви-

нули ему сзади стряпчие.

– Могу и постоять – я не устал.

– Приказываю тебе сесть! – повторила тем же голосом Наталья Кирилловна.

И Петр повиновался ей, продолжая твердить вполголоса:

– Да мне некогда сидеть... У меня там работа стоит.

– Князь Иван Борисович, – обратилась царица к Троекурову, – изволь являть князей и бояр государю Петру Алексеевичу.

Троекуров дословно повторил царю то же, что говорил царице, и когда дошел до того, что «бояре просят о допущении их к руке великого государя», то лицо юноши вдруг прояснилось и он, улыбаясь очень добродушно, обратился к матери:

– Матушка, уж этого совсем нельзя – я так прытко бежал сюда по твоему приказу, что не успел и рук вымыть!

И он показал матери свои большие крепкие руки, перепачканные смолою.

Наталья Кирилловна так и всплеснула руками.

– Где это ты так перепачкаться изволил?

Как тебе не стыдно!

– Не брани, матушка! Да отпусти скорее... Ей-же-ей – дело есть! Мы там карбус да шняку на Яузе оснащаем. Их мастер из немецкой слободы смолит; а я ему помогаю.

– Успеешь все это и после сделать, ты теперь обязан принять бояр и запросить у них о здравии сестриц и тетушек.

Петр опять насупился, однако ж сказал недовольным тоном:

– Ну как там... все мои сестрицы и тетушки поздорову ли?

Оберегатель отвечал царю теми же обычными фразами, какими отвечал и на вопросы царицы, и Петр уже готов был подняться с места, когда мать, наклонившись к нему, шепнула ему что-то на ухо. Петр вдруг блеснул на князя Василия своими большими черными глазами и спросил в упор:

– Правда ли, князь Василий, что сестра София Алексеевна послов отдельно принимала после нашего приема и к руке их жаловала?

– Истинная правда, великий государь, – отвечал царю князь Василий совершенно спокойно.

Петр, видимо, недоумевая, зачем его заставили задать этот вопрос, молча переглянулся с матерью.

– А случалось ли то прежде, чтобы царевны отпускали послам давали и к руке их жаловали? – спросила Наталья Кирилловна, обращая на Оберегателя пристальный взгляд.

– Случалось, государыня. Когда супруга великого князя Василия Иоанновича, Елена, была правительницею в малолетстве сына своего, то ей не раз случалось принимать послов. И теперь великая государыня царевна послам давала отпуск как правительница... Притом послы об этом просили и отказать им было бы...

– По-моему, так это не по обычаю... – перебила князя Василия царица и поднялась со своего места, видимо, не желая продолжать неприятный для нее разговор.

Петр также поспешил подняться с места и, обращаясь к матери, сказал:

– Ну что ж?.. Коли послы ее просили!..

Мать строго на него взглянула и сказала сурово:

– Молчи! Ты этого не смыслишь!

И тотчас же взяла Петра за руку и увела с собою во внутренние покои. За ними последовали Нарышкины, Зотов и Троекуров.

Через минуту Троекуров вышел снова и объявил боярам, что царь Петр сейчас вернется и допустит их к руке, а затем просит их к столу своему государскому, а дьяков повелевает угостить дьяку Никите Зотову.

И точно: царь явился вскоре принаряженный, в богатом бархатном полукафтани, в сафьянных сапогах, расшитых золотом и жемчугами. Кудри его были гладко расчесаны и руки тщательно вымыты. Он допустил бояр к руке и затем пошел с ними в столовую палату.

За обедом Петр засыпал бояр расспросами о Крыме, о турках и татарах, о предстоящей войне. Мало-помалу князь Василий овладел беседой и сумел выказать перед юношей-царем с самой выгодной стороны свои обширные сведения и в политике, и в военном деле. Он набросал перед Петром яркую картину того томления и тех страданий, среди которых живут под властью турецкого салтана народы православной греческой веры – и только то-

го и ждут, только тем и утешаются, что когда-нибудь получат отраду и облегчение от русских государей. Затем он намекнул и на то, что Российскому государству война необходима, так как многие люди, а в особенности казаки, ищут и желают службы и без войны даже прокормить себя не умеют. В заключение он сказал, что трудная война, предпринимаемая во славу Божию в союзе с государями европейскими, против общего врага всего христианства, должна будет принести великую честь и хвалу Российской державе.

Петр так внимательно и жадно слушал умную и красивую речь Оберегателя, что на время позабыл даже о своих судах на Яузе. Когда бояре после стола откланялись и простились с царем, Петр, оставшись наедине с Зотовым, сказал ему:

– Мосеич! А ведь князь-то Василий всем взял: и умен, и учен, и говорить горазд...

– Еще бы! Заговорит – заслушаешься! Что твои гусли-самогуды!

– За что же его так матушка не любит и все меня от него остерегает?

– А за то, что он лукавит да руку твоей

сестрицы гнет; а кабы не это...

– Так что бы было?

– Кабы не это, так был бы он у тебя изо всего царства первым человеком!

– Все ты врешь, Мосеич. Первый должен быть царь – и никто другой! Ну пойдём на Яузу карбус домазывать.

Х

Минуло лето. В конце августа, следовательно, в конце 194 (1686) года князь Василий поспешил отпраздновать свадьбу Алексея, готовясь в наступающем году к тяжелым воинским трудам и заботам. 1 сентября великие государи и государыня София Алексеевна принимали вместе со всем двором, патриархом и высшим духовенством обычное участие в торжественном праздновании *новолетия*, и вся Москва не без тревоги встретила наступавший новый, 1687 год.

3 сентября на постельном крыльце Теремного дворца сказан был стольникам, стряпчим, дворянам московским и жильцам и «иных всяких чинов ратным людям» указ великих государей и государыни Софии Алексеевны о том, «что хан Крымский имеет намерение приходить войною к их государским Украйным и Малорусским городам», – и по тем вестям указывалось всем быть готовыми к государственной службе.

Точно такие же указы были посланы с нарочными гонцами в уезды Замосковные, За-

оцкие и на Украину. Городовые воеводы читали там указы по приказным избам, перед всеми местными начальными людьми, с подобающим внушением, а для большего распространения сведений о сборах в поход в среде народа приказали тот указ биричам выкликать в торговые дни на базарах и на площадях. Из городов рассылались указы по уездам, во все волости и станы, ближние и дальние через воеводских стрельцов, которым поручено было всюду объявлять, чтобы ратные люди к государевой службе готовились, запас полный припасали, коней откармливали, никуда не разъезжались и не отлучались, в ожидании последующего царского указа, по которому, «ничем не отговариваясь и без всякого перевода», все должны были явиться в определенные сборные пункты на коне, с полным доспехом и вооружением. И потянулась та бесконечная канитель, которая называлась в старину *сбором войск в поход* и при необъятных пространствах Русской земли, при отсутствии путей сообщения и укоренившихся привычках самоуправства всяких властей и начальных людей была великим народным

бедствием.

В то же самое время на Верху в Теремном дворце ежедневно собиралась царская Дума в полном своем составе и постепенно выработывала общий план предстоящей войны, обсуждала, сколько полков нужно набрать, где им собраться, к какому сроку выступать, а главное – откуда взять деньги на жалованье ратным людям и военные расходы. Наконец, в виде особенной милости к Оберегателю, великие государи в одном из наиболее торжественных заседаний Думы лично объявили князю Василию Васильевичу Голицыну о назначении его Воеводою Большого полка, иначе сказать – главнокомандующим над тою стотысячной армией, которую предполагалось собрать и двинуть против татар.

Дня два спустя после этого назначения, по установившемуся обычаю времени, князь Василий отправился ранним утром к патриарху Иоакиму за благословением, которое всегда и всеми испрашивалось у отца-патриарха перед началом каждого нового или важного дела.

Палаты патриарха были расположены в

Кремле, позади Соборов, и настолько близко от Теремного дворца, что многие здания и службы, лежавшие в черте обширного патриаршего владения, сходились стена об стену со зданиями и службами Теремного дворца. Каждый переступавший порог патриарших палат вступал в особое государство, которое ведалось своими законами и вполне самостоятельно существовало среди окружавшего его мирского государства. В черте патриарших владений были свои Приказы, своя казна, свои громадные доходы и расходы, свой суд, даже своя тюрьма для тех, которые требовали наказания; в этом государстве был и свой «государь святейший патриарх», окруженный своим двором, в котором были и так называемые *патриаршие* бояре и стольники, как и при великих государях в Теремном дворце.

Но все богатства и вся пышность, окружавшие патриарха, все те почести, которые ему воздавались, нимало не отдаляли его от народа, не делали его недоступным. Богатства, широкою рекою стекавшиеся в его казну, широкою волною изливались на дела благотворения и милосердия, а двери его палат круглый

год стояли настежь отворенными для каждого, кто приходил к отцу-патриарху поделиться своею радостью или поискать утешения в своем горе. Член царской семьи и бедный крестьянин, боярин и нищий, богатейший купец и простой рабочий шли к патриарху беспрепятственно, находили к нему открытый доступ, и каждый получал по заслугам и потребностям: приветливое слово, радушное угощение и пастырское благословение.

Когда Оберегатель переступил порог патриарших палат, он был встречен в сенях патриаршим боярином, который поклонился ему в пояс и после обычных приветствий и вопросов о здравии сказал ему:

– Батюшка-князь Василий Васильевич! Государь святейший кир-Иоаким патриарх в Крестовой палате обретается, и народу у него там многое множество – каждый со своим делом, – так не пожалуешь ли прямо в Столовую палату ко святейшему, а мы ему о твоём приходе особо доложим?

– Нет, боярин, не тревожь святейшего; я к нему за тем же делом, что и другие, так я в Крестовую к нему и пойду.

– Твоя воля, князь. Кстати сказать, святейший сегодня поход в Симонов монастырь объявил, так, должно быть, в Крестовой долго и не останется.

Когда князь Василий вошел в Крестовую палату патриарха – обширное, светлое, благолепно украшенное зало, – у дверей и около стен стояло по крайней мере человек шестьдесят всякого звания людей, выжидавших своей очереди, чтобы подойти под благословение патриарха. Тут были бояре, стольники, купцы и крестьяне. В толпе видно было несколько именинников с именинными пирогами и калачами; тут же стоял придворный ключник с привозным из Астрахани виноградом; был и простой рыбак с огромным лещом в лоханке, и какой-то мужичок с чудовищной редькой на деревянном блюде, и греки с Афона, и монахини из какого-то дальнего монастыря. В переднем углу, под образами, на особом возвышении, или амвоне, из трех ступеней, обитых красным сукном, сидел в кресле патриарх Иоаким, старец лет под семьдесят, убеленный сединами, но еще бодрый и благообразный на вид. Около патриарха стоял его

ризничий Акинфий, высокий и плечистый мужчина лет под пятьдесят, с умным и энергичным лицом, а немного далее – любимый ключарь его Иаков, суетливый и подвижной старичок, рябой и подслеповатый. Позади патриарха и по бокам амвона теснилось несколько лиц из клира. На ступенях амвона стояли перед Иоакимом стольник Поливанов и окольный Лопухин – оба с молодыми женами. Недавно повенчанные парочки пришли к отцу-патриарху за благословением и принесли ему свадебные овощи в красиво раззолоченных корзинах, прикрытых искусно расшитыми ширинками.

В то время, когда князь Василий вступал в палату, патриарх благословлял молодых супругов иконами и по поводу одной из икон вспоминал приснопамятное ему обретение правой руки апостола Андрея Первозванного, несколько лет тому назад отысканной в серебряном ковчеге между многими другими мощами патриаршей ризницы при церкви Апостола Филиппа. Все с напряженным вниманием слушали то, что говорил патриарх, и князь Василий смиренно стал в сторонке, вы-

жидая окончания речи святейшего, который продолжал:

– Обретенная нами святая рука богопроповедника вселенского, особно же Всероссийского, имеет сложение перстов по обычаю Матери нашей православной Церкви, якоже и все христиане крест изображают: три перста совокупные, два же пригнутые зело явно; видимо, что святой апостол Андрей, мучимый безбожным Анфинатом Егеатом, при смерти свой крест святой на себе знаменал, и тако сложены и замерли, и окрепли персты его...

И затем, обращаясь ко всем находившимся в палате, возвысил голос и произнес громко:

– Помните вы все, православные, что сие троеперстное сложение обретенной десницы богопроповедника обличает явно раскольников Святой церкви безумство и непокорство!

Когда патриарх окончил свою речь, князь Василий подошел к нему под благословение, и в то время как целовал его руку, святейший сказал ему вполголоса:

– Рад тебя видеть, князь Василий, и дело у меня до тебя есть; должен наедине с тобою

побеседовать. Повремени, пока отпущу православных.

И между тем, как князь Василий отошел с князем Троекуровым и его зятем окольниковым Лопухиным к окну, патриарх поднялся со своего кресла, и вся стоявшая в глубине палаты толпа, теснясь, двинулась к нему под благословение. Прежде всех почти подбежал к амвону придворный истопник Максимко Гаврилов и, повалившись в ноги перед Иоакимом, заголосил на всю палату:

– Смилуйся, святейший патриарх! Яви мне, грешному, свое милосердие! Вчера был я к тебе послан от великой государыни царевны Евдокии Алексеевны со столом, понес тебе блюда прикрошки тельной да блюдо левошников, да грешным делом поскользнулся и наземь пал, и блюда те в грязь уронил! И велено меня за ту провинность перед твоими палатами бить батогами нещадно...

– Жалею, что ты не донес до меня царское жалованье, – сказал Иоаким. – На сей раз попрошу тебя от наказания избавить. Но помни, что царское веление следует исполнять не с небрежением, а со вниманием и усердием.

Максимко поспешно ударил еще земной поклон и отошел к стороне. Затем подошли именинники со своими приношениями, и всех их патриарх поздравил и отослал в свой кормовой дворец, с приказанием угостить их – кого вином, кого медом. За ними подошел степенный ключник Сергей Бохов с астраханским виноградом от царевны Софии Алексеевны. Патриарх приказал принять виноград и благодарить царевну, а подателя ее даров благословил небольшим образком, который взял из рук ризничего.

Вслед за придворным истопником подошла к амвону ветхая старушоночка, сморщенная и сторбленная (судя по одежде, клирошанка). Она подала патриарху небольшой конец тончайшего домотканого холста и, низко кланяясь, проговорила:

– Прими, государь, моего тканья холст! Сама тебе на опучки выткала.

– Спасибо за усердие, честная вдова Варварица! Снеси холст казначею, скажи, чтобы принял, а тебе твое жалованье[6] выдавал против прежнего.

За старушкой клирошанкой подошел му-

жичок в серой свитке, с чудовищной редькой на деревянном блюде. Лицо его сияло добро-душнейшею улыбкою самодовольствия, когда он, поклонившись в землю патриарху, поднес ему свой дар:

– Не побрезгай, святейший патриарх, прими от своего подмастерья каменных дел Бориски Семенова. На своем огороде экую вырастил... Больно ядрена ноне уродилась...

– Спасибо тебе, добрый человек, за редьку, – сказал с ласковой улыбкой Иоаким, – редька с квасом хороша! Так пойдя от меня к ключнику Семену да вели себя угостить моим любимым малиновым квасом.

И между тем, как за Борисом Семеновым потянулись к Иоакиму греки с Афона, монахи и крестьяне, и всякий иной люд, к князю Василию подошел с поклоном ключарь Иаков и сообщил, что патриарх просит его пожаловать в «малую» келью и там подождать его. Провожая князя по владычным покоям, ключарь все что-то бормотал себе под нос вполголоса, так что даже и князь Василий, давно уже знавший этого доброго и очень бес-толкового старика, обратил наконец внима-

ние на его бормотание:

– Что ты это, отец Иаков? Молитву, что ли, новую складываешь или канон какой на память твердишь?

– Нет, батюшка князь! На меня беда пришла... с моей памятью!

– Какая же твоя беда, отец Иаков?

– Да вот, приказал святейший колоколам на Ивановской колокольне прозвание переменить. Как докладываем мы ему о благовесте, так велено нам в докладе новый-то большой называть Успенским, а старый Успенским Воскресным, а Реут – по-ли-елейным... Вот я и путаюсь при докладе святейшему; хочу сказать «Успенский», а говорю «Воскресенский», а вместо полиелейного – все Реут да Реут!.. Даже прогневал святейшего!.. И твержу теперь на память, в которые колокола благовест заказан!

Князь Василий невольно улыбнулся и подумал: «Видно, у каждого своя забота, и каждому Бог дает ее по силе!»

В «малой» келье патриарха, выходявшей окнами в так называемый комнатный садик, устроенный в виде террасы над сводами пат-

риаршей казенной палаты, князю Василию пришлось недолго ожидать. Иоаким вступил в палату через несколько минут и, опустившись в кресло около столика, на котором был золотом и красками писан патриарший герб, пригласил и Оберегателя сесть.

– Святейший отец-патриарх, – сказал князь Василий, почтительно преклоняя голову перед Иоакимом, – я пришел к твоему архиерейству просить благословения на предстоящие мне многотрудные подвиги.

– Я ожидал тебя, князь Василий. Знаю, что ты, чадо верное и нелицемерное, не забудешь о нашем благословении даже и среди твоих забот государственных, и приготовил тебе благословение... Но прежде, чем передам, я должен говорить с тобой о тайном деле.

– О тайном? – переспросил князь Василий.

– Да, сын мой возлюбленный, и молю тебя, и заклинаю никому не передавать беседы нашей. Я назвал тебя чадом верным и нелицемерным, ибо знаю, что не лежит в тебе сердце к мрачным ковам и злохитростным мечтаниям... Но ты от нас грядешь... Ты бежишь во след воинской славе... На кого же ты нас по-

кидаешь? Кому вручаешь судьбу малолетних государей и всего государства?

– Святейший отец-патриарх! Не я государством правлю – благоверная царица София Алексеевна...

– Не говори со мною как царедворец! Нас здесь слышит только Бог единый, а от Него и помысла не скроешь! Царица-правительница и государством правит, а ты ею правишь, князь Василий. Молю Всесильного Творца, чтобы Он простил тебе твой грех за то, что ты нас от ее властолюбия оберегаешь... ее клеветам воли не даешь! А без тебя-то что будет?

– Как буду я в полку, так государыня позволила мне передать дела Посольского приказа сыну Алексею...

– Да я не о делах посольских! Ими и малолеток твой управит, при таком хорошем дядьке, как Емельян Украинцев... Ну а при ней-то, при самой-то кто тебя заменит?

Князь Василий молчал, потупившись.

– По душе скажу тебе, князь Василий, боюсь я твоего Шакловитого! Он человек опасный!.. Ему царица доверяет все свои затеи...

А у него в уме недоброе!..

– Я Федора Леонтьевича знаю, – сказал князь Василий, – и готов за него ручаться...

– Не ручайся, князь Василий! Я больше тебя живу на свете и больше видывал людей; и с этими хохлами я смолоду жывал в одних стенах, как был еще иноком в Межигорской обители. Хохла как ни выворачивай, все изнанка: до лица не доберешься... А сказывают мне, что Федор Шакловитый и по все дни по вечерам у Сеньки в Спасском монастыре бывает и будто Сенька (а это злой латинщик!) успел уже свести его с приятелями-то со своими...

– С какими приятелями?

– А со стрелецкими начальниками: с Никитой Гладким да со Стрижем, да с Черным, да с Цыклером... А разве ты не знаешь, что это за люди?.. Разве ты не видишь крови на их руках?

– Но дозволь же мне, владыко, замолвить слово в пользу Федора Леонтьевича. С тех пор как поручен ему Стрелецкий приказ – не он ли обуздал эту «надворную пехоту»? Не он ли первый сумел взять стрельцов в руки после

казни Хованского?

– Чего ж теперь-то ищет он в стрельцах? Зачем с ними якшается? Зачем поит и угощает их на своем загородном подворье под Девичьим?

– Не ведаю, святейший патриарх.

– Я потому и говорю с тобой, что ты не ведаешь, *а должен ведать!* И должен меры принять к тому, чтобы спасти нас от новой смуты... Помни, что никто другой, а ты ответишь Богу! Пока ты здесь еще, остереги царевну от замыслов. Ведь ты не Шакловитый! Нечего тебе искать – ты взыскан всем, и от Бога, и от великих государей! Останови царевну! Не к добру она идет!.. И наблюдай за этим. А я уже велел следить за Сенькой, и, если я увижу, что он мешается в мирские дела, я его по-своему уйму и приведу к смирению.

Тут патриарх постучал в пол своим посохом: явился ризничий Акинфий с образом Успения в прекрасной серебряной басменной ризе.

Патриарх поднялся со своего места, взял образ, благословил им князя Василия и, прикоснувшись краем иконы к его наклоненной

голове, сказал твердо:

– Не измени своему долгу и святой присяге! И да пошлет тебе Бог на враги победу и одоление! Акинфий, отправь икону к князю с нарочным.

Простившись с патриархом, князь Василий в глубоком раздумье шел из «малой» кельи и почти столкнулся с ключарем Иаковом, который, ничего кругом себя не видя, бегал назад и вперед по сеням и всем бормотал вполголоса:

– Господи, что же это будет? Успенский-то помню, что Воскресным звать! А Реут-то, Реут-то как? Просвети и настави, Господи!

XI

Беседа с патриархом сильно подействовала на князя Василия. Святейший никогда прежде не говорил с ним так искренно, не казался так прямо щекотливых вопросов современности, не высказывал так открыто своих желаний. Князь Василий несколько раз в течение последних лет имел случай убедиться в том, что Иоаким благоволил к нему, но ему представлялось весьма естественным, что этим благоволением патриарха он обязан главным образом своему высокому положению и обширной власти, сосредоточенной в руках Оберегателя. Тем более был он поражен, когда услышал от патриарха, что тот ценит в нем его личные качества и в зависимость от его личного влияния ставил внутреннее спокойствие государства... В пору сказанное слово пробило толстую кору эгоистических расчетов царедворца и запало в душу князя Василия – он с тревогою взглянул в ближайшее будущее и сам невольно задал себе вопрос о том, что может произойти в Москве во время его отсутствия? Он видел, что подан-

ный им совет пришелся по душе Софии и что она стремилась поскорее осуществить его на деле, спешила сравняться с братьями во власти и в значении; и не без страха замечал князь Василий, что Софья полагает достигнуть намеченной им цели не постепенным, медленным, но верным путем строго рассчитанных дипломатических ходов и уловок, а весьма опасным путем насильственного переворота, в помощь которому, на всякий случай, подготовлялось движение между стрельцами. А так как Софье было известно нерасположение князя Василия ко всем крутым и жестоким мерам, то она, по-видимому, представляла руководство в подготовке переворота человеку более решительному и менее разборчивому в средствах – Шакловитому. Но князь Василий хорошо знал Шакловитого: он понимал, что этот человек, глубоко преданный Софье и ею выдвинутый из ничтожества на важный пост думного дьяка, может быть пригоден только как деятель второстепенный, как надежный и точный исполнитель чужих предписаний... Князь Василий знал и то, что Шакловитому нельзя было доверить

важное государственное дело, его нельзя было поставить во главе известного движения, как человека неродовитого, случайно выдвинутого из низшего слоя общества, ни с кем не связанного никакими отношениями и притом мелочно-честолюбивого, заносчивого и некстати горячего. Еще с большим недоверием относился князь Василий к другу и советнику Шакловитого – Сильвестру Медведеву, который также основывал все свои упования на торжестве Софии и готов был ей содействовать во что бы то ни стало. Князь Василий знал, что действительно только через Сильвестра мог Шакловитый сблизиться со стрельцами, которых вооружил против себя крутыми мерами и чрезвычайно строгостью отношений к ним, когда после казни князей Хованских принял на себя управление Стрелецким приказом. Из слов патриарха князь Василий заметил, что отношения Сильвестра Медведева к стрельцам известны святейшему и, следовательно, легко могут обратить на себя внимание «преображенских приятелей» и даже вызвать с их стороны такой отпор, какого, конечно, не ожидала и не же-

лала Софья. Оберегатель при первом удобном случае решил переговорить с Шакловитым и предостеречь правительницу.

Дня два спустя после свидания с патриархом князь Василий зазвал к себе Шакловитого обедать и после стола, за чаркой доброго вина, спросил как будто бы случайно о Сильвестре Медведеве.

– Эх, князь Василий Васильевич, в пору ты о нем вспомнил! На Сильвестрия мне смотреть жалко: так его теснит и гнетет святейший. Теперь Лихудьям строит у него в обители каменные палаты под их школу, а Сильвестриеву школу собирается закрыть.

– Что ж так? Ведь, кажется, святейший благоволил к нему – недаром справщиком его поставил на Печатный двор.

– Да все наветы этих греков да споры с иноком Арсением...

– А не то ли вредит Сильвестрию, что он по-прежнему дружит со стрелецкими начальными людьми? – заметил Оберегатель, пристально вглядываясь в лицо Шакловитому.

– Не знаю, право... я что-то не слыхал об этом... Мне говорили, что между стрельцами

есть земляки Сильвестрия... Так, может, с ними?

– Не знаю, земляки ли? Мне называли даже его приятелей: Петров Обросим, да Куземка Чермный, да Никита Гладкий, да Цыклер... Все из тех, что в сто девяностом году на площадь выходили. И говоришь ты – земляки? Какой же Цыклер ему земляк? Ведь он же иноземец?..

– Ну, может быть, и кроме земляков, есть у него знакомцы...

– Вот то-то я и слышал, что у Сильвестрия между стрельцами есть и знакомцы, и приятели, что он и принимал их у себя в обители, и будто это именно святейшему не нравится. Ведь ты, Федор Леонтьевич, с Сильвестрием приятель и земляк, так ты бы предупредил, предостерег его...

Шакловитый, в свою очередь, пристально посмотрел на князя Василия, который понял значение его взгляда и продолжил:

– Сказать по правде, слышал я еще, будто и тебя отец Сильвестрий свел с этими людьми, и ты с ними тоже часто видишься и даже у себя их принимаешь и угощаешь?

Шакловитый сверкнул глазами, как лезвием ножа, и, стараясь улыбнуться, проговорил не без смущения:

– Людей послушай, так всего наскажут! Сильвестрий не сводил меня ни с Цыклером, ни с другими полковниками стрелецкими, а сам я с ними стал сходиться и чаще видеться... затем, что...

– Затем, что думаешь – не пригодятся ли они царевне? – спокойно добавил князь Василий.

Шакловитый нахмурил брови и, опустив глаза, проговорил нерешительно:

– А разве ты сам, князь Василий Васильевич, думаешь, что мы без них сумеем обойтись?

– Не только думаю, но твердо верю в то, что царевна утвердится на престоле не кровью, не насилием, а мудростью, как истинная *София*. Не забудь, что мы уже поднимали Землю на стрельцов и сбили им рога! Так разве же не сумеют и другие сделать то же?

Шакловитый отвечал сумрачным молчанием.

– И уж если пошло на правду, – продолжал

князь Василий, – так я тебе скажу, Федор Леонтьевич, что эти замыслы нужно бросить. Оставь, не шевели стрельцов – не поднимай их! Против этой силы найдутся силы еще и не такие... Надо всех заставить верить, что никто, кроме царевны, не управится с Землею, не снесет всей тяготы правления, не сумеет всех примирить и успокоить и оградить от всяких зол и внутри и вне, а потому и следует ей братьям соцарствовать. Пусть каждый получит равное участие в правлении – София все же будет преобладать и, правя за себя и за царя Ивана, не даст воли царю Петру и всем, кто за его спиною хоронится. А тогда, конечно, и бояре, и патриарх – все будут за нее... И только этим мирным путем мы можем дело довести благополучно до цели. А прежними путями теперь уж не дойдешь, Федор Леонтьевич! И я прошу тебя и заклинаю оставить всякий помысел об этом: дай мне слово, что ничего не предпримешь до возвращения моего, что ничего не сделаешь, не совещавшись со мной!

– Помилуй, князь! Да что же я смею делать без тебя? И помыслов не может быть... Я толь-

ко думал, что не мешает заручиться на всякий случай...

– Заручиться можешь. Но поднимать, мутить стрельцов не думай. Знай, что в этом я был бы первый враг тебе, Федор Леонтьевич! И мудрено ли силой взять? Нет, ты умом возьми! Сумей перехитрить врага, сумей заставить в тебе нуждаться!

– Хорошо бы, князь, кабы и всех врагов можно было умом одолеть, – лукаво заметил Шакловитый. – Да ты и сам, чай, разумеешь, что не со всеми так легко поладить?

– Пусть так! Но не спеши хвататься за нож: все дело можешь загубить. Дай справиться с татарами... А как вернемся мы с победой, как будет в наших руках вся сила воинская и все начальные люди из рук царевны будут ожидать наград и милостей, – тогда как раз настанет время завести речь и о венчании царевны. Так ли?

– Конечно, так, князь Василий Васильевич. И как ты порешил, пусть так и будет! Гряди в славу Божию на общего врага. Дозволь мне осушить чару во здравие твое и пожелать тебе счастливого пути и беспрепятственного

возвращения в Москву!

И он, поднявшись с места с кубком в руках, поклонился князю Василию и, разом осушив свой кубок, поставил его на стол.

Как раз в это время вошел в палату Кириллыч и с низким поклоном подал князю письмо, запечатанное маленькою черною печатью, слишком хорошо ему знакомою. Князь быстро вскрыл письмо и, пробежав его глазами, спросил Кириллыча:

– А кто принес письмо?

– Старик какой-то.

– Пусть обождет; я скоро позову его. Он будет мне нужен.

Кириллыч направился к дверям, чтобы исполнить приказание князя, а Шакловитый взялся за шапку и стал откланиваться. Князь не удерживал его, и только что остался один, как снова развернул письмо и стал его внимательно читать, вдумываясь в каждое слово. Царевна известным ему крюком писала следующее: «Свет мой, братец Васенька! Как к тебе сия моя грамотка дойдет, прикажи послать к себе того посыльщика, который ту грамотку подаст. Буде ты свою судьбу знать хочешь, он

тебе ее как по книге расскажет. По сем, здравствуй, мой свет, на веки неисчетные».

Перечитавши письмо, князь приказал позвать к себе подателя его.

Через несколько минут Кириллыч ввел в палату какого-то старца в темной свитке, который, переступив порог, отвесил низкий поклон и молча стал у дверей. Князь Василий сделал Кириллычу знак рукою, и тот, выйдя из комнаты, припер за собою дверь.

Тогда Оберегатель взглянул на старца и с удивлением заметил, что тот смело и пристально смотрит на него своими большими темными очами. И князю Василию вдруг стало жутко от этого сильного, острого, прямо на него направленного взгляда. Чтобы не выказать этого неприятного чувства, князь поднялся со своего места и прошелся взад и вперед по палате. Но даже и в то время, когда он поворачивался к старику спиною, он ощущал на себе тот же взгляд, испытывал ту же обаятельную его силу.

— Кто ты? — спросил наконец князь Василий, быстро обернувшись и подходя к старику.

– От благоверной государыни царевны прислан к твоей милости. Зовут меня Митькой Силиным, а кормлюсь я от знахарского мастерства.

– От болезней лечишь – наговором или травами какими?

– И травами, и всяко лечим. Как придется.

– И гадать умеешь?

– И гадаем – и на бобах, и на воде, и по ладони смотрим, кому что суждено...

– Ну, посмотри мне на ладонь, скажи, что ты увидишь?

Старик положил белую, красивую, выхоленную руку князя на свою корявую и морщинистую руку, внимательно всмотрелся в линии его ладони, потом насупил брови, соображая что-то про себя, и сказал:

– Многолетен ты будешь, князь... доживешь до глубокой старости, а много горя увидишь – жизнь твоя беспокойная будет. Вот одна напасть, а вот другая... – продолжал старик, указывая пальцем на пересечения и скрещивания побочных линий ладони с главной линией жизни. – И до конца жизни в любви и согласии с женою проживешь. Ви-

дишь, как эти рытвины сошлись да сойдясь-то протянулись.

Князь Василий недоверчиво взглянул на колдуна и подумал про себя: «Много ты знаешь, старый плут!»

Старик понял значение взгляда, брошенного Оберегателем, и как бы в ответ на этот взгляд проговорил сквозь зубы:

– Теперь-то, может, ты и чужбинку любишь, боярин; ну а ведь сам, чай, знаешь поговорку: «К костям мясо слаще, под старость – жена милее».

– Ну а еще что скажешь? – перебил его князь Василий, стараясь скрыть впечатление, произведенное на него неожиданным замечанием Митьки.

– По ладони я тебе больше ничего не могу сказать; а если правду-то молвить, так я о тебе и многое знаю, да говорить не смею.

– Говори все, что знаешь. Не бойся – я тебе приказываю.

– Приказываешь? – лукаво прищурившись, переспросил старик. – Нам приказывать никто не волен. Царевна посильнее тебя будет, а и та меня просит да жалуется! Так вот, коли я

сказал тебе, князь-батюшка что говорить не смею, так не из боязни перед твоею силою и властью, а потому, что огорчить тебя не хочется.

– Огорчить?! Уж ты, смотри, не очень ли высоко нос дерешь! Немало я видал на своем веку, как вашего брата батожем бьют да в срубах на Болоте сожигают.

– Это точно, князь! Нас и пытатель, и жечь можно; ну а силы-то нашей ни пыткой, ни огнем перевести нельзя. И сила наша немалая: за многие версты по ветру мы и порчу посылаем, и присухи наводим, и душою мутим... Сам небось изволил пробовать, каковы коренья-то бывают, которые для прилюбления в яства кладут? Хе, хе, хе!

– Что ты бредишь такое – кто тебе наболтал об этих кореньях? С чего ты взял?.. – быстро отозвался князь Василий, невольно меняясь в лице и стараясь казаться спокойным.

– Никто ничего не наболтал мне, я это сам узнал, князь! – многозначительно отвечал старик. – И ты не гневайся и не стражай меня, коли я что и не так скажу. Не ко вреду тебе, а к твоей же пользе я о тебе гадал, по приказу

государыни-царевны. И не нашею силою прознал я то, что с тобою сбудется. Что знаю, то и скажу без утайки, без обману!

– Да говори же скорее, что ты знаешь, – и вот на тебе – язык позолотить! – нетерпеливо проговорил князь Василий, суя в руку колдуну три золотых.

– Много доволен твоею милостью и твоим жалованьем. А будешь ли ты моим сказом доволен, князь, – того не ведаю.

– Ну скорее к делу!

– Старец Сильвестрий, что в Спасском монастыре живет, умеет как-то по звездам смотреть и сказывал мне, что смотрел, и будто по звездам выходит, что быть в Москве кровопролитию великому... Не поверил я ему и сам влезал на Ивановскую колокольню с Андрюшкою Бурмистровым, стрелецким головою, и в солнце смотрел – и точно видел, что все вы по колено в крови ходите... и ты, и царевна... И оба вы ликом темны – и ты, и царевна, а цари сидят светлы и радошны, и венцы на головах у них как жар горят.

Князь Василий, слушая эти странные речи, опять почувствовал себя под обаянием взгля-

да старого колдуна и невольно вздрогнул.

– И думается мне, – продолжал старик, понижая голос, – что не будет *вам* удачи в *вашем* деле и что цари вас одолеют и будет после того кровавое смущение, какого еще на Московском государстве прежь сего не бывало... Гадал я и насчет похода твоего, князь, и выходит...

– Ну, ну, что́ выходит...

– Выходит, что тебе и тут не будет удачи. И мой совет: тебе бы не ходить...

– Что выдумал еще! Небось не страшно!

– На то есть твоя воля, боярин, а я что знаю, то и баю. Тебе здесь нужно быть! Пока ты там с врагами будешь биться, тут на твое место много найдется охотников и *корешков* поищут посильнее...

– Опять ты путаешь о каких-то корешках, – сердито перебил его князь Василий.

– Что делать? Сердце женское и прилюбчиво, и изменчиво... С глаз долой и из сердца вон! Не ходи в поход – другого за себя пошли! Пойдешь, много нужды примешь, а беды не избудешь.

Князь Василий слушал, нахмурившись и

нетерпеливо крутя ус. Когда колдун замолчал, он спросил его:

– Все ли ты сказал? Не укрыл ли чего?

– Нет, князь! Ничего не укрыл; сказал тебе то, чего ни царевне не сказывал, ни старцу Сильвестрию. Знаю, что не угодил тебе моим гаданием: дурное никому не любо! Вот и Федор Леонтьевич тоже набросился на меня, как я ему сказал, что видел его в солнце без головы. А чем я виноват: по моему гаданью выходит, что не сносить ему буйной головушки на плечах. Хе, хе, хе!

Князя Василия покоробил этот лукавый и противный смех. Он поспешил спровадить колдуна, сунув ему несколько золотых в руку и молча указав ему на двери.

Старик поклонился князю и уже повернулся было к дверям, но приостановился на пороге и, оглянувшись на князя Василия, сказал:

– Чуть было не запомнил еще одно сказать тебе, князь! Берегись сентемврия месяца – и ничего в сентемврии не начинай. Прощенья просим...

И, сверкнув в полутьме сумерек своими большими темными глазами, старик поспеш-

но перешагнул через порог и скрылся за дверью, оставив князя Василия в тревожном раздумье и странном недоумении. Многие в речах колдуна его поразило, многое показалось непонятным, и многое заставило его невольно содрогнуться при одной мысли о том, что предсказанное возможно, исполнимо, осуществимо!.. Настоящее было так светло и величаво, так полно всяких земных благ и соблазнов, что самая мысль о возможности каких-то неудач, утрат и бедствий в будущем уже смущала и бесила князя Василия.

– Нет! Быть не может! Врет старый колдун... С Божьей помощью одолеем врагов внешних, а там уже померяемся и со здешними...

А между тем сердце его ныло и билось тревожно...

XII

В течение всей осени и большей части зимы в Москве велись самые деятельные приготовления к предстоящему походу. Наибольшая часть работы выпадала на долю того из Приказов, который в Московском государстве именовался *Разрядом* и ведал всех служилых людей. В Разряде велись им списки, по особым разборным описям, ежегодно присылаемые от городских воевод и из других Приказов, ведавших отдельными частями войска. И вот в течение нескольких месяцев сряду день и ночь неутомимо скрипели перья дьяков и подьячих Разряда, изготавливая десятки тысяч столбцов, и в них подробно обозначали имена и прозвища тех ратных людей, которые должны были явиться не позже марта месяца на службу в Большой полк к князю Василию Васильевичу Голицыну или в другие полки, под начальство бояр: Шеина, князя Долгорукова и окольного Неплюева. Из Москвы то и дело скакали гонцы в Украину к гетману Самойловичу, побуждая его спешить с приготовлениями к походу и сбором запасов и все-

го воинского снаряда в определенные пункты. К украинским городам со всех концов России тянулись длинные вереницы служилых людей, в самых разнообразных одеждах и доспехах, с самым разнородным вооружением. Богатые помещики-дворяне двигались по дорогам большими поездами, окруженные многочисленную конной свитой, с запасными поводными конями, с целым обозом повозок, нагруженных запасом: бедные ехали сам-друг либо сам-третий на дрянных клячонках, плохо вооруженные, с двумя-тремя слугами, которые шлепали по снегу и грязи пешком около какой-нибудь тележки с рогожным покрытием, на которой сложена была вся их рухлядишка. Многие из таких голяков, вынуждаемые к выступлению в поход особыми «выбойщиками», пускались в дорогу без всяких средств и запасов и, соединяясь партиями человек в тридцать и более, шли по дорогам, питаясь чем Бог пошлет, не брезгуя и возможностью стянуть что плохо лежало, добывая себе пропитание то силою, то хитростью, а иногда прибегая даже к открытому грабежу и разбою. Но, как бы то ни было, хоть и медлен-

но и не совсем стройно и ладно, однако же вся эта масса людей стекалась постепенно к указанным пунктам и во всей русской земле было заметно то усиленное брожение и движение, которое всегда предшествовало всякой войне. Наконец в половине февраля вся канцелярская работа в Москве была окончена, все распоряжения сделаны и все меры приняты: требовалось присутствие главного воеводы на месте для окончательного устройства рати и последних приготовлений к войне. И вот на 22 февраля 1687 года назначено было торжественное выступление воевод из Москвы и проводы тех святынь, которые должны были сопровождать их в поход против неверных.

Уже задолго до назначенного срока на Большом дворе князя Василия Голицына шли деятельные приготовления к походу, но в последнюю неделю, перед выступлением князя из Москвы, двор его обширных палат обратился в настоящий воинский табор. Из оружейной палаты к мастерским палатам и обратно то и дело таскали охапками всякое оружие: шеломы, ерихонки с мисюрками, доспе-

хи дощатые и кольчужные, конскую сбрую и седла. С утра и до ночи над всем этим запасом работали кузнецы и оружейники, седельщики и шорники. Стук кузнечных молотов и лязг стали, оттачиваемой на колесе, не прекращались и нередко сливались с залпами выстрелов, раздававшихся на заднем дворе, где пробовали и пристреливали пищали и мушкеты. Весь двор был заставлен повозками, и крытыми, и открытыми, на которые укладывались шатры и наметы, съестные припасы, сундуки с казною и посудой, коробы с платьем и всякою домашнею рухлядью. Лошадей, назначенных в поход под князя и его многочисленную свиту, то проезжали, то подковывали, внимательно осматривая, то пробовали и под седлом, и в упряжи. В людской палате тоже происходила суета страшная: все отъезжавшие с князем на службу пригоняли доспехи, примеряли походное платье, упражнялись в умении владеть оружием и управлять конем. Накануне выступления вся эта суетня прекратилась, весь этот шум, стук и гомон стихли: все было готово, словно замерло в ожидании завтрашнего многозна-

менательного дня.

Вечер накануне выступления князь Василий провел на своем подворье под Деви́чьим монастырем, а возвратясь домой, призвал к себе сына Алексея и долго беседовал с ним, запершись в своей шатровой палате. В четыре часа утра, на другой день, князь Василий был уже на ногах и поспешно одевался в богатейший золотный кафтан с изумрудными застежками; он спешил во дворец к обычному раннему выходу, за которым должно было следовать «боярское сиденье», назначенное в Грановитой палате, а затем – торжественное богослужение, раздача знамен воеводам и проводы святынь в поход.

Когда князь Василий вступил в *комнату* царевны Софии, она сидела за столом с пером в руке и перечитывала небольшой лоскуток бумаги, четко исписанный ее почерком. С первого же взгляда князь заметил, что София сильно взволнована: ее глаза были заплаканы, а по лицу было заметно, что она провела бессонную и тревожную ночь. Поздоровавшись с Оберегателем, царевна взяла со стола лоскуток бумаги и сказала:

– Вот тебе, князь Василий, на память от меня вирши, что вчера мною были написаны к гербу твоему. Не осуди – пишу как умею...

И она прочла вслух следующее восьмистишие:

*Камо бежиши, воин избранный[7],
Многажды славне честию венчан-
ный!
Трудов сицевых и воинской брани,
Вечной ты славы дотекши, пре-
стани,
Не ты, но образ князя преславно-
го,
Во всяких странах zde начертан-
ного,
Отныне будешь славно сияти,
Честь Голицынов везде прославля-
ти.*

Прочитав свои вирши, Софья подала их князю Василию, который, приняв их из рук царевны, низко ей поклонился, почтительно приложил к устам ее рукописание и, бережно его сложив, спрятал на груди своей.

– Тяжко мне с тобою расставаться, князь Василий, – проговорила после некоторого молчания царевна Софья. – Я привыкла тебе

доверять и видеть в тебе надежную опору... Теперь я остаюсь одна без советника, без главного думца моего среди неистовых врагов и зложелателей!

И она печально опустила голову на руки.

– Да хранит тебя Бог, государыня, от злых наветов со стороны врагов и от излишнего усердия твоих *верных слуг!* – сказал князь Василий с особенным ударением на последних словах.

– Буду помнить твои советы, князь Василий, и не дам воли Федору Леонтьевичу... Он мне предан всею душою – я это знаю, – но он слишком скор и горяч...

– Твое дело, государыня, как утлое судно в пучине морской, можно вести только медленно и с великою осторожностью. Спехом все благие начинания испортить можно. И я молю тебя, государыня, не предпринимать до моего возврата никаких решительных действий и ни Сильвестрию Медведеву, ни Федору Шакловитому не позволять никаких нападок против патриарха или против твоих «Преображенских супротивников».

– Так что же, по-твоему? Я все от них тер-

петь должна?

– Государыня, сила на твоей стороне, и терпеть тебе от них не придется. Но не придавай веры изветам – не слушай тех слов, что переносят сюда из Преображенского постельницы Сенюкова да Нелидова... От слова не станется!..

– Ну есть и слова такие, что стоят дела! – произнесла Софья многозначительно. – Но я тебе обещаю, что, пока ты там на службе будешь, я без тебя ни на что не решусь! Проси мне у Бога терпения и обуздания: уж больно люта против меня мачеха! И дал бы мне Бог поскорее тебя увидеть, тебя дожидаться...

Слезы навернулись у ней на глаза и отозвались в ее голосе... Но она быстро совладала с собою и, поднявшись со своего места, сказала:

– Пора собираться в Думу! Мы должны расстаться, – ступай с Богом, князь Василий, и возвращайся к нам с победою.

Не далее как полчаса спустя после этой беседы великие государи, в золотых опашнях, с жемчужной нашивкой, осыпанной камнями, в шапках меньшего наряда вступали в

Грановитую палату, в торжественное заседание Боярской думы, и садились на свой двойной, сребропозлащенный трон. Рядом с ними, на особом раззолоченном кресле, заняла место София, «сия великого ума и тонких проницательств исполненная дева». На царевне была великолепная ферязь из серебряной обьяри с золотыми разводами, с листьями и травами разных шелков, головным убором ей служил высокий столбунец из той же материи, покрытый частой жемчужной сеткой. Белила и румяна скрыли на лице ее следы внутренней тревоги и недавних слез, и она твердо и мужественно в цветистой речи, обращенной к собранию, заявила от лица великих государей о намерении вести упорную борьбу с крымским ханом.

– Нигде, – говорила Софья, – ни в какой стране злочестивые бусурмане не берут в полон столько народа, как в нашем царстве, православных христиан продают, как скот, в неволю, храмы Божии разрушают, святую веру поносят, а проклятого и богомерзкого лжепророка Маамефа величают своим заступником и помощником... Стыдят и укоряют нас

соседние государи, – говорила далее царевна, – что мы, имея многочисленное войско, ежегодно платим бусурманам дань, чего ни одно царство не делает, а между тем, несмотря на дань, несмотря на многократные договоры и клятвы, крымский хан продолжает разорять нашу страну по-прежнему. И вот великие государи, испрося у Бога помощи, решились послать на Крым бояр и воевод с полками...

Окончив речь, София поднялась со своего места одновременно с государями-братьями и пригласила всех следовать за собою в собор для присутствования при торжественном служении напутственного молебна отправлявшимся в поход воеводам. Обычным порядком двинулось длинное и блестящее шествие из Грановитой палаты по Красной лестнице к Успенскому собору. На рундуке той лестницы стряпчие приняли от государей их шапки с крестами и каменьями и подали им шубы и горлатные шапки, и шествие двинулось дальше. Впереди шли стольники и стряпчие, дворяне, дьяки и гости, в «золотах» и в шапках горлатных, а следом за великими государями и царевной шли назначенные в поход воево-

ды и ближние бояре и окольные.

Когда шествие вступило в собор, загудели колокола на Ивановской колокольне, раздалось громкое и стройное пение патриаршего хора певчих, и начался долгий напутственный молебен. И между тем как в церкви шло торжественное богослужение, после которого патриарх, посоветовавшись с царевной Софией, говорил обращенное к воеводам напутственное слово, стрелецкие головы и полуговы расставляли стрельцов с ружьем и жильцов с протазанами в два ряда по сторонам мостков, проложенных от южных дверей собора к Никольским воротам и устланных цветными немецкими сукнами. Но вот наконец снова загудели колокола, в громадной толпе собравшегося в Кремле народа пронесся говор: «Идут! идут!» – и от собора двинулось шествие с хоругвями, крестами и иконами, с певчими дьяками и духовенством во главе. День был теплый, ясный – чуть что не оттепель, февральское солнце освещало своими мягкими лучами разнообразную и величавую картину этой массы медленно двигавшихся людей в дорогих одеждах, в митрах,

усыпанных камнями, – эту толпу царедворцев, залитую золотом и серебром, безмолвно шествовавшую за государями... Народ видел, как государи и царевна остановились в конце мостков, как они прикладывались к святым иконам, отправляемым в поход с воеводами, как потом жаловали к руке Оберегателя и других его товарищей, как принимали от окольного знамени и передавали их воеводам и как, наконец, сели в нарядные сани и теми же воротами вернулись в Теремной дворец, между тем как шествие с иконами и знаменами двинулось далее к Большому двору князя Василия Васильевича Голицына. Туда же хлынула и вся толпа народа из Кремля – посмотреть, как духовенство дворовой церкви Оберегателя будет встречать святыни, как хозяин будет угощать в своих палатах «пестрые власти» и как, проводив его, совершит торжественный выезд в поход со всею своею блестящею свитой и челядью. Многие в толпе утверждали даже, будто Оберегатель и народ выкатит на прощание несколько бочек пива меду из своего погреба.

Часа три спустя после описанной нами сцены царь Петр Алексеевич с братом Иваном Алексеевичем и с князем Борисом Голицыным стояли на переходах, соединявших один из флигелей Теремного дворца с главным зданием. С переходов открывался вид на Кремль, с его древними соборами, зубчатыми стенами и причудливыми башнями, и на часть Замоскворечья, освещенного красноватыми лучами солнца, склонявшегося к западу. Государи стояли на переходах не даром: им хотелось посмотреть, как будет проезжать через Кремль князь Василий Васильевич со своею свитою. Особенно нетерпеливо ожидал этого зрелища царь Иван – страстный охотник до лошадей, много наслышавшийся о чудесных конях Оберегателя. Опершись обеими руками о подоконник, он пристально вперял взор в те ворота, из которых должен был показаться главный воевода со своею свитою, и не обращал ни малейшего внимания на отрывки из курантов, которые князь Борис вслух читал царю Петру Алексеевичу.

«Салтану Турскому, – читал князь, – в Анринополе пришла ведомость, что ассирияне,

Месопотамия и Вавилония учинились непослушны, не хотят идти на войну и на будущий подъем не чают людей, токмо из Палестины, которые годнейшие суть ко грабежу, нежели к войне...» «В Италии же, видится, никогда без войны не будет, потому что посол папин у короля французского ничего не получил, а король французский хочет удовольствования...»

– А знаешь ли ты, князь Борис, – вдруг перебил царь Петр, быстро оборачиваясь к своему воспитателю, – знаешь ли ты, что вчера обещал мне князь Яков Федорович, как приходил ко мне откланиваться перед отъездом во Францию?

– Не ведаю, государь, меня при той беседе не было.

– Он обещал мне вывезти оттуда такой струмент, которым можно мерить землю и, не сходя с места – вот хоть бы отсюда, – сказать без ошибки, сколько до той башни будет сажень? Ведь любопытно...

– Оно, конечно, любопытно... Да только, государь, не перепутал ли чего князь Долгорукий?

– Нет, нет! Он говорил мне, что был у него этот струмент и что зовется он астрелябией, – да кто-то у него украл... Так я просил его, чтобы непременно мне такой же точно из Франции привез...

– Едут! едут! Вот они! Вон!.. И впереди-то все на караковых... – засуетился царь Иван, теребя за рукава то брата, то князя Бориса.

Действительно, из-за угла соборной колокольни на площадь выезжали передовые ряды свиты князя Голицына, человек пятьдесят его слуг в мисюрках с бармицами и в легких кизылбашских пансырях с наручами, с саблями на боку и саадаками за седлом. Вслед за ними ехал сам Оберегатель, в желобчатом немецком шеломе и в таких же латах, с булавою в руке. Чудный серый в яблоках конь величаво выступал под увесистым всадником, круто собрав шею, раздувая кровавые ноздри и потряхивая серебряными гремющими цепями великолепной сбруи. За князем ехали два человека с его копьём и рогатиной и Куземка Крылов в малиновом бархатном чекмене, с другою булавою. Далее вели четырех вороных коней, оседланных богатыми черкесскими

седлами, с золоченой оправой, с пестро расшитыми чепраками, с уздечками, усаженными бирюзой и кораллами; за ними – еще четырех серых коней, под богатыми бархатными попонами, и гнедого иноходца, покрытого персидским ковром с длинными кистями. За конями ехали литаврщики и трубачи; за ними две парадные расписные кареты князя, запряженные шестериками, а в каретах сидели священники и держали на коленях святые иконы, отправляемые в поход из Москвы. За каретами ехали иноземские начальные люди, а за ними бодро выступал отряд рейтар, с длинными копьями. Шествие заключалось другим отрядом княжеских слуг, в пансырях, с копьями в руках и с мушкетами за спиной, на крепких и бойких гнедых конях. Впереди этого отряда ехали песенники; запевало – ражий русоволосый детина, ловко потряхивал бубном и вытягивал начальные слова песни, оборачиваясь к хору, который лихо подхватывал и вторил запевале. Покрывая и топот коней, и звяканье оружия, на самые переходы до слуха государей явственно долетали слова песни:

*Ах, кого бы мне нанять, за сударушкой послать.
Коли старого нанять, греха на душу принять:
До ней старь не дойдет – во дорожке пропадет.
Коли малого нанять – мал не знает что сказать,
Коли ровнюшку нанять – ровня любит сам гулять...
Уж как знать-то молодцу подниматься самому,
Подниматься самому, по сударушку свою...*

Когда последний всадник скрылся за углом и потянулся один бесконечный княжеский обоз, царь Иван развел руками и сказал:

– Вот так кони! Таких и у меня на конюшне нет! Пойти было рассказать сестрицам, как князь Василий в поход поехал.

И он направился к царевнам.

Петр и не слышал того, что говорил брат. Прислонившись лбом к узорному переплету окна, он все еще смотрел на опустевшую площадь и ничего перед собою не видел: мысли его были где-то далеко, далеко... Князь Борис

проник в его думы и, слегка прикоснувшись к плечу, сказал:

– О чем, государь Петр Алексеевич, задуматься изволил?

Петр поглядел на него пламенными глазами и, как бы очнувшись от дум, произнес медленно:

– Ах, кабы воля моя была!..

– Не тужи, государь! Возьми терпенья на час – не далеко и до твоей воли. Скоро ты и сам станешь водить войска к победам!..

Петр стремительно бросился на шею к князю Борису и крепко сжал его в объятиях.

XIII

В самом начале мая 1687 года в один из тех чудных и теплых вечеров, когда так легко живется и дышится, когда все цветет и благоухает, когда воздух наполнен ароматом черемухи и первых весенних цветов, а соловьи заливаются своими звонкими песнями в густых, старых московских рощах, два всадника, в немецком платье и в шляпах с широкими полями, ехали из Немецкой слободы по дальним улицам и закоулкам в Белокаменной, направляясь к Девичьему монастырю. В одном из них нетрудно было узнать нашего старого знакомца дохтура Шмита; другой, также иезуит, по-видимому, недавно прибывший в Москву, был молодой и очень красивый брюнет, с правильными чертами лица, покрытого матовою бледностью. Разговор между обоими иезуитами происходил по-французски (на языке, тогда мало известном в Москве) и, судя по оживленной мимике собеседников, был очень занимателен и весел.

– Да, достопочтеннейший отец Товия, – говорил Шмит, обращаясь к своему собеседнику.

ку, – я могу сказать, что честь этой победы над тупым упрямством москвитов принадлежит всецело мне одному...

– Мне это тем более приятно слышать, – отозвался собеседник Шмита, – что отец Бартоломей, приехав в Вену и явившись к нунцию, напротив, все приписывал себе.

– Отец Бартоломей! Помилуй, да он здесь только и занимался, что любовными делами!.. Могу тебя уверить, он до сих пор даже и не знает, как удалось мне добыть разрешение на твой приезд в Московию! А между тем тут была пущена в ход такая плутня, которая если и удалась, то разве только потому, что я на нее решился во славу Божию и ради приращения могущества нашего ордена...

– Забавен ты со своими понятиями о славе Божией! Но в чем же была плутня-то? Ты не сказал мне...

– О! Единственная в своем роде! И не забудь, удалась по отношению к двум таким тонким лисицам, как князь Василий и его правая рука, секретарь Украинцев (а такой умной бестии и между венскими дипломатами не сыщешь!). Им, видишь ли, удалось так

утомить и опутать нашего безмозглого Огинского и крикуна Гримультовского, что те увидели себя вынужденными подписать самый глупый договор, какой когда-либо мог прийти в голову полякам. Все выгоды упустили из виду и половину своих владений из рук в руки московитам отдали!.. Недаром старый король Ян, говорят, плакал, когда его подписывал!.. И вот на этом-то глупом договоре я и сумел основать наше благополучие.

– Как так? Я этого уж совсем понять не могу!

– Еще бы, достопочтеннейший отец Товия, и не поймешь, пока я тебе не объясню моей проделки; отец Бартоломей едва ли сумел бы тебе это объяснить?.. Перед самым подписанием своего глупого трактата поляки вздумали испугать московских бояр и очень крупно поговорили с ними – даже сделали вид, что готовы прервать переговоры. И как раз в этот же день прискакал к ним гонец от короля Яна с приказанием кончать поскорее, немедленно, во что бы то ни стало!.. А надо тебе сказать, что я знал немного положение дел при здешнем дворе – фавориту царевны Софьи

было необходимо поскорее заключить выгодный мир с поляками, чтобы прославить мудрость правительницы и доказать свою опытность в делах! Он даже настолько опасался разрыва, что присылал за мною, посоветоваться... Я хотел было заставить Огинского и Гримультовского повременить, замедлить переговоры, но они оба потеряли голову и так одурели от двухмесячного пребывания в Москве, что не захотели слушать моих советов. Тогда я упросил Огинского, чтобы по крайней мере он дозволил мне самому отвезти к князю Голицыну его канцлерское письмо о возобновлении переговоров... Получил его письмо и печать! Но, прежде чем поехать к князю, заехал к Гваксанию, и там в нашей тайной каморке подделал другое письмо, будто бы написанное Огинским к князю Василию о том, что он считает переговоры прерванными и просит об отпуске послов. Ну а ты знаешь, отец Товия, как превосходно я умею подделывать почерки? Могу сказать, что подпись Огинского под этим фальшивым письмом была в своем роде чудом искусства! Ха, ха, ха!

– Ну, ну, что же далее?

– Вот и являюсь к московскому канцлеру и говорю ему – так и так: привез к вам на всякий случай два письма от Огинского. Если вы согласны дать некоторые льготы иезуитам, то имею передать вам одно письмо; а не согласитесь – то другое. Извольте, мол, видеть: оба подписаны! Стоит только печать приложить! И что бы ты думал? Поймал его на этом фокусе и добился того, что он подписал известное тебе письмо к нунцию... Хотя он и очень умен и тонок! Недурна ведь штука – не правда ли?

– Достойна тебя, *reverendissimus*[8]!

– Да ведь это еще не все! Я этим письмом, собственно говоря, убил двух зайцев. Московский канцлер поступил очень неосторожно, подписав акт, противный всем религиозным законам и понятиям своей страны. Если узнают об этом патриарх или цари, то ему придется потерпеть не на шутку – и я это буду иметь в виду. Покамест он мне нужен, и я только воспользуюсь его влиянием против наших врагов – лютеран и кальвинистов... Не следует вообще нам упускать из виду, что мы должны оказывать всякую поддержку партии

царевны Софьи и сколько возможно питать раздор и смуту между нею и партией царя Петра. Divide et impera[9], отец Товия! Эти раздоры могут, я полагаю, кончиться такою же кровавою развязкой, как и в тысяча шестьсот восемьдесят втором году... Пускай ссорятся! Кто бы ни победил, мы, во всяком случае, постараемся извлечь себе пользу из победы.

– Но кто же этот генерал Теодор, к которому ты меня везешь теперь в качестве гавера?

– Это Теодор Шакловитый, секретарь царевны, он же и начальник стрельцов... Человек горячий, недалекий, без всякого характера и выдержки! Стоит только задеть его за живое – и он способен сделать величайшую глупость! Таких людей я очень люблю и всегда готов для них на всякую услугу... Надо тебе сказать по секрету, что он влюблен в царевну и воображает себе, будто может со временем попасть на место Голицына. Но эти его desiderata[10], конечно, никогда не сбудутся: царевна видит в нем не более как верного слугу, который очень пригоден для черной работы; никак не более. Пока здесь нет Голи-

цына – этому Теодору полная воля действовать по его уразумению, и вот он, кажется, замышляет нечто вроде заговора... и преглупого! Надо, впрочем, надеяться, что из этого ничего не выйдет, потому что канцлер скоро вернется и положит конец всем его затеям. Но вот мы и доехали... Вот его дом.

Загородный дом Федора Леонтьевича расположен был под Девичьим монастырем, недалеко от загородного двора князя Василия, и представлял собою довольно обширное владение, состоявшее из больших деревянных хором в два жилья, с трех сторон окруженных густым старинным и запущенным садом и огородом, спускавшимся по кособоку к Москве-реке; четвертою, лицевую, своей стороной дом выходил на обширный двор, огражденный высоким забором и обстроенный службами и людскими избами. Положение этого загородного двора, примыкавшего к пустынному Девичьему полю и к обширным огородам соседнего монастыря, а с остальных сторон почти всюду огибаемого речкою, было чрезвычайно благоприятно для тех многочисленных сборищ, которые устраивал у себя

Шакловитый, то созывавший сюда выборных людей от разных сословий, то принимавший к себе стрелецких начальников для тайных совещаний о государском деле, то удалявшийся сюда для шумных попоек в кружке своих ближайших друзей и приятелей из числа подьячих различных приказов или из слуг царевны Софьи и царя Ивана Алексеевича. Сюда-то и являлся Федор Леонтьевич каждый вечер и оставался здесь до поздней ночи, а иногда и до раннего утра, если обязанности придворной службы не требовали его присутствия во дворце при утреннем приеме. Само собою разумеется, что сюда же собирались каждый вечер во множестве все лица, имевшие нужды в Федоре Леонтьевиче или заискивавшие милостей думного дьяка, который в отсутствие князя Василия сумел забрать всю исполнительную власть в свои руки и пользовался весьма большим значением при дворе царевны Софьи.

В то время как достопочтенные отцы-иезуиты подъезжали к двору Шакловитого, привязывали своих коней к коновязи у ворот и пробирались к хоромам среди толпы разного

люда, сам хозяин дома сидел со своим приятелем Сильвестрием в моленной и «сокровенно от зрения людского» совещался с ним о каком-то, по-видимому, немаловажном деле. На столе перед собеседниками разложен был гравированный лист, который они внимательно рассматривали во всех его подробностях, обсуждая каждую из них последовательно и до мелочей.

– Вот это и есть тот самый лист, который с доски Ивана Перекреста напечатан, – говорил Сильвестру Федор Леонтьевич, указывая на гравюру.

– Напечатано неважно... Да где же ты его велел напечатать?

– Вестимо, не у вас на печатном дворе! Здесь у меня есть тайная каморка такая в саду, за банею... Так вот в ней и печатают... Недели две как там над этим делом работают два черкашенина, которых Перекрест сыскал в Чернигове по моему приказу. Сначала-то он начал было у себя в Ахтырке с этой доски печатать, да дело не клеилось... Он доску-то прислал с черкасами сюда, ко мне... и здесь пойдет у них на лад. Так вот уж дохтур-немец,

что князю Василию помог поляков облапошить, – тот обещал прислать мне мастера-печатника из иноземцев...

– Да что, Федор Леонтьевич, как посмотрю я. Не ладно как-то этот лист назnamenован...

– Ну что еще? – сердито спросил Шакловитый. – Чем он тебе не нравен?

– Да как же, сам посуди! Наверху тут вырезан Отец и Сын и Святой Дух, а ниже того персоны великих государей, как бы к стороне отставлены, а на главном месте государыня благоверная царевна София Алексеевна, и на одну ее персону наливаются семь даров Духа Святого...

– Так и подобает! А по-твоему-то как же?

– Не подобает так-то, Федор Леонтьевич! Надо бы их царские величества в единый ряд назnamenовать, яко соцарственных и равнодержавных – да и так показать, чтобы семь даров Духа Святого не на одну государыню-царевну изливались. А то ей похвала вся и честь написана большая, а им...

– Много ты смыслишь! – запальчиво крикнул Шакловитый. – Да коли приведет Бог государыне-царевне венчаться на царство, так

честь, вестимо, к ней перейдет!

В это время раздались два легких удара в дверь, и слуга доложил Шакловитому о приезде дохтура с другим немчином.

– Приведи их сюда! – крикнул Федор Леонтьевич; и через несколько минут оба иностранца были введены в моленную палату.

– Ясновельможный пан секретариуш! – обратился Шмит по-польски к Шакловитому. – Я поспешил исполнить твое повеление и привез к тебе отличного мастера-печатника, который недавно прибыл из Польши и нуждается в работе; он как раз поможет твоим искусным черниговским друкарям и окончить их дело к великому твоему удовольствию. А чтобы ты мог судить об его искусстве, так взгляни, как он сам прекрасно умеет чертить и какую в честь царевны Софии набросил картину.

И он бережно развернул на столе перед Шакловитым и Медведевым тщательно исполненный пером рисунок, изображавший царевну в «орле», то есть в овале, окруженном семью символическими изображениями добродетелей; наверху два летящих гения

трубили царевне, а внизу четко и красиво были прописаны хвалебные вирши в честь царевны, изображенной в царском большом наряде, с венцом на голове, со скипетром в одной и державою в другой руке.

Сильвестр и Шакловитый залюбовались ловко составленным рисунком, а Шмит заметил им, что идея рисунка заимствована с гравированного портрета кесаря римского, у которого кругом, в особых медальонах, помещены его семь курфюрстов.

– Но я предпочел, – продолжал Шмит, – окружить царевну и изображениями тех добродетелей, которыми она сияет. Вот здесь «*благочестие*», а здесь «*целомудрие*», а здесь «*щедрость*»... Ну а тут внизу я осмелился добавить стихи своего сочинения, и в них превозношу великую царевну, сравнивая ее с Семирамидой, и с греческой Пульхерией, и с Елисаветой Британской... Надеюсь, что не оскорбят ее эти сравнения...

– Да, этот лист почище будет, чем Перекрестов! – сказал Шакловитый, внимательно вглядываясь в иезуитский рисунок.

– И вирши латинские куды как ловко на-

писаны! – заметил с улыбкой Сильвестр. – Видно, что мастером сделаны! Вот этот лист хоть кому так не стыдно поднести!

– Что ж? Один другому мешать не должен... – И затем, обратившись к Шмиту по-польски, сказал: – Я твоим рисунком доволен – проси за него, сколько тебе нужно. Да и за мастера спасибо... Сведи его туда, где печатают черкасы свою доску. Ведь ты знаешь, как туда пройти?

– Знаю, знаю, ясновельможный пан секретариуш! Не изволь беспокоиться – сведу его туда, все укажу, как сделать, и затем вернусь сюда – поговорить об этом листе.

И с этими словами достопочтенные отцы, раскланявшись Шакловитому и Сильвестру, удалились из моленной.

Когда дверь за ними захлопнулась, Шакловитый подошел к Сильвестру и сказал:

– А возьмешься ли ты, Сильвестрий, подписать на том иноземном листе полную титулу царевнину и вирши на добродетели ее русским языком переложить?

– Отчего не взяться? Это наших рук дело.

– Ну коли так, то я велю и этот немецкий

лист на доске за морем вырезать и в Голландии отпечатать. По тем листам, что у меня на дворе печатано, пусть будет слава царевне в Московском государстве, а по тем листам, что за морем станут печатать, пусть прославится она и в других государствах...

Новые два удара в дверь заставили Шакловитого смолкнуть и прислушаться.

– Обросим Петров пришел к твоей милости... Просит тебя повидать без всякого мотчанья...

Шакловитый тревожно оглянулся, насупил брови, проворчал сквозь зубы: «Что бы это значило?» – и вышел в смежную комнату.

Навстречу Шакловитому из полутемного угла комнаты поспешно отделилась высокая фигура в стрелецком строевом кафтане, с саблею на поясе. Обросим Петров был богатырь и ростом, и сложением; но его рыжие волосы и густая рыжая борода, его весноватое лицо и быстрые черные глаза производили чрезвычайно неприятное впечатление на каждого, кому впервые приходилось с ним встречаться. И в лице, и во всей его наружности крылось что-то недоброе, зловещее... Жутко было

бы сойтись с таким человеком в темном, глухом переулке или на пустынном проселке...

Шакловитый отошел с Петровым в самый дальний угол комнаты.

– Недобрые вести тебе принес, Федор Леонтьевич! – шепнул пристав Шакловитому на ухо.

– Ну что такое? Говори скорее!

– *Преображенские* пошевеливаться стали...

Вчера в доме у стольника Григория Павлова Языкова ночное собрание было... Дворян собралось человек с десятков, и Льва Нарышкина приказчик был. Пили и шумели, и про государственное дело говорили; и сам-то Языков кричал, что-де «великого государя, царя Петра Алексеевича имя в челобитных видим, а бить челом ни о чем ему, государю, не смею». И про царевну Софию Алексеевну всякие непристойные речи говорил и тебя ругал ругательски. И согласились они будто бы и на сегодня у него ж, Языкова, собраться...

– Посади на конь человек тридцать стрельцов и отправь немедленно к его дому. Да чтобы до темноты держались в скрыте... А чуть только стемнеет, пусть в дом войдут и забе-

рут Гришку Языкова и всех, кто будет у него в гостях, и всех людей его. Дня три велеть их выдержать в подвале, что за садом, а там и к розыску... Спознается он у меня с виловатою сосною, что в Марьиной роще... Мигом все исполни! А на завтра не забудь созвать сюда всех наших попозже ночью. Надо нам решать скорее!

XIV

Лев Кириллович Нарышкин, двадцатилетний красавец юноша, по должности спальника безотлучно находившийся при юном царе Петре Алексеевиче, в один из описанных нами чудных майских дней встосковался в Преображенском по Москве и отпросился у государя Петра Алексеевича и у сестры своей, царицы Натальи Кирилловны, на два дня в город.

Соскучился боярин не по Москве... Близехонько от Белокаменной в Лариной усадьбе, которая лежала верстах в трех за Марьиной рощей, жила боярыня Настасья Тихоновна Апраксина, красавица вдовушка, лет двадцати. К ней давно уже был равнодушен Лев Кириллович. Давно уже придумывал он, как бы ему повидаться со своей зазнобой, которую зорко стерегла ее суровая свекровушка. И вдруг от вдовушки приходит весточка, что ее свекровушка уезжает на богомолье на несколько деньков, а потому... Неизвестно, дочитал ли Лев Кириллович ее грамотку; только часа два спустя после ее получения он

уже мчался во всю конскую прыть в Москву в сопровождении двух конных слуг и старого своего дядьки Ивана Перепелки, который был поверенным всех его сердечных тайн. Но в грамотке Настасьи Тихоновны было, между прочим, поставлено неременным условием, чтобы ее милый друг Лев Кириллович, прежде чем к ней приехать, предупредил ее через верного человека о своем посещении и, только получив от нее условный ответ, пускался бы в путь к заветной усадьбе.

Уговор – лучше денег! И вот, приехав под вечер в свои городские хоромы на Варварке, Лев Кириллович немедленно отправил Ивашку к своей зазнобе с радостной вестью о предстоящем свидании; а сам в трепетном ожидании страстного призыва сошел с крыльца в сад и стал быстро шагать взад и вперед по запущенной дорожке перед домом. Сначала он мог думать только об одном: «На поездку Ивашки до апраксинской усадьбы и обратно потребуется не больше двух часов, да на переезд мой до усадьбы – менее часа... А затем...»

Мысли его путались, и какие-то золотые круги начинали у него играть перед глаза-

ми... Он мысленно уже сжимал в крепких объятиях свое бесценное сокровище. Но потом, утомившись волнением и ожиданием, прискучив своею бесцельною и однообразною прогулкой по одной и той же дорожке, Лев Кириллович для сокращения времени задал себе задачу – обойти весь сад, по которому он давно уже не хаживал, так как вообще редко бывал в этом старом отцовском доме. И вот он стал кружить по саду, заглядывая во все его темные уголки, обходя цветники, заросшие сорной травой и лопухами, минуя небольшие лужайки, расчищенные среди гущи бузиновых и сиреневых кустов. Затем, обогнув небольшой прудок, весь затянутый тиной, он присел под старую развесистою березой на скамье, поросшей мягким зеленым мхом, и стал смотреть на заснувшие воды.

«Здесь, бывало, любил сиживать отец – посмотреть на наши детские игры, – подумал невольно Лев Кириллович. – Здесь любовался он на наши суденки, которые спускал на воду брат Иван... Брат Иван!» – повторил Лев Кириллович как-то невольно, еще не в силах будучи отрешиться от своих страстных вожде-

лений, и поднялся со скамьи, видимо, не желая поддаться грустным воспоминаниям о погибшем товарище детства.

Но когда он поднялся со скамьи и обернулся к березе, ему прямо бросилась в глаза четко вырезанная на ней надпись: «Лета 7190 мая 17 дня» – и в конце ее крест... Отец, на память о погибшем своем сыне, вырезал эту надпись на той самой березе, под которой любовался его играми. Лев Кириллович это понял...

– О бедный, бедный брат Иван! – воскликнул он, всплеснув руками. – О несчастный, ни в чем не повинный мученик и страдалец! Жертва злодеев и честолюбцев, которым не дорого ничье счастье!

И он вдруг так неудержимо отдался воспоминаниям о брате, что на минуту забыл обо всем окружающем. Всплеск крупной рыбы в пруду, звонко раздавшийся среди глубокой тишины заглохшего сада, заставил Льва Кирилловича вздрогнуть. Тревожно озираясь, он поспешил удалиться от пруда: ему показалось, что от воды, от березы, от скамьи, на которой он сидел, веет мертвящим холодом мо-

гилы... Он поспешил к дому; но за ним следом, по пятам, уже тянулась туманная вереница скорбных, ужасных воспоминаний о брате и пережитых в ранней юности кровавых впечатлениях, которые ничто и никогда уже не могло изгладить из его памяти. Перед ним опять восставали, облакаясь в живые образы, все ужасы майских дней 1682 года... Он слышал завывание набата, неистовые крики пьяной и буйной толпы стрельцов, вопли несчастных, терзаемых злодеями, он видел слезы и отчаяние сестры-царицы и бледные, с трясущимися губами и подбородками лица обезумевших от страха бояр и придворной служни... Он вспомнил до мелочей те два бесконечные дня и те две напролет бессонные ночи, которые он провел вместе с братьями и юным Матвеевым, скитаясь по чуланам и темным закоулкам теремного дворца, прячась под пуховиками и перинами, в которые стрельцы мимоходом совали своими копьями. Он не был очевидцем страшной мучительной смерти брата, но знал о ней все до мельчайших подробностей, все мог бы передать как очевидец, потому что двадцать раз

из двадцати уст слышал о том, как низко, как безжалостно был предан Иван Кириллович на растерзание опьяневшим от крови злодеям и как твердо, с каким истинным героизмом принял смерть из их рук, не изменив себе, не издав ни одного стога... Он вспоминал о том, как много месяцев спустя не мог спать ночью без лампы и как вздрагивал при первом ударе колокола, ожидая набата.

Даже и теперь, думая об этом, он невольно вздрогнул: на соседней колокольне ударил колокол, мерно и звучно отбивая часы... И каждый удар, потрясая воздух, дребезжа, разносился далеко по окрестности, среди вечерней тишины и полумрака, одевавшего кусты и деревья трепетными тенями.

Этот бой часов заставил очнуться Льва Кирилловича от обуявших его воспоминаний. Он вспомнил об Ивашке и о том, что ему уже давно следовало бы вернуться... «Уж не случилось ли с ним беды какой?.. Или с Настасьей Тихоновной?»

Но эти думы только мелькнули в голове юноши. Грустные и трогательные воспоминания о прошлом застилали, загораживали на-

стоящее – влекли его к себе неудержимо. Ему показалось жутко оставаться долее в темневшем саду, и он пошел в дом по скрипучим расшатанным ступеням крыльца. И едва переступил он порог, едва успел слуга засветить ему свечи в медном шандане и затеплить лампаду в его спальном покое, как опять те же воспоминания о брате целым роем нахлынули на Льва Кирилловича и постепенно, болезненно настраивая его воображение, рисовали ему и настоящее, и будущее в мрачных, страшных красках...

«А Ивашки все нет», – с удивлением говорил себе юноша, снова прислушиваясь к колоколу, отбивавшему часы на соседней колокольне.

Наконец, утомленный ожиданием и душевною тревогой, Лев Кириллович задремал в кресле, склонившись над столом... Возбужденное воображение не переставало работать и среди одолевшей его дремоты. То ему представлялось, что он подъезжает к усадьбе своей милой и видит, как ее дом вдруг вспыхивает ярким пламенем... Слышит вопли отчаяния людей, которые горят в доме, бросается

на помощь к ним... А ему дорогу загораживают стрельцы. «Куда лезешь? – кричит ему высокий рыжий детина, замахиваясь на него бердышом. – Или к брату в застенки захотел?..» То вдруг видит он себя среди площади, залитой кровью, заваленной трупами изувеченных бояр, среди разнузданной и буйной толпы стрельцов, которые нагло торжествуют свою победу и горланят пьяные песни, приплясывая вокруг столба, воздвигнутого в память кровавых подвигов «надворной пехоты»... И среди их криков ему явственно слышится голос Ивашки, который над самым его ухом твердит: «Батюшка боярин, смилуйся! Ей-богу, не виноват...»

И вдруг Лев Кириллович очнулся от тяжелой дремоты, почувствовав, что кто-то его тербит за рукав. Очнулся... и при тусклом свете нагоревших и наплывших свечей видит перед собою какую-то темную фигуру наклонившегося к нему человека, который весь дрожит от головы до ног и лепечет невнятные слова не повинующимися ему устами...

– Кто ты?! Кто ты?! – вскричал во весь голос боярин, цепенея от ужаса, в бессознатель-

ном порыве хватая стоявшего перед ним за руки и потрясая его изо всей силы.

– Ба-ба-батюшка бо... ббб... оярин! Смилуйся! – проговорил знакомый голос.

Тут только Лев Кириллович узнал Ивашку – и опустил руки...

Ивашка стоял перед ним бледный как смерть и дрожал как осиновый лист. Глаза его бегали тревожно и бесцельно из стороны в сторону, губы и подбородок тряслись... Лев Кириллович вспомнил, что видел Ивашку с таким же точно лицом в тот день, когда, вбежав в опочивальню Кирилла Полуэктовича, он мог, запинаясь, произнести только два слова: «Стрельцы... идут!»

А теперь он твердил только одно:

– Смилуйся! Ей-богу, не виноват!

Очевидно, он был чем-то поражен и перепуган насмерть и не мог связать мыслей со словами.

– Что с тобой? – тревожно спросил его юноша. – Кто тебя напугал? Нет ли там беды какой? Да говори же скорее!

Но Ивашка заговорил не скоро. Льву Кирилловичу пришлось сначала успокоить ста-

рого слугу, потом отпоить его водою и, наконец, услышать от него страшный неожиданный рассказ.

– С нами крестная сила! – прошептал, приходя в себя и крестясь, Ивашка Перепелка. – Что я видел... и что я слышал... так ажно и до сей поры дрожь так и пробирает...

– Что же такое? Все ли там поздорову? – с беспокойством переспросил Лев Кириллович.

– Там-то все поздорову... тебе поклон шлют и просят жаловать... Да вот как оттедова-то я поехал... У! У! Какого страхованья натерпелся!

– Да будешь ли ты говорить наконец, старый хрыч! – закричал юноша, ударяя по столу кулаком.

– Изволь слушать, боярин, только не подумай, что это мне с пьяных глаз пригрезилось. В усадьбе меня позадержали с ответом, и как я оттоль поехал да стал к Марьиной роще подъезжать, совсем уже стемнелось... Только бы мне на среднюю тропочку на знакомую выехать... вдруг слышу стон... Думаю: почудилось либо сыч в дупле гукнул. Еще попоехал... Опять стоны, вопли, словно режут, мучат кого... Вижу: дело неладно! Думал, не ноч-

ные ли какие работники душегубствуют? Привязал коня к дереву, пистолы за пояс сунул, нож за голенищем оцупал и побрел потихоньку крадучись в ту сторону, откуда крик-то слышен был... Долго слышались вопли и смолкли; долго и я крался и вдруг вижу: в самом глухом месте роши свет между дерев мелькает и от людей тени большущие ходят... Я и пополз на брюхе... и приполз на край буерака, а в том буераке – виловатая сосна, и около нее человек с двадцать, на конях с бердышами, с копьями. И две повозки с кровлями в сторонке. А на той сосне, как на дыбе, вздернут человек за локти, гол весь, окровавлен... Около него два человека пешие, с плетями; да третий, на коне, видно, из бояр (лицо башлыком закрыто), того человека спрашивают, а дьяк его речи в столпе пишет. И вижу я, что это не разбойники, а стрельцы, и наибольший-то, что над ними, должно быть, розыск чинит, пытается человека. Тут-то вот я обомлел от страха... Вижу, что пропала моя головушка, если меня заметят. Я и приник, завалился между двух кочек; и пролежал там во все время пытки и дрожал как в лихо-

манке... и теперь еще дрожу.

– И не узнал ты этого набольшего-то?

– Да где же тут разобрать его в лицо? Слышал только, что заплечные мастера величали его Феодором Леонтьевичем...

– Шакловитый!

– А он одного из мастеров-то Оброськой звал...

– И за что же они пытали... и мучили?

– Того, что на дыбе-то висел, пытали за дерзкие речи против царевны Софьи, а потом татар каких-то жгли и мучили, и все допрашивали, для чего-де они в дом к князю Борису ходили и зачем к государю Петру Алексеевичу в комнату званы были... И кабы ты видел, боярин, как их мучили!.. Кабы ты слышал, как они вопили от боли!.. Господи! Все мне их крик слышится! В ушах звучит... И уж я сам не помню, как я назад к коню приполз, как в седло вскочил, как верст двенадцать крюку дал, чтоб в город попасть... Изволишь видеть – ведь уж светает!

И Лев Кириллович уже не слышал его последних слов. Стиснув зубы, судорожно сжав кулаки, бледный, с горячими очами, он ходил

взад и вперед по комнате; потом остановился на минуту, что-то обдумывая, и вдруг топнул ногою и крикнул Ивашке:

– Седлай коней! Чтобы мигом было готово! Едем в Преображенское!

– Да лошади и посейчас стоят оседланы! Буде изволишь – садись, и едем!

XV

Чудесное майское утро только разгоралось над Преображенским. Густой туман, предвещавший жаркую ветреную погоду, только что рассеялся, и косые лучи солнца едва успели озолотить кресты на маковицах дворцовой церкви, как на деревянной мостовой раздался конский топот, и четыре всадника прорысили мимо дворца к тому флигельку, в котором помещался князь Борис Алексеевич. В то время как они подъехали к крыльцу флигелька, на церковной колокольне раздался первый удар колокола. Все всадники разом сняли шапки и набожно перекрестились, обернувшись к церкви.

– Лев Кириллович? Что ты так скоро обернул? – воскликнул выходящий в это время на крыльцо князь Борис.

– Так... позабыл тут... дельце одно есть... – отвечал уклончиво Лев Кириллович, пока слуги убирали коней. А затем, поднявшись на крыльцо и здороваясь с князем Борисом, шепнул ему на ухо: – Страшные дела! Таких новостей тебе привез, что и теперь еще опомнить-

ся не могу.

– Так войдем ко мне... Перемолвимся словечком...

– Нет, не пойду; благо увидел тебя!.. Я только заехал прежде к тебе, сказать, что после обедни надо мне с тобою и с сестрой-царицей поговорить да посоветовать... Сейчас переоденусь и пойду в церковь. Вон, уже все и так пошли.

Действительно, от дворца к церкви уже потянулось в обычном порядке ежедневное шествие: впереди царь Петр Алексеевич и за ним его свита – братья Нарышкины, Зотов, Троекуров и Прозоровский. За ними царица Наталья с маленькою дочкой и ее свита из стряпчих, боярынь, богомолиц, карликов и карлиц.

– Ну ладно, боярин! Так свидимся после обедни в комнате великой государыни... Посмотрим, что ты привез...

Боярин направился к себе, в свои покои во дворец, рядом с опочивальней государя, а князь Борис пошел в церковь и все ломал себе голову, что бы могло заставить юношу вернуться так поспешно из Москвы, тем более

что он, Голицын, знал, с какою целью Нарышкин туда поехал.

В церкви все обратили внимание на то, что царь Петр Алексеевич стоял за службой как-то особенно безучастно, даже рассеянно. То он смотрел на верх иконостаса, то невпопад начинал поспешно креститься и кланяться, то заглядывал в окошко в то время, когда все кругом него крестились и кланялись. Видно было, что его мысли были где-то далеко... Оглянувшись назад и заметив стоявшего позади него Льва Кирилловича, Петр выразил удивление на лице своем и, улучив минуту, наклонился к нему и шепнул ему на ухо:

– Ну, Левушка, что я нашел... кабы ты знал!..

Наконец служба кончилась, и царь Петр так быстро повернулся к выходу, что даже позабыл взять поднесенную ему просфору. Он ухватил Льва Кирилловича за плечо и, опираясь на него, вышел из церкви.

– Как ты вчера уехал, – поспешил он сообщить Льву Кирилловичу, – я был в Измайловском и рылся там в амбарах, что около пруда. И что за диковину открыл... А ну-ка, угадай?

– Не ведаю... Ведь там амбары битком набиты всяким хламом.

– Хла-мом! Я тебе говорю – диковинку!.. Сам посуди: голландское суденко легкое, *верейкою* зовется, раззолочено, расписано; и вообще не похоже на наши карбасы и шняки... Бок крутые, днище острое, все сведено в единый брус, а около кормы приделано такое... как это называется?.. чтобы ворочать судно?..

– Ну, по́тешь, что ли?

– Какая там по́тешь... Это особое такое прилажено... Да! Руль! Руль!.. И это суденко для батюшки покойного здесь по заказу делал старик один... он и теперь живет в Немецкой слободе! Так я велел его сыскать... и судно перевезти сюда на Язузу... И вот жду не дождусь, когда оно прибудет... Приходи ко мне от матушки скорее...

Последние слова царь добавил потому, что Лев Кириллович, увидев выходящую из церкви сестру-царицу, спешил к ней подойти и последовал за нею в ее покои.

– Что так скоро обернул, соколик? – ласково спросила царица, когда осталась с братом наедине. – Уж, видно, что-нибудь недаром...

что-нибудь неладно? – с некоторою тревогою добавила она, заглядывая в глаза брату.

– Еще как неладно-то! Я такие вести привез, что и не приведи господи! Да только не пугайся, государыня... Нам здесь не грозит никакая опасность... Но уж зато что за дела в Москве творятся!

Лев Кириллович и руками развел.

– Что же? Что такое? Расскажи скорее!

– Нет, здесь слишком много толчется всякого люду, и уши лишние везде, куда ни обернись... А вот сейчас придет сюда наш князь Борис – тогда пойдем в твою Крестовую палату, запремся там и все обсудим... Знаю только, что надо принять меры... долее нельзя терпеть!

В это время вошел в комнату царицы князь Борис с Троекуровым, и все вслед за царицею ушли в ее Крестовую палату и заперлись в ней, поставив у дверей двоих стряпчих с приказанием никого не впускать и не подпускать к дверям. Затем царица села на стоявшую у стены лавку, а бояре ее обступили, а Лев Кириллович, понизив голос, рассказал им с большим волнением о вчерашнем походе-

нии Ивашки Перепелки. Лев Кириллович заключил свой рассказ, обращаясь к царице:

– Воля твоя, государыня! А таких злодейств твоих терпеть нельзя.

– Что же я могу сделать?

– Ты – государыня! Царица! Мать государя!

– Что вы скажете, бояре? – спросила Наталья Кирилловна, обращаясь к Троекурову и князю Борису.

– Страшные дела! – проговорил Троекуров.

– Поосадить бы не мешало...

Князь Борис ничего не сказал и только перебирал свою густую бороду.

– Что ж ты молчишь, князь Борис Алексеевич! – обратилась к нему государыня.

– Да, правду-то молвить, я думал, что Лев Кириллыч пострашнее что-нибудь привез нам...

– Как? Это ли не страшно? Истязуют, мучат людей за то только, что были позваны к царю Петру в комнату, или за то, что у тебя побывали?..

– Что говорить! Нехороши дела, а все же нам в них путаться не след, Лев Кириллыч. Ну, положим, холоп твой все это видел и мог

бы подтвердить – да не теперь нам с ними начинать! Не время – и не рука!

– Чего же ждать еще? – вспыхнула царица. – Чтобы сюда пришли, чтобы и здесь учинили расправу!

– Сюда они не придут, государыня. Царевна теперь не сделает ни шагу! Знает, что мы тогда клич кликнем... Ну а Шакловитому нам надо дать подурить, пока он сам себе не сломит шею.

– Да ведь ты слышишь, князь, что люди гибнут? – почти вскричал Лев Кириллович.

– Слышу, боярин, – совершенно спокойно отвечал князь Борис, – и напрасно ты думаешь, что от тебя от первого слышу. Пропадают люди без вести – неведомо как... Вот хоть бы стольник Языков Григорий! Собрал к себе приятелей, поговорил с ними что-то громко за ужином, что, мол, «царя Петра только по имени знаем, а всем правит царевна», а на другой день ночью пришли стрельцы, забрали и его, и всех людей его, и был таков! Слышал, что и ссылают нынче и языки урезывают – без государева указа... И этих татар, что жгли, я тоже знаю; это те самые мурзы Ибра-

имко с Кондаралейкой, которые у нас здесь в Преображенском были и во всем нам хаживали...

– Неужели те, что невестку мою лечили травами? – перебил Троекуров.

– И царю Петру зуб заговаривали, – продолжал князь Борис. – Я слышал, что их тотчас же схватили, как только они пришли в Москву отсюда...

– И неужели же это все терпеть, сносить? – спросила Наталья Кирилловна, складывая руки и вглядываясь в лицо Бориса Алексеевича.

– До поры до времени, государыня. Да и вступить-то нельзя – ведь с челобитною никто к нам нейдет? А самим ввязываться в дело и розыски начинать – избави боже! Мы же окажемся в виновных. И так изволишь знать, государыня, что на меня да вот на Льва Кириллыча давно уж зубы точат царевнины прислужники? Да к тому же есть у меня и поважнее вести, Лев Кириллыч!

Все переглянулись между собою и затем обратились к князю Борису, приготовляясь его слушать.

– Шакловитый похвалялся патриаршему

ризмичему Акинфию, что у него под Новодевичьим печатают приезжие черкасы какую-то персону царевнину – и будто бы на той персоне она изображена с венцом на голове, со скипетром и с державой. Да слышал, что такие же персоны и за море отправлены печатать... Ясно, что это неспроста... Давно уже ходит слух такой, что она собирается со-царствовать братьям, венчаться думает, как и они же, на царство... И будто уж и челобитная готова от стрельцов и ото всех людей московских... Вот это точно страшно!

Все внутренне соглашались со взглядом князя Бориса и молчали. Он это понял и продолжал:

– Да! Этого нельзя дозволить... Смута может произойти великая! И мы должны держаться настороже и наготове. И я бы думал, государыня, что, ни в какие дела не впутываясь, нам надо покамест в стороне держаться, как будто ничего не видим и не знаем, а вот не мешало бы подумать, как здесь пооберечь себя...

– Да разве же мы здесь не безопасны? – тревожно спросила царица.

– Безопасней, чем в Москве; но все же надо помнить, что у нас едва ли наберется, со всеми слугами и с конюхами потешными, один полк. А у царевны их двадцать...

– Но как же быть, по-твоему?

– Да я бы думал, что нужно нам сюда затребовать побольше пушек – будто бы для огненной потехи и для пальбы во время именин царя Петра Алексеевича, а потом и клич кликнуть – звать охотников в потешные к царю; да обучить их, да составить и другой полк. Там не спохватятся, что это нам в защиту, и все смеяться будут – все будут думать, что царь Петр еще дитя и тешиться изволит... И пусть их думают! А с будущего года... надо царю Петру почаще бывать в Москве и с нами в думе заседать, и в управление понемногу вступаться... Напоминать, что он есть царь!

Царица глубоко вздохнула при этих словах; Троекуров и Нарышкин молчали. Князь Борис продолжал:

– И вот тогда уж нужно быть на все готовым... Тогда, пожалуй, и в борьбу с царевной придется вступить – в открытую. Да и бояться будет нечего: царю пойдет семнадцатый год,

и уж правительнице делать будет нечего. А до тех пор нам надо поберечь себя и зорко смотреть за ними, чтобы какого дурна не прилучилось...

– Ну пусть так и будет! – сказала царица. – Я в тебя верю, князь Борис, и на тебя надеюсь.

– До конца живота, государыня, буду служить царю Петру и верою и правдою... И тамошние козни не упущу из виду: мне все известно, что там затевают (есть такой друг-приятель!). Вот только надо бы мне из стрелецких-то голов, что с Шакловитым водятся и шашни затевают... надо бы из них-то языка добыть... Да мы добудем!

Царица встала со своего места и вместе с боярами вышла из крестовой палаты в комнату.

– Что это за шум? Что за суетня на улице? – спросила она у окружающих, заглянув в окошко.

– А это, верно, привезли из села Измайловского то суденко, которое вчера отрыл там государь Петр Алексеевич в амбаре, – сказал, улыбаясь, Троекуров.

Не успел еще он досказать этих слов, как в

комнату вбежал царь Петр Алексеевич и крикнул Льву Кирилловичу:

– Что ж, Левушка? Ты скоро ли? Ведь уж везут верейку-то – и мастера сыскали, который строил-то ее! Пойдем скорее!

Затем, впопыхах, подбежал к матери и сказал ей скороговоркою:

– Как спустим, матушка, да оснастим, какое будет судно – чудесное! Да мастер говорит, что надобно чинить его и конопатить... Дела пропасть! А немчин – старик такой хороший... Он умеет даже и большие корабли строить... Ну, Левушка, пойдем скорее.

И, схватив Нарышкина за руку, Петр мигом выбежал из комнаты. Царица печально и любовно посмотрела ему вслед.

– Вот тебе и царь! – сказала она с улыбкою, обращаясь к боярам. – Дитя сущее!.. Как ты его заставишь в думе-то сидеть?

– Великая государыня! – сказал князь Борис. – У царя Петра огонь в крови: куда его ни оберни, он все спалит! Он и в деле такой же, как в потехе... И на потеху смотрит как на дело. С ним шутить не приведи Господь! Вот почему я думаю, что надобно повременить и

дать ему окрепнуть, окрылиться... А там и
один всей землей управит!

XVI

Между тем как в Преображенском, по совету князя Бориса Алексеевича, принимались необходимые меры предосторожности на всякий случай, в стрельцких слободах в Москве замечалось какое-то довольно странное брожение. Во всех полках стрельцы собирались кружками, то около съезжих изб, то на улицах, перед домами зажиточных стрельцов, то у начальных людей. На всех этих сборищах из толпы заметно выделялись несколько задорных крикунов, несколько воротил, употреблявших, очевидно, чрезвычайные усилия на то, чтобы увлечь толпу, привлечь большинство на свою сторону. Но горячие, запальчивые речи этих доморощенных ораторов, видимо, не производили ожидаемого действия: их выслушивали очень спокойно, в глубоком молчании, переминаясь с ноги на ногу, почесывая в затылке, вопросительно переглядываясь между собою, а затем, когда говоривший в толпе заканчивал и в заключение обращался к слушателям, ожидая одобрения или согласия, кто-нибудь из толпы непре-

менно обращался к оратору с совершенно неожиданным вопросом:

– А великие государи о том ведают ли?

– Чего там ведают? – грубо и с досадою отзывался смущенный оратор. – Ну ведает один государь, а другой еще в малых летах!

– Какое там в малых! – отзывалось уже несколько голосов. – Чай, сам знаешь, что он уж, на Кокуй ездя, ни одной немке проходу не дает! Этого малого небось уж и женить пора бы!

– А ну вас к дьяволу! Пропадай же вы все пропадом! – выкрикивал выведенный из терпения оратор и, отвернувшись от товарищей, спешил удалиться, оставляя собранный им кружок в великом недоумении.

– Многие вот так-то плевелы в мире сеют, – отзывался кто-нибудь из толпы довольно угрюмо, – а меж великими государями ссоры заводят...

– Не доброе, братцы, дело учиняется быть у нас... – слышались голоса.

И кружок расходился, видимо, недовольный и сумрачно настроенный. Нежелание принять на себя деятельную роль в борьбе

партий, сгруппировавшихся около Петра и Софии, высказывалось совершенно ясно. Стрельцы, проученные горькими разочарованиями прежних лет, очевидно, не доверяли ни Софье, ни Шакловитому, тем более что усердный приверженец царевны и его клеветы уж слишком явно вели дело к какому-то крутому повороту, а стрельцы – народ зажиточный, торговый и промышленный – более всего боялись за свой достаток и старались охранить свое спокойное, вполне обеспеченное существование от всяких случайностей.

Пособники Шакловитого деятельности распространяли между стрельцами разные сплетни и небылицы о Нарышкиных и о князе Борисе Алексеевиче, толковали, что эти бояре «благоверную царевну Софью изгоняют и над нею наругаются и извести ее хотят», и заключали свои наветы словами:

– А как царевны-то не будет, так всем нам будет плохо...

– Хорошо бы о таком деле побить челом великим государям, вопче о розыске, – согласно отзывались стрельцы на эту угрозу.

– Чем великих государей челобитьем тревожить, можно бы вам и самим тех злодеев царевниных убрать! – подсказывал клевет Шакловитого.

– Ну нет, братцы! – тотчас же отзывалось несколько голосов в толпе. – Такого дела учинить нам ни которыми делы невозможно.

– А почему же невозможно?

– А потому и невозможно, – поясняли стрельцы с непререкаемою ясностью, – что по великих государей указу все учиним, а самовластно делать не будем.

Пробовал неоднократно и сам Федор Леонтьевич собирать у себя выборных людей из различных полков и всяких начальных стрелецких людей и говорил с ними о том, что «следовало бы подать челобитную государям – просить их, чтобы и на великую государыню Софью Алексеевну положить царский венец». Но и выборные, и начальники стрелецкие отвечали ему на этот вопрос глубочайшим молчанием.

– Что же вы мне ничего не скажете! – с некоторою тревогою допрашивал Шакловитый.

– Да как тебе сказать, Федор Леонтьевич? – вызывался говорить кто-нибудь постарше да посмышленнее. – Дело это государское великое. И тут не то чтобы челобитьем, а разве только вот слезами плакать Богу, что-де изволит Бог, то пусть и сотворится.

– Да ведь это я вас от себя спрашиваю, – спохватывался Шакловитый, – а великая государыня про то не ведает. И что вы скажете, то я великой государыне и доложу.

– А что же мы сказать можем, батюшка Федор Леонтьевич! – подхватило уже несколько голосов. – Вестимо, наше дело такое, чтобы великим государям добра хотеть.

И неловко затеянный разговор срывался еще более неловко, к великому неудовольствию обеих сторон.

Более успешно шла между стрельцами пропаганда другого рода. Многие из них внимательно следили за спорами старца Сильвестра с братьями Лихудами и, по давним своим связям с настоятелем Спасского монастыря, принимали в этом споре его сторону, совершенно упуская из виду, что в данном случае он прямо шел против древних преданий

Восточной церкви и отстаивал латинские заблуждения. Они очень охотно брали у Сильвестра писанные тетрадки, в которых тот беспощадно громил ученых греков, эти тетрадки перечитывались и переписывались и распространялись среди стрельцов.

– Новые у нас учителя завелись, – толковали между собою стрельцы. – Дал нам Селиверст тетрадки – надо по тем тетрадкам патриарху челобитную изготовить.

Но на этих пожеланиях дело и кончалось, и Шакловитый должен был прийти к тому убеждению, что стрельцов едва ли удастся поднять поголовно за дело царевны. Тогда он несколько изменил тактику. Он очень зорко стал наблюдать за всеми, кто решался на сходках поднимать голос в пользу царя Петра и его партии таких смельчаков. Шакловитый старался удалить из Москвы или при первом удобном случае строго наказывал за самую ничтожную вину. Тактика была понята сразу, и большинство, зная неограниченную власть, которою облечен был Шакловитый в отсутствие князя Василия Голицына, стало относиться еще осторожнее и сдержаннее прежне-

го к тому, что подготовлялось дьяком Шакловитым и его клевретами.

Ввиду всего этого стрельцы были очень встревожены, когда в канун Петрова дня приставы и головы стрелецкие пошли стучать по окошкам стрелецких слобод, созывая всех к съезжим избам для выслушанья указа государственного. Когда все собрались, объявлен был указ великой государыни о том, что она на завтра назначает поход в Преображенское для поздравления брата своего государя Петра Алексеевича с его тезоименитством, а в том походе приказывает быть с собою человекам двадцати из каждого полка.

– Куда ж это такое многолюдство? – рассуждали стрельцы. – В прежнее время государыня хаживала в Преображенское с пятьюдесятью человеками, а нонче с лишком триста человек с собою берет!

Но еще более были удивлены, когда увидели, что из числа назначенных в поход шестьдесят человек были посажены на коней в виде почетной стражи для сопровождения правительницы, ее сестер и теток, отправляв-

шихся в Преображенское, к державному имениннику, а остальные, около трехсот человек, были посажены на телеги и поспешно отправлены еще накануне, задолго до выезда государыни из Кремля, на дорогу к Преображенскому.

– Что за притча? – толковали между собою те, кто не попал в наряд. – Поехали многолюдством и во всем оружии – даже и пищали зарядить приказано; а кто с бердыши, у тех спрошено: давно ли у них бердыши не точены?

– Правда ли, нет ли, а говорят, будто на дорогу нашего брата послали для береженья государыни, чтобы ей грешным делом от потешных конюхов какого дурна не учинилось...

– Что там пустое молоть! – перебивали другие, постарше да поопытнее. – Знамо дело – не затеял ли всего этого наш Федор Леонтьевич, чтобы Нарышкиных попутать?

И все разошлись в недоумении, покачивая головой.

Во всех этих предположениях и толках, как ни казались они на первый раз неправдо-

подобны, была своя доля правды. Опасаясь Нарышкиных и князя Бориса, Шакловитый в то же время воображал себе, что если бы вышло какое-нибудь неприятное столкновение между Софьей и Нарышкиными, то его стрелцкой засады было бы достаточно, чтобы «поучить» братьев государыни и при первой возможности даже наложить на них свою тяжелую руку. Но он жестоко ошибался: его самого опасались в Преображенском, а от стрельцов по старой памяти ожидали всяких бед и потому приняли всевозможные меры предосторожности.

Около десяти часов утра (по нашему расчету времени) блестящий поезд царевен, предшествуемый великолепною каретою Софьи, запряженною восьмериком белых как снег голштинских возников, в шорах, обвитых червчатым бархатом, с золотыми бляхами и с перьями на головах, приближался к Преображенскому. До околицы села оставалось не более версты.

Шакловитый, ехавший впереди на прекрасном вороном коне, увешанном золочеными гремучими цепями и покрытом вместо че-

прака кожей пардуса, отъехал несколько в сторону от стрелецкого конвоя, подозвал к себе Обросима Петрова, также ехавшего в числе прочих стрельцов Стремянного полка, и сказал ему вполголоса:

– Надежны ли у тебя люди?

– Уж чего надежнее! Молодец к молодцу подобраны, и все такие, что за царевну и в огонь и в воду!

– Так ты их спешишь да около карет, поближе к крыльцу дворцовому поставишь; и чуть какой шум учинится во дворце – чтоб были наготове!

– Понимаем!

– Да двоих здесь, на дороге, поближе к околице оставишь, верхами же; чуть услышат, как затрублю я в рог, чтобы сейчас скакали в лес, к тем, что там попрятаны, и мигом бы их стогнали ко дворцу... нам на выручку.

– Исполним.

– А своим ребятам скажи, что... в случае чего не дали бы маху... тотчас бы рубили всех, кто за меня примется...

– Скажем обиняком...

Поезда царевны в Преображенском ожида-

ли и прием ему приготовили довольно своеобразный. София была очень неприятно поражена тем, что у ворот Преображенского ее встретили человек сто «потешных», одетых в однообразные зеленые кафтаны с золотым га-луном и выстроенных шпалерою, под ружьем, при двух офицерах из немцев. Народ был рослый, дюжий, прекрасно обученный и очень ловко владевший ружьем. На полпути от дворца царевну встретили бояре и сам царь Петр Алексеевич, наряженный «потешным». Пришлось Софии и царевнам выходить из карет и, после обычных приветствий, шествовать пешком до дворца, где на крыльце ожидала гостей сама царица Наталья Кирилловна со своими боярынями. И около крыльца опять человек пятьдесят потешных под ружьем, которые по команде Петра лихо отдали честь правительнице, блеснув на солнце стволами ружей. Затем царицы и вся свита их вошли во дворец, и около коней и экипажей остались только спешенные стрельцы Стремянного полка, которые очутились лицом к лицу с отрядом потешных, по крайней мере втрое посильнее их числом.

Обросим Петров, насупив брови и теребя свою густую рыжую бороду, злобно посматривал на этих молодцов, которые заграждали ворота и охраняли вход во дворец, стоя стройными, плотно сомкнутыми рядами и свободно держа ружье на плече. Он попытался было выехать за околицу для переговоров с теми, которые были скрыты в лесу; но, едва он подъехал к воротам, потешные скрестили перед ним ружья, а их капрал объяснил Обросиму Петрову, что без приказа боярина Льва Кирилловича Нарышкина никого из села выпускать не приказано.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» – подумал Обросим и волей-неволей вернулся на прежнее место, к каретам.

Немного спустя он увидел, что на крыльцо дворца вышел Шакловитый, смотрит в его сторону и делает ему какие-то знаки, как бы подзывая его к себе. Обросим Петров и двинулся было к нему; но за спиною Шакловитого, как из земли, выросла осанистая фигура князя Бориса Алексеевича и еще двух каких-то бояр, и, дружески подхватив Федора Леонтьевича под руки, князь Борис шутливо

и весело сказал ему, так что все слышали:

– Куда же ты, Федор Леонтьевич, от государева угощенья уходишь? Сейчас нам на стол подают – просим милости!

Потом, обращаясь в сторону стрельцов, боярин приказал одному из стольников:

– Иван Петрович! Озаботься и об этих наших гостях... Ребята! Государь наш всемилодивейший Петр Алексеевич и великая государыня царица Наталья Кирилловна жалуют вас погребом для сегодняшних именин государевых!

Стрельцы в один голос отвечали: «Благодарствуем на государском жалованье».

И их действительно угостили на славу! А уж как Федора Леонтьевича ласкал и угощал Борис Алексеевич у себя во флигеле, так этого и сказать нельзя! Только при навыке Шакловитого можно было выдержать такое угощенье... Но и у него в голове шумело, как ни старался он отговариваться от упрасиваний и потчеваний князя Бориса.

– Ну выпьем по последней чарке, да больше и просить не стану! – уговаривал Шакловитого князь Борис. – Чай, скоро и к вечерне

уже ударят?

– Ну, по последней – так и быть!

Выпили и встали из-за стола. Но князь Борис и тут не выпустил Шакловитого из рук: повел его на Язузу – показал ему верейку немецкого дела, что против ветру ходит; повел в зверинец, который все еще содержали при селе от времен царя Алексея, а затем вернулся с ним в сад, где под беседкою ожидали их разные прохладительные напитки. Здесь князь повел речь о том, как великие государи должны быть ему, Шакловитому, признательны за то, что он так ловко и умно правит стрельцами и вовсе между ними вывел их мятежный дух.

Шакловитый только морщился и сидел как на горячих углях. Как раз в это время к князю Борису подошел один из царицыных стряпчих, отозвал его в сторону и стал ему что-то с видимой тревогой шептать на ухо. Тонкий слух Федора Леонтьевича дал ему возможность расслышать в шепоте стряпчего слова: «стрельцы...», «в лесу». Но князь Борис, выслушав стряпчего, преспокойно похлопал его по плечу и сказал довольно громко:

– Вижу, что у страха глаза велики! Скажи там на Верху, что нечего бояться – все пустое! Про добрых гостей припасено у нас всякого добра... да и про недобрых тоже свинцового гороха хватит... небось пусть сунутся!

И, возвратясь к Шакловитому, стал извиняться перед ним, что отвлекли его по пустышкам, и снова рассыпался в похвалах твердости и распоряжениям Шакловитого по отношению к стрельцам.

Федор Леонтьевич, возвращаясь вечером в город, во всю дорогу ни с кем не промолвил слова, а как пришел к себе домой, то со всей силы хватил шапкою оземь и разразился потоком красноречивейшей ругани. К кому относилась она – то было известно только самому Федору Леонтьевичу.

XVII

Со времени выезда князя Василия Васильевича Голицына в Крымский поход прошло уже около полугода. Так как известия с похода в Москву доходили очень туго, то сначала в Москве знали, что все воеводы московские и сам гетман Самойлович выступили в поход против крымского хана, а затем уже о дальнейшем ходе военных действий узнавали только то, что князь Василий официально доносил царевне и великим государям. А между тем гонцы из войска прибывали очень часто и каждый раз привозили, кроме официальных донесений, неофициальные письма Оберегателя к Софье Алексеевне, писанные тайным крюком, и письма к Шакловитому, с которым князь Василий поддерживал весьма оживленную переписку. Но эти грамотки, привозимые гонцами, хранились в глубочайшей тайне, а для того, чтобы самый гонец не мог ни о чем проговориться, надежнейшие из клеветов Шакловитого перехватывали гонца верст за двадцать от Москвы, отбирали от него все письма и документы, а самого гонца

держали под строгим караулом до тех пор, пока не привозились из Москвы ответные грамотки. Однако, несмотря на все эти предосторожности, в Москве все же узнали о неудачах Голицына и его неладах с гетманом Самойловичем, который и в официальных донесениях выставлялся главным виновником неуспеха всего предприятия. Пошли всякие толки и пересуды, посыпались на Оберегателя обвинения и нарекания, не на шутку оскорблявшие Софью. К Голицыну был немедленно отправлен в качестве почетного и доверенного посла Федор Леонтьевич Шакловитый с милостивым словом за службу. И вместе с тем ему дан был тайный наказ к Голицыну сменить гетмана, «буде он малороссийской старшине неугоден». В начале июля Федор Леонтьевич выехал из Москвы и пробыл в отлучке более месяца...

Свидание с Голицыным значительно ободрило Шакловитого: он застал любимца в чрезвычайно мрачном настроении, сильно потрясенного военными неудачами, упавшего духом, опутанного интригами малороссийской старшины. Тотчас по возвращении в

Москву, в начале августа 1687 года, он стал все готовить к выполнению своего плана, твердо уверенный, что избрание нового гетмана и устройство малороссийских дел еще надолго задержит Оберегателя на юге.

В тот год, в конце августа, погода стояла еще прекрасная, но уже чувствовалось приближение осени. Теплые вечера сменились очень прохладными ночами; листья пожелтели; в прозрачном воздухе на солнце потянулись и заблестели длинные серебристые нити паутин, медленно колеблемые ветерком; ласточки собрались в дальний путь, посидели стаями на крышах и заборах и улетели. Москва готовилась к наступлению Нового года и собиралась праздновать новолетие, ожидая того блестящего «действия», которым всегда ознаменовывался день 1 сентября в Кремле.

Как раз за два дня до этого обычного торжества, рано утром, от Тверской заставы приискал к воротам Большого двора князя Голицына всадник в бурке и в шапке с малиновым верхом, проворно соскочил со взмыленного коня и властной рукою застучал коль-

цом в ворота. Воротные сторожа выглянули сверху ворот из своей башенки и хотели было обрушиться на стучавшего выразительною бранью, как вдруг, к крайнему своему изумлению, услышали снизу знакомый им звонкий и резкий голос, крикнувший громко:

– Да отворяйте, что ли! Черти, дьяволы сонные!

– Ах, батюшки-светы! Да это никак сам Кузьма Иванович ругаться изволит! – засуетились воротные сторожа и побежали вниз отмыкать калитку.

Действительно, за воротами стоял старший княжеский ловчий Куземка Крылов.

– Наконец-то возвратился, Кузьма Иванович! Добро пожаловать! По тебе судя – и князь наш, кормилец, недалеко!.. Уж ведомое дело: где Кузьма Иванович, там и князь; где князь – там и Кузьма Иванович!

Между тем как сумрачный Куземка что-то бурчал сквозь зубы в ответ на приветствие привратников, вводя в калитку своего измученного коня, необычный стук в ворота и говор у калитки уже привлекли внимание челяди на Большом дворе, и со всех концов его,

изо всех флигелей и людских изб спешили и сбегались к воротам различные представители княжеской дворни, кто поспешно натягивая армяк, кто накидывая душегрейку. Куземку окружили, засыпали приветствиями и вопросами, на которые он отвечал, впрочем, очень лаконично, привязывая своего коня к коновязи, ослабляя его подпруги и заботливо вытирая суконкой, вынутой из тороков.

Весть о приезде Куземки Крылова тотчас разлетелась во все концы Большого двора, проникла в опочивальню княгини Авдотьи Ивановны, в покои князя Алексея... На крыльце показался Кириллыч; сам Матвей Иванович соблаговолил выйти на двор, подошел к Куземке и трижды с ним облобызался, справляясь о здравии государя всемилостивого князя Василия Васильевича.

– Князь за мною следом часа через три будет. Он меня вперед послал, чтобы матушкунягиню не напутать своим нечаянным приездом. Налегке сюда едет – наскоро. А обоз-то наш сюда через неделю только еще дотащится ли...

Эти сведения, прослышанные дворнею, по-

чтительно отступившею от беседовавших приятелей, подействовали на всех как электрическая искра. Прежде чем Матвей Иванович успел обернуться к людям и отдать им кое-какие приказания, все уже рассыпалось по своим углам, и во всем доме поднялась такая суматоха, такая усиленная, лихорадочная деятельность, о какой трудно дать даже и отдаленное понятие.

И между тем как Куземку во всем его дорожном безнравье торжественно повели сначала в покои княгини, которая из своих рук его потчевала медом и сама расспрашивала о князе Василии, а потом в покои князя Алексея, который тоже расспрашивал Куземку о князе и угостил двумя кубками вина, – на дворе мели и чистили, крыльца посыпали белым песком, дворню наряжали в лучшее платье. На кухне стучали ножами и готовили десятка два самых любимых княжеских блюд; а на погребе наряжали к столу княжескому самые дорогие вина в братины и кубки, как будто князь мог все это успеть отведать. В то же время не менее всех домашних князя суетился и причет его придворной церкви:

в церкви развешивали к образам праздничные пелены, зажигали лампы и свечи; перед настезь растворенными западными дверьми расстилали на паперти богатый ковер.

Когда часа два спустя примчался другой верховой и возвестил, что князь уже должен быть верстах в трех от Москвы, – на дворе и в доме князя все уже было готово к приему хозяина. Духовенство с крестом и святою водою в блестящих праздничных облачениях стояло у входа в церковь. Вся дворня была выстроена на дворе; на хоромном крыльце стояли сын Оберегателя – князь Алексей, дьяк Емельян Игнатьевич с хлебом-солью, тесть – боярин Стрешнев да еще человек пять-шесть приятелей и родственников. Теща, жена-княгиня и княгиня-невестка ожидали его на своей половине.

Наконец с ворот раздался крик: «Едет, едет!» Толпа девок хлынула от ворот в сторону, послышался топот коней, и князь в легкой немецкой дорожной полуколяске подкатил к распахнутым настезь воротам, окруженный почетною свитою из вершников и гайдуков,

которые, быстро спешившись, помогли Оберегателю выйти из повозки. Едва ступил он на землю, как шапки разом полетели с голов и все народное множество в один голос крикнуло: «Здравия князю Василию Васильевичу!»

Обнажив голову и приветливо раскланиваясь на обе стороны, князь Василий прежде всего двинулся к церковной паперти, набожно приложился к крестам и иконам и принял окропление святою водою; а потом уже повернулся к крыльцу... Князь Алексей встретил его слезами радости... Поднялся говор, восклицания, лобзания, объятия... Сама княгиня Авдотья Ивановна не выдержала солидной роли хозяйки дома и матери, не дождалась своей очереди и, против всяких правил и приличий, бросилась мужу на шею. И князь Василий крепко ее обнял и поцеловал...

Но не успели еще улечься впечатления радостного свидания, не успели разъехаться родственники и приятели, прибывшие для приветствования Оберегателя, как он уже позвал к себе в шатровую палату князя Алексея и дьяка Украинцева и заперся с ними для де-

ловой беседы.

– Ну? Как дела, Емельян Игнатьевич? – спросил князь Василий, усаживаясь в свое любимое кресло и оглядывая стены палаты.

– Кое хорошо, а кое и совсем худо, батюшка-князь! – уклончиво отвечал Украинцев.

– Ну, говори откровенно – что хорошо и что худо? За хорошее похвалю; за худое бранить не стану, – авось либо еще и поправить можно...

– Да вот в Немецкой слободе у нас неладно! – издалека начал ловкий дьяк. – Наехал сюда неведомо отколь иноземец Квилинко Кульман, – юродивый, что ли, там или так, Божий человек, – и мутит всю слободу... С попами люторского и кальвинского закону ссору затеял и езовитам тоже поперек горла стал: все на него гору несут, потому, говорят, от него многое прение бывает и он из ихней паствы многих в свою руку гнет...

– Ну это – в Немецкой слободе! А что в Преображенском – по соседству-то творится?

– Да там-то ничего... Кажись, все тихо было... Царь Петр отрыл какое-то суденко старое в амбаре да мастера сыскал, который то су-

денко строил и вычинил ему... Не растает-ся ни с мастером, ни с этим самым суденком-то...

– Ну пусть и тешится на здоровье! А больше что?

– Из Оружейной палаты, по его приказу, еще два воза всякого оружия свезли в Преображенское... Потешных там теперь многонько... Почти что два полка. Уж им и тесно стало в Преображенском; так в Семеновское часть их поместили...

– Ну это не дело! Тут из потехи не было бы помехи... Гм!..

– Князь Борис такую там забрал силу, что всем распоряжается и все у него как по струнке ходят...

– Ну еще бы! Человек он умный!.. А каково тут у царевны с царицею?

– Да как будто ничего. Вначале-то царица было посердилась на государыню царевну и даже тетушкам царевнам Татьяне Михайловне и Анне Михайловне жаловалась, зачем, мол, она вздумала в титуле с братьями писаться – ей это даром не сойдет, у нас, мол, люди есть... Однако после-то пообошлось...

– Тут наш Федор Леонтьевич чуть не наде-
лал всем хлопот... – решил вступить в бесе-
ду князь Алексей.

– А что ж бы такое? В чем дело? – обратил-
ся князь Василий к Украинцеву.

Украинцев рассказал о неосторожном по-
ведении Шакловитого во время похода царев-
ны в Преображенское и о тех мерах, которые
были там приняты против стрельцов. Затем
очень осторожно и уклончиво Емельян Игна-
тьевич сообщил Оберегателю, что к Шаклови-
тому в последнее время и приступу нет, что
он все водится с стрельцами, что приблизил к
себе из них самых отчаянных головорезов,
что просит у царевны разрешения вернуть из
ссылки тех, которые по его же указанию были
высланы из Москвы после казни князей Хо-
ванских.

Оберегатель, слушая это, нахмурил брови.

– Этому не бывать – напрасно Федор Леон-
тьевич и хлопочет! Я этого не допущу.

– Да то ли еще о нем рассказывают! – доба-
вил Емельян Игнатьевич. – Иное и расска-
зать-то страшно... Разве что попусту болта-
ют...

И, несмотря на эту оговорку, думный дьяк подробно сообщил князю все слухи о ссылках, о розысках и пытках, которым подвергал Ша-кловитый всех опасных и подозрительных ему людей, не дожидаясь на то указа государева.

Князь Василий слушал насупившись и не говоря ни слова. Украинцев не успел еще до-кончить своего доклада, как Кириллыч до-ложил, что князю принесли два письма и на од-но из них ждут ответа.

Князь Алексей приотворил дверь палаты, принял письма от дворецкого и передал их отцу.

Одно из них – письмо царевны – князь пробежал глазами и положил в боковой внутрен-ний карман; другое – четко и прекрасно пи-санное по-латыни – заключало в себе следую-щее: «*Illustrissima Celsitudo!*[11] Если вы не уделите мне сейчас же несколько минут ва-шего драгоценного времени, то вы в этом же-стоко раскаетесь. Тайна, которую я собираюсь вам открыть, должна быть передана вам без малейшего отлагательства. Только из глубо-чайшей преданности и по беспредельному

уважению к вам я решаюсь тревожить вас дурными вестями в минуты, столь необходимые для вашего душевного и телесного отдыха. Д-р Ш.».

Князь Василий попросил своих собеседников удалиться из палаты и приказал позвать к себе подателя письма.

Через минуту Кириллыч ввел в палату низенького человечка в больших зеленых очках, в немецком довольно поношенном кафтане, рыжего и с длинной рыжей бородой.

– Ваша высокоименитость! – сказал полатыни человек, низко кланяясь князю. – Вы не изволили узнать меня, потому что я нарочно переоделся для безопасности... Но вышлите вашего слугу, и я перед вами являюсь в моем настоящем виде.

Князь Василий кивнул Кириллычу, чтобы тот удалился и притворил дверь. Когда дверь была притворена, рыжий человек опасно оглянулся на нее, а затем снял с себя очки, парик и накладную бороду, – и перед князем Васильем предстал в виде хорошо известного нам дохтура Шмита.

– Не удивляйтесь моему переодеванию...

Если бы господин Теодор Шакловитый мог узнать, что я открою вам его тайну, мне бы не мешало заpastись духовным завещанием...

В ту минуту, когда мы говорим с вами, на загородном дворе Шакловитого большое собрание... И очень, очень тайное... Он раздает сегодня последние приказания тем лицам, которые должны действовать послезавтра на площади, у соборов, в нашем московском Кремле...

– Как действовать?! Что это значит!

– Не удивляйтесь, что вам это неизвестно, illustrissimus![12] Вы только что приехали и не успели еще войти во все тайны... а господин Теодор не ожидал, что вы вернетесь так скоро, и на послезавтра, на самое празднование Нового года, назначил коронавание цариц... во что бы то ни стало!

– Вы лжете! Вы меня обманываете. Как вы смеете! – вскричал князь, вскакивая в бешенстве со своего места.

– Если я вас обманываю, – спокойно произнес иезуит, – то ведь я в ваших руках, вы можете меня выдать как клеветника тому же Шакловитому... Но в том-то и дело, что я вас

не обманываю, а только хочу оберечь от неприятной неожиданности! Не забудьте, что если попытка и не удастся Шакловитому, то вас все же обвинят в соучастии с ним и даже скажут, что вы нарочно спешили в Москву, чтобы...

– Говорите, говорите скорее, объясните, что он затеял?

– Он и его приятели из стрельецких начальников сговорились нарядить на торжество человек по шестьдесят стрельцов, особенно преданных Шакловитому, из каждого полка и ко всем воротам поставить своих людей... При помощи этих молодцов Кремль будет заперт, а царям и патриарху будет вручено прошение стрельцов о том, чтобы короновать царевну...

– А если они не захотят принять прошение?.. Не захотят читать его?..

– Тогда решено их к этому принудить, схватив Нарышкиных и князя Бориса и сменив патриарха...

– И он задумал все это выполнить с горстью стрельцов! Безмозглая башка!

– Господин Теодор человек смелый! – язвительно

тельно заметил Шмит. – Он уже давно играет своею головою.

Но князь Голицын уже не слушал его; он быстрыми шагами ходил взад и вперед по палате, обдумывая, как ему поступить, что предпринять... Потом, остановившись перед Шмитом, он сказал ему:

– Если вы мне сказали правду, то оказали большую услугу. Я ее не забуду. Но нельзя терять времени... Прощайте!

Шмит поклонился князю, быстро вздел парик, наложил бороду, надел очки и проворно выскользнул за дверь.

А князь Василий велел позвать к себе Куземку и приказал ему немедля оседлать двух коней и вывести их задами к часовне.

– Да не забудь под чекмень надеть кольчугу и прихвати с собой запас, который посподручнее...

– Без запаса по ночам не ездим, – сурово отозвался Куземка.

Затем князь Василий обратился к Кириллычу, сказал, что желает отдохнуть, и никого не приказал пускать на свою половину; а сам, придя в опочивальню, отпер стоявшую в уг-

лу скрыню, вынул из нее превосходную персидскую кольчугу, надел ее под опашень, сунул за пазуху кинжал, а в глубокие карманы опустил пару турецких пистолей. Затем, накинув на себя легкую бурку и прикрыв лицо башлыком, князь вернулся в шатровую палату и тихо вышел из дому знакомою нам потайною дверью.

Через несколько минут он уже скакал во всю конскую прыть к Теремному дворцу в сопровождении своего неизменного Куземки.

XVIII

Возвращение князя Василия Васильевича Голицына в Москву было такою неожиданностью, что о нем не многие узнали в тот же день. Даже и на всеведущей «площадке» утром событие это было неизвестно, и Шакловитый, уехав прямо из дворца на свой загородный двор, не знал о прибытии князя Василия до самого вечера. Только уже вечером, когда стали у него собираться на окончательное совещание его приятели из стрелецких начальных людей, он услышал, что князь Василий возвратился.

– Черт его не в пору принес! – пробормотал Шакловитый себе под нос.

Он менее, чем кто-либо другой, ожидал, что князь Василий успеет так скоро управиться со своими хлопотами и поладить с мало-российскою старшиною. Еще не далее как в начале прошлой недели Шакловитый получил от него письмо, в котором князь просил его о разных делах и ни единым словом не упоминал, что думает вернуться к концу августа.

«Ну да благо уж у меня все готово, – подумал Шакловитый, – все налажено... Так он и сам в ловушку попадет! Запляшет небось по нашей дудке поневоле!»

В том же духе говорил он и со своими приятелями, когда они под вечер собрались у него в задних хоромах на последнее тайное совещание. Тут были налицо все те, которым были розданы наиболее важные роли в «действе» новолетия на 1 сентября: и рыжий Обросим Петров, и быстроглазый Ларион Елизарьев, и суровый Алексей Стрижов, и буйный Никита Гладкий, и Егор Романов, и еще человек десять стрелецких начальных людей, да человек пять подьячих, между которыми более других обращали на себя внимание Агап Петров да Матвей Шошин – высокие, здоровые и красивые ребята.

Весь этот люд сидел на лавках кругом стола, накрытого браною скатертью и заставленного всякою соленою снедью, оловянниками с пивом и медом и сулеями с вином. Гости сидели без чинов, наливали себе, не спрашивая хозяина, – каждому была душа мера. На одном конце стола Агап Петров, под надзором

самого Федора Леонтьевича, заканчивал на столбце общий список людей из стрелецких полков, назначенных в наряд к Кремлевским воротам на время «действия»; а Матвей Шошин переписывал на отдельные столбцы списки людей по полкам для передачи их в руки начальным людям.

– Ты сколько написал стрельцов к Никольским-то воротам? – спросил Шакловитый Агапа Петрова.

– А вот погоди, Федор Леонтьевич, сочту сейчас!.. Пятнадцать... двадцать, сорок – всех восемьдесят три человека...

– Ну и полно будет! А к остальным воротам – по сту?

– Нет, к Боровицким больше ста!

– Ну ладно... Оттуда, значит, и отбавишь для Никольских.

Агап принялся отсчитывать людей поименно и распределять по полкам, делая указание Шошину, между тем как Шакловитый поднялся со своего места и подошел к другому концу стола, где беседа становилась уже шумною и пьяною.

– Федор Левонтьич! Голуба моя! – обратил-

ся к нему порядком охмелевший Никита Гладкий. – Вот тут спор у нас идет... Как решишь ты?

– О чем же спор-то?

– А вот о чем! Вишь, этот Стриж-то говорит, что животов боярских не будет трогать, коли и побить бояр придется... А я-то говорю, что и в боярские дворы, и в лавки заглянем...

Шакловитый усмехнулся лукаво и подмигнул на Алексея Стрижова.

– Грабить никого не станем, – сказал он, – ну а если что под руку кому и подвернется – сыскивать не будем.

– Вот видишь, видишь! – набросился Никита Гладкий на Стрижова.

– Кто ж тебе мешает? Грабь, пожалуй, коли любо! – огрызнулся суровый Алексей Стрижов. – Я грабить не стану – я не затем пойду!

– Знаю я, зачем ты пойдешь! Чуть только наша возьмет, ты сейчас полезешь в Патриаршие палаты да перерубишь там все нового письма иконы да книги никоновские изорвешь...

– И порублю, и изорву – да! Это точно! – по-прежнему сурово отозвался Стрижов.

– А если там рызыщешь старую икону с *двуперстным-то*, так и прикарманишь ее, пожалуйста?! – засмеялись кругом Стрижова товарищи.

– За это не поручусь! – отозвался Стрижов, разглаживая свою черную густую бороду и отворачиваясь в сторону.

– Ну вот! – подхватил Гладкий. – Ты себе бери иконы старые! А я-то высмотрел близ моего двора, на Рязанском-то подворье, у боярина Бутурлина; больно добры и вески в конюшенной палате есть гремачих шестьдесят чепей... Уж их наверно приберу к рукам... Одну, пожалуйста, и тебе пожертвую на старую икону...

Все засмеялись, а Алексей Стрижов плюнул и отвернулся.

В это самое мгновение на дворе раздался громкий, ожесточенный лай собак, которые так и заливались, так и рвались на кого-то к воротам.

Смех и говор смолкли сразу...

– Кто бы это мог быть? – тревожно спросило несколько голосов. Все переглянулись между собою.

– Да здесь у нас еще двоих недостает: Андрюшки Бурмистрова да Ивашки Шестакова. Быть может, не они ли?

– Нет, братцы, это кто-нибудь чужой! – ответил Шакловитый, опуская на стол свою чару и прислушиваясь к лаю собак. – Да чего вы переполошились? Ведь нас никто рукою не достанет: везде поставлены такие сторожа, что не дадут никому ни спуску, ни пропуску, и будь не свой – затравят собаками насмерть.

Но он еще не успел договорить, как из-за двери показалась голова его брата, Любима Леонтьевича, который делал ему какие-то знаки.

– Да говори, что там такое? Здесь ведь все люди добрые – бояться нечего! – крикнул Шакловитый брату.

– У ворот какой-то конный... тебя желает видеть... говорит, что от царевны прислан с тайным поручением.

– Ну коли от царевны, так, верно, тоже свой человек? Введи его сюда! Да вели сначала всех собак на цепь посадить – а то ведь изорвут... Что бы это значило? – сказал Шакловитый, обращаясь к товарищам. – В такую

глухую ночную пору...

Никто не отвечал ему ни слова и не при- трагивался к кубкам. Молчание воцарилось такое, что слышно было, как сторожа разгоня- ли собак и сажали их на цепь, как заскрипели ворота, как застучали подковы коня по дере- вянной мостовой двора.

Через минуту дверь растворилась настежь и на пороге показалась высокая сановитая фигура в башлыке и бурке. Прежде чем Ша- кловитый и его гости успели всмотреться в вошедшего, тот ловким движением плеч сбросил с себя бурку, сдернул башлык, – и изумленным очам всей братии предстал не кто иной, как сам Оберегатель.

– Князь Василий Васильевич Голицын! – разом вскрикнули все сидевшие за столом и словно по приказу повскакали со своих мест и вытянулись в струнку...

Изумление и тревога были написаны на всех лицах. Шакловитый спохватился пер- вый.

– Добро пожаловать, князь Василий Васи- льевич! – нашелся он сказать, подходя к кня- зю с поклоном. – Какими судьбами в этукую

пору?..

– Видно, не в пору гость точно что хуже тарина, Федор Леонтьевич! – сказал, шутя и смеясь, князь Василий. – Вон посмотри-ка на своих гостей, как они мне рады – каждый, кабы мог, готов бы тыл мне показать... Проси их сесть – ведь мы не чужие с тобою!

– Садитесь, гости дорогие, – обратился Шапловитый к гостям, стараясь казаться бодрым, хотя голос ему не совсем повиновался. – Князь-батюшка, дозвошь нам выпить за твое здоровье и за счастливое возвращение...

– Спасибо! Но прежде того я сам выпью за твое здоровье и за здоровье твоих гостей! – сказал князь, подошел к столу и, налив себе вина в чару, высоко ее поднял над головою.

Все взялись за кубки и за чарки – и так и впились в него взорами.

– Тебе, Федор Леонтьевич, и твоим гостям, – звучно и громко сказал князь Василий, – здоровье нужнее, чем мне! *Пью за ваши головы* – чтобы вы их на плечах сносили!

Все дрогнули разом и отшатнулись от князя Василия. Чья-то чарка выпала из рук и звонко покатила по полу...

– Он все знает! – пронесся шепот между стрельцами.

– Что же вы не пьете? Федор Леонтьевич – и ты тоже? Или ты думаешь, что у тебя голова на плечах крепче держится, чем у других!

Шакловитый поставил свою чару на стол, скрестил на груди руки и, исподлобья взглянув на Оберегателя, проговорил медленно и глухо:

– Загадки загадывать изволишь, князь Василий Васильевич!..

– Нет, Федор Леонтьевич, это ты без меня загадал – да не вышло... Но с тобою я еще поговорить успею завтра; а теперь – к ним речь, к твоим гостям!

И, не удостоив внимания Шакловитого, князь обратился к стрельцам и подьячим и сказал им:

– Я знаю, зачем вы здесь собрались, и приехал вам сказать, что государыня царевна всех вас благодарит за верность и усердие к ней... Всем вам, стрелецким начальным людям, жаловать изволит по двадцать пять рублей на человека; а тем стрельцам, что у вас здесь на послезавтра назначены в наряд

(князь указал на бумаги, лежавшие на столе), по два рубля на человека. Но государыня царица *дела вашего делать вам не позволяет* и приказала вам сказать, что ныне царского венца воспринять не желает.

Глухой ропот прошел между стрельцами, а Шакловитый так и впился глазами в князя Василия.

– Не желает! – с злобной усмешкой сказал он. – Не желает! А когда же ты успел это услышать?

– Я успел услышать с-вечер; а ты услышишь завтра утром! – твердо ответил Шакловитому Оберегатель. – Завтра мы и будем говорить с тобою в комнате царицы... А вы, – повелительно обратился он к стрельцам, – вы помните, что слышали здесь от меня о воле государыни царицы. И если кто-нибудь из вас дерзнет ослушаться, тот помни, что я всех вас знаю именно и что ослушник не сносит головы на плечах. Помните, что не настало еще время ваше... Когда настанет – *я вам скажу; я сам вас поведу*... – воскликнул князь, ударяя себя в грудь, как бы в подтверждение своих слов. – Ну а теперь еще раз знайте –

пью за ваши головы!

И он, осушив свою чарку, поставил ее на стол; затем величаво повернулся к дверям, взял брошенные на лавку башлык и бурку и вышел из комнаты. Через минуту послышался лай собак, и скрип ворот, и топот коня на мостовой двора...

А Шакловитый и его гости все еще стояли около стола в каком-то оцепенении. Изумление и тревога были написаны на всех лицах. Агап Петров и Матвей Шошин, которым ближе всех пришлось стоять к князю Василию, были насмерть перепуганы и тряслись как в лихорадке.

Шакловитый тоже трясся, но от злобы, которая его душила. Его лицо было покрыто смертной бледностью, глаза дико блуждали по сторонам, ноздри раздувались, грудь тяжело дышала.

– И зачем я его не задушил! Зачем я не всадил ему ножа в бок! – прошептал он, судорожно сжимая кулаки и бессильно опускаясь на лавку у стола.

– Не много бы ты ножом сделал! – презрительно заметил ему Обросим Петров. – Разве

ты не слышал, как звякнула на нем кольчуга, когда он в грудь-то себя ударил?

Молчание было нарушено. Все заговорили разом.

– Кто же из нас предатель? – мрачно произнес Стрижов. – Тому бы нож-то всадить в глотку!

– Уж не Бурмистров ли? Или не Шестаков ли? Их здесь нет... – слышалось несколько голосов.

– Ну, за этих я ручаюсь, – сказал Егор Романов. – Я их сегодня видел: оба головы поднять не могут от перепоя...

– Но как же? Кто мог все это знать? Кто предупредил?

– И как ведь прыток! Сегодня только прибыл – и уж везде поспел!

– Да быть не может! Кто-нибудь ему еще в поход писал! Недаром же так вдруг он поспешил...

– Ну уж одно скажу вам, братцы! – воскликнул Никита Гладкий. – Одно скажу про князя Василя – молодец!.. Всем взял! Как есть орел! И поступка сановитая, и речь смелая! Сказал слово, так словно шестопером

ударил... Молодец!

Шакловитый все это время сидел молча, опершись локтями на стол и опустив голову на руки; он был совершенно убит неожиданным ударом, который разрушил всю его заてю... Он вспоминал каждое слово Оберегателя, вспоминал каждый шаг его, каждый оттенок его речи, и сердце его обливалось кровью и желчью. Немного спустя гости стали браться за шапки, прощаться с хозяином и разъезжаться. Каждый спешил в свой угол, и все так хорошо понимали душевное настроение Шакловитого, что ни один из них ни единым словом не напомнил ему о неудавшихся приготовлениях к «действию» предстоящего новолетия. Наконец за столом, кроме Шакловитого, остались еще только Обросим Петров, Ларион Елизарьев, Никита Гладкий, Алексей Стрижов и Кузьма Чермный. Все они пили молча, пили с каким-то остервенением, пили без роздыха, не обмениваясь ни словом, ни взглядом, точно старались потопить в вине свои черные думы – пили мертвую чашу.

Больше всех их пил Федор Шакловитый – и чем более пил, тем становился мрачнее. И

вдруг он устремил неподвижный, потухший взор в пространство и заговорил, как бы отвечая на чьи-то никому не слышные вопросы:

– Знаю, знаю, что не сносить мне головы на плечах! А ты-то сам сносишь ли ее? Так я, по крайности, уж и натешусь – я даром своей головы не отдам! Я и сам много голов снесу с плеч... Вон, посмотри, и эти, что за столом, сидят – все тоже без голов... Куда вы их девали, братцы!..

– Полно околесную-то нести! – сумрачно заметил ему Алексей Стрижов, хватая его за плечо и сильно встряхивая.

Шакловитый и точно как будто бы очнулся. Оглядевшись кругом себя, он поднял голову, обвел всех мутными, налившимися кровью глазами и, ударив кулаком по столу, вскочил со своего места.

– Не задалось! В руках была птица, да выпорхнула! – закричал он диким хриплым голосом. – Не робейте, братцы, будет и у нас ярмонка... Ему жаль стало своего братца двоюродного, кравчего Бориса Алексеевича, жаль стало Нарышкиных... Он, вишь ты, нежен очень – крови не жалуется! Ну так мы же ему

покажем! Здесь их пришибить не удалось, так в самое гнездо их проберемся – в Преображенское – да запалим его с четырех концов... Да и не только Бориску-пьяницу и всех Нарышкиных и самое медведицу-то старую убьем, а если даже... если сам царь Петр... вздумает их защищать... Он, говорят, охоч тушить пожары-то! И если вздумает тушить... или за них вступиться, так и его туда же!.. И всех их... Коли! Руби! Чтобы никому пощады... Слышите! Никому!.. Всех в лоск!..

Тут голос его оборвался... Силы не выдержали – и он грузно рухнул на стол, опрокидывая сулеи и братины; голова его опустилась на грудь, и он потерял сознание.

XIX

Действо новолетия было справлено торжественно и спокойно. Оберегатель своевременно принял такие меры предосторожности, что если бы даже Шакловитый и его сообщники вздумали упрямиться, то им бы пришлось самим попасться в ловушку. Но все эти меры оказались ненужными: Шакловитый и его приятели были совершенно озадачены тем, что их сокровенные думы были так легко разгаданы; они понимали, что борьба с Оберегателем была им не под силу, потому что на его стороне, во всяком случае, оказались бы люди всех партий, и Шакловитый с горстью своих стрельцов явились бы простыми мятежниками и нарушителями общественного порядка, с которыми, конечно, расправа была бы очень короткою.

Как отнеслась к этому София? Она знала о смелом и безрассудном замысле своего усердного поклонника и даже верила в возможность успеха его до тех пор, пока князь Василий не явился и не истолковал ей всего безрассудства подобной попытки. Его логиче-

ские доводы, подкрепленные более вескими доводами долго сдерживаемой страсти, сразу побудили царевну отвернуться от Шакловитого и представить князю Василию распорядиться в данном случае по усмотрению. Шакловитый, захворавший от всей перенесенной им нравственной передряги, не являлся во дворец несколько дней сряду; а когда явился, то встречен был такою ледяною холодностью, которая говорила ему слишком ясно, откуда опять подул ветер. Объяснений не требовали, и он был очень рад уже тому, что его по крайней мере избавили от унижительной роли ответчика; однако же доверие к нему было в такой степени подорвано, что все важнейшие дела пошли мимо его рук...

Но если не потребовала его к ответу царевна, то не так мягко отнеслось к нему боярство и весь тот люд, с которым ему приходилось ежедневно сталкиваться во дворце. На площадке не стесняясь толковали о том, что Шакловитого не мешало бы засадить в тюрьму, а о его злоумышлениях на государское здоровье следовало бы начать розыск.

С площадки слухи и толки, все возрастая,

переходили в разные слои городского населения, а с другой стороны, через приезжих боярынь, переносились и в кружок царицы Натальи Кирилловны, которая с некоторого времени не могла хладнокровно слышать имени дьяка Шакловитого и, не стесняясь, выражала уверенность в том, что рано или поздно он не минует плахи.

Но зато князь Василий, сумевший так ловко и твердо устранить грозившую общественному порядку опасность, сумевший оберечь государское спокойствие и здоровье, вдруг вырос в глазах большинства и сделался положительно героем дня. Никому даже и в голову не приходило, что Шакловитый был только неловким и не по разуму усердным исполнителем плана, набросанного князем Василием... Оберегателям были признательны даже в Преображенском. Даже и там его довольно ласково приняли и довольно охотно согласились на щедрые награды, которые по желанию царевны назначены были за Крымский поход Голицыну и подручным его воеводам и даже простым служилым людям.

Один только князь Борис понимал сущ-

ность дела яснее других, и, когда его приятели, осуждая и проклиная Шакловитого, старались доказать, что между ним и князем Василием нет и не может быть ничего общего, князь Борис сомнительно покачивал головою и говорил: «Оба хороши – одним миром мазаны! Только у одного – ума палата, а у другого и на подклете его не наберется – зато дерзости на всех нас хватит».

Осыпанный почестями и наградами, обласканный царевной, Оберегатель и после своего неудачного похода занял прежнее первенствующее положение при дворе Софьи; но во внутреннем мире его происходила никому не заметная перемена. Неудача и тяжелые удары его самолюбию, нанесенные за последнее полугодие, поколебали в нем веру в самого себя, открыли доступ сомнению в его гордую душу... Он перестал верить в свою постоянную, непоколебимую удачу. Ему уже не казалось более, что он сумеет один справиться со всеми окружавшими его затруднениями, что он преодолет все препятствия и до конца дней удержит за собою то высокое положение, которое он уже много лет сряду занимал

при дворе. Притом и его последнее свидание с Петром, и все то, что он о Петре слышал, убеждало его, что в этом юноше кроется светлый обширный ум и зреют громадные силы, еще не определившиеся, не нашедшие себе надлежащего выражения, но много обещающие в будущем... «Петр будет царем – и царем единодержавным; он не потерпит около себя ничьей власти! Он всех преклонит под свою грозную десницу...» «Бориско прав: дни царевны действительно изочтены... Много-много еще два года, и Петр властною рукою вырвет из слабых женских рук бразды правления и станет править сам... Что тогда будет с царевной? Что со мною? У его престола мне не найдется места! Но так ли думает царевна? Так ли смотрит она на Петра? Нет, она верит в то, что постоянно будет преобладать над братьями, что никогда не расстанется с властью, что разделит ее с Петром только для виду... Она не хочет заглянуть в будущее, не хочет в подрастающем юноше видеть созревающего мужа!» И не он ли сам, Оберегатель, внушил ей это? Не он ли обнадежил ее возможностью удержать за собою если не всю ее те-

перешнюю власть, то значительную долю ее... А она ему верила и верит – и в ее ошибках, в ее заблуждениях он же даст ответ Богу! Она возвела его на высокую ступень могущества, славы и богатства, она ничего не пожалела для его блага и счастья. А что он для нее сделал? Точно ли он был ее верным слугою, преданным ее другом, ее добрым советником! И на все эти тревожные вопросы он должен был себе ответить отрицательно; должен был сознаться, что тот самый Шакловитый, которого он осуждал и обуздывал, был прямее, был искреннее его, был преданнее его...

Вслед за этими мыслями ему приходили на память страшные, загадочные речи волхва, которые, отчасти по отношению к его походу, уже сбылись как предсказания. Действительно, поход был неудачен, и лучше было бы ему не ходить в поход и послать других вместо себя. Тогда на них бы легла вся ответственность за неудачу, которую он так неловко, так неискусно старался прикрыть и оправдать, сваливая всю вину на смещенного им гетмана Самойловича. И опять мысль тревожно устремлялась в будущее, а воображение

рисовало ему образ того же старого колдуна с его смелыми, глубокими, острыми глазами, и слышались его предсказания о грядущих бедах... «Неужели же и они должны осуществиться на деле и оправдаться так же, как оправдались его предсказания о походе?»

В то же самое время женский ум работал в совершенно ином, противоположном направлении. Царевна, ослепленная страстью к своему любимцу, забывала и о прошедшем, и о будущем – она всею душою жила в настоящем; и в этом настоящем она старалась отдалить от мыслей своих все то, что не имело отношения к предмету ее страсти; она способна была думать только о том, что в ее воображении составляло его ореол, украшало его, возвышало его значение, и вся отдавалась думам и заботам о его благе, его счастии, его выгодах и удобствах. Ее измышлением и промыслом, кроме обычных и в прежнее время награды – тяжеловесного золотого кубка с кровлею, золотного кафтана на черных соболях и увеличения оклада жалованья, – Оберегатель был награжден еще великолепною золотою медалью в триста червонцев, украшенною алмаза-

ми и на золотой цепи для ношения на шее. На одной стороне медали – изображение братьев-царей; на другой – одна София.

А на Большом дворе князя Василия, на половине Авдотьи Ивановны, вся ближайшая к княгине часть женского населения предавалась заботам совсем иного рода.

Неожиданный приезд князя Василия нарушил мирное течение жизни на Большом дворе, заставил всех выйти из обычной колеи, отвлек от хозяйственных забот, взбаламутил, вызвал толки, разговоры, предположения. И если от Куземки Крылова мудрено было добиться слова или даже ответа на заданный вопрос, то другие слуги, прибывшие из похода с Оберегателем, за словом в карман не лезли и в день успели столько наскзать чудес о претерпенных в походе страхах и бедствиях, что отголоски этих рассказов доносились даже и до самой княгини Авдотьи Ивановны через окружавших ее приживалок-богомощиц и наиболее доверенных лиц из женской половины дворни.

– Что это, матушка-княгиня, – говорила ей одна из любимых ее старух богомощиц, сидя

под вечерок в ее опочивальне на низенькой скамеечке около богатой княгининой кровати, – что это, княгинюшка, твой сокол-то ясный вернулся из похода невесел?

– Ума не приложу, Фоминишна! Кажется, и здоровья Бог дал, и в теле – в добрый час сказать, – и уж царской милостью так взыскан, что и господи! Что ни день, то новый посол из дворца, с новым жалованьем от великих государей... То вина заморского бочку прислали, то полдюжины стульев, крытых рытым бархатом, то кровать вчера государи пожаловали богатеишую... Ну, кажется, жить бы да радоваться! А он все хмурый да понурый ходит... Что за притча – и не понять!

– Уж не зазноба ли какая? Не черкашенка ли там приглянулась ему, не приворожила ли его? – пытливо допрашивала княгиню Фоминишна, видимо, желая уяснить себе мрачное настроение князя, чтобы принять против него какие-нибудь свои женские меры.

– Что ты, что ты, Фоминишна! – почти с досадою отозвалась княгиня. – Князя Василия мудрено нашей сестре приворожить... Он и сам великие присухи знает... А мне вот что

сдается...

– Ну, ну, что тебе сдается, матушка? – нетерпеливо перебила княгиню старуха, поддвигая скамью к ее изголовью.

– Мне сдается, Фоминишна, что князь-то мой испорчен.

– Испорчен! А кем же, матушка? И какая порча – надо бы дознаться.

– А как дознаться-то? Ведь он сам этого не скажет... Знаю я только от Алешеньки, что перед походом незадолго приходил к нему от царевны колдун и по руке ему гадал и про все, что с ним прилучится, говорил же... Ну с тех пор мы его веселым уж и не видали...

– Что ж он ему – бедами какими грозил... что ли?

– Ничего я не знаю и сказать не могу... Только Алешенька мне сказывал, что он этого самого колдуна и у царя Иоанна Алексеевича в покоях видал, как он там знахарствовал...

– Уж коли этот колдун при государе знахарствовал, так, верно, и на князя Василия Васильевича никакой порчи нагнать не может... А вот этот-то дохтур-немец, что из Немецкой слободы сюда ездит, вот этот-то

нехристь чего не дал ли ему выпить?

– Этот точно что князя Василия какими-то травами поил в позапрошлом году... Да неужли же от этого статья может?

– Еще бы, матушка-княгиня! – с полнейшим убеждением поспешила ответить Фоминишна. – Ведь он, нехристь, свои травы небось варил не благословясь!.. Ну да против этого, матушка, можно помочь... Есть такое средство... Четверговой соли под порог опочивальни князя Василия изволь насыпать (да чтобы он о том не проведал!) да его коробью с бельем прикажи тою солью с жаровни окурить. А к его угоднику на икону в ладонке молитву, какую я тебе дам, – на четыре конца крестом писана – и от сглазу, и от порчи исцеляет.

– Спасибо, Фоминишна, спасибо, голубушка! Принеси, принеси мне эту молитву-то... Да и сама за моего сокола ясного молись – не забывай! Моей грешной молитвы Господь не слышит; а я бы, кажется, готова на себя все беды принять, лишь бы он опять, голубчик мой, светел да радошен был по-прежнему...

– И-и, что Бога гневить, княгинюшка! Вер-

нутя опять красные дни... Будешь жить да любоваться на мужа и на деток глядя...

Тяжелый и глубокий вздох был ответом на пожелания Фоминишны.

О дорогих подарках и пожалованиях Оберэгателю площадка говорила несколько дней сряду, справедливо замечая, что никого и за победы так не награждали, как князь Василий награжден за неудачный поход. Более осторожные и более сдержанные люди сурово осуждали излишнее увлечение царевны; а сторонники князя Василия утверждали даже, что он и сам не знал, как отнестись к излившимся на него милостям великих государей...

Но более всех раздражен был наградами Оберэгателя Федор Леонтьевич, и без того уже пылавший гневом против князя Василия. В последних пожалованиях царевны он увидел новое доказательство равнодушия к себе, новое доказательство того явного предпочтения, которое царевна будто бы хотела именно ему, Шакловитому, поставить на вид.

– Так! Так! – твердил про себя Шакловитый. – Ништо тебе! Ему-то *все*, тебе-то – *дуля!*.. Это значит: ты, мол, дрянь, – за все твое усердие более того и не стоишь!.. Да только пого-

ди же, голубушка, и меня вспомнишь!.. И я тебе к именинам подарок подготовлю! Увидишь, что и Федор что-нибудь значит!

В день именин Софьи 17 сентября выхода в Теремном дворце не было: царевна была больна, лежала в постели и не принимала никаких официальных поздравлений. Однако же после обедни Петр приехал из Преображенского со своею обычною свитою, прошел на половину сестры, чтобы ее поздравить, был очень оживлен и весел, рассказал ей о том, что думает перевезти свою верейку на Плещеево озеро, что задумывает даже там построить новое большое судно, «если матушка дозволит». Затем, пробыв часа два в Москве, повидав и брата, и других сестер, и теток своих, Петр в сопровождении братьев Нарышкиных, князя Бориса и Никиты Зотова да почетной стражи человек в шестьдесят вершников и потешных конюхов двинулся обратно к Преображенскому. Все ехали верхами, не спеша, чтобы не мучить лошадей, потому что, несмотря на половину сентября, было очень жарко и солнце палило по-летнему.

– Как приедем, все пойдем купаться! – об-

ратился Петр к братьям Нарышкиным, снимая шапку и вытирая убрисом лоб, по которому пот катил крупными каплями. – А потом, отстояв вечерню, хочу еще сегодня в Немецкую слободу махнуть.

– Нет, государь, уволь всех нас! – заговорили Нарышкины. – Мы все сегодня обещали князю Борису, что будем к нему на ужин... У него, вишь, тоже именинница сегодня...

– Именинница? Кто же бы такая? Сестра или дочь – я что-то не слыхал, князь Борис? – обратился Петр к своему воспитателю.

– Да коли правду-то сказать, государь Петр Алексеевич, – отозвался смеясь князь Борис Алексеевич, – так и не сестра, и не дочь, а бочка романей, которая уж с год стоит в подвале непчатая. Она Нарышкиным покоя не дает... Вот я, чтоб отказать, и говорю им: ну вот, на Софью приходите ужинать – мы эту бочку и отведаем... Хе-хе!

Петр и Нарышкины расхохотались.

– Так если сегодня мне в Немецкую-то слободу не ехать, зови и меня к себе, князь Борис, и я твой гость! – сказал Петр.

Князь Борис погладил бороду и плутовато

посмотрел искоса на Петра.

– И рад бы звать-то! Да что матушка-то скажет мне завтра? Как начнет корить...

– Да ведь я ж не малолеток, – обиженным тоном отозвался Петр. – Меня уж кубком ренского не удивишь...

– Я не о том, государь, – спохватился князь Борис, – знаю, что ты не охмелеешь и от пяти кубков ренского, да того боюсь, что матушка-царица будет думать...

– Будет думать, что ты меня спаиваешь?.. Пустое! Ведь вот с немцами я пью же каждый раз, как в слободе бываю, и матушке я сказывал, и не бранила... Лучше пить на людях, чем за углом...

– Вестимо, государь! Так милости прошу пожаловать... Вот только этого не приводи с собою! – с улыбкою добавил князь, подмигивая на Зотова.

– Мосеича-то? А почему бы так?

– Он гость невыгодный! Один всю бочку опорожнит! Нам не останется! – заметил Федор Нарышкин.

– Вот еще! – забасил Никита Зотов. – Стану ли я себе утробу наполнять вашею заморскою

дряню? Князь Борис, мне чтоб была настойка та самая, помнишь... заветная! А то и вправду не приду.

И в этих шуточных разговорах они стали приближаться к Преображенскому. До села оставалось не более полуверсты. Но едва только всадники достигли того места пути, где густой сосновый бор с обеих сторон подходил к самой дороге, как лошадь Петра насторожила уши, стала храпеть и коситься в сторону леса, потом вдруг шарахнулась так неожиданно, что Петр едва усидел на ней, и понесла к Преображенскому. Все спутники царя приударили за ним следом и, мигом нагнавши его, вскачь подскакали к воротам околицы.

– Что бы это значило? – спросил Петр у князя Бориса, слезая с лошади у дворцового крыльца. – Кажется, никогда она не бывала пуглива, а вдруг какого козла дала!

– Лошадь старая, еще батюшке твоему в отъезде поле служила, – отвечал князь Борис.

– Должно быть, зверя близко от дороги почувяла: ведь их тут по островам-то немало ры-

щет...

Но странно сказать! Какое-то сомнение запало в душу князя Бориса. «Может быть, зверь, а может быть, и человек такой, что хуже лютого зверя?» – подумал он, направляясь к своему флигельку. Когда он подходил к крыльцу, то увидел свою любимую собаку Угорая, которая лежала вытянувшись на солнце. Князя Бориса поразило то, что Угорай еще издали не почуял его приближения, не бросился к нему; но, подойдя к собаке, князь Борис понял, в чем дело... Собака лежала широко раскрытыми мутными глазами навывкате, вся ее морда была в пене, ее тело вытянулось в последней, предсмертной судороге.

Князь Борис крикнул слуг, стал допрашивать, и те после долгих уверток и разных уклончивых ответов решились наконец сказать ему, что через село проходили после обеда какие-то нищие и что собаки не давали им проходу, а потом и приумолкли...

– Ну!

– Должно быть, они их обкормили, батюшка-князь, потому ведь и другой-то цепной наш пес издох же...

– Как?! И тот тоже?

Слуги молчали, ничего не отвечая на восклицание князя.

– Хороши вы все, как посмотрю! Как смели этаких мерзавцев проворонить? Ну погодите же: я завтра рано утром так угощу вас батожьем, что вы и внукам закажете, как за боярским добром смотреть следует!..

И разгневанный, раздосадованный этим эпизодом князь Борис вошел к себе в дом, занятый вопросом: что бы могло значить это отравление его собак? Тут не могло быть простой случайности – тут была явная преднамеренность, явное желание избавиться от верных и докучных стражей дома. «Кто же это? Холопям, что ли, это нужно, чтобы ночью было им свободнее, – или это воры со стороны прокладывают ко мне дорожку? Ну коли простые воры – добро пожаловать! Так примем, что в другой раз сюда ходить неповадно будет».

И перед тем, как идти к вечерне, князь Борис сделал все необходимые распоряжения относительно ужина, а после службы сам обошел кругом дворца, осмотрел все караулы, в

своём саду расставил сторожей и в шутку, заглянув в жилые избы потешных, намекнул, что царь Петр Алексеевич к нему сегодня на ужин пожалует, а потом, как с ужина домой пойдет, так к ним заглянет и сделает тревогу – посмотрит, как они спохватливы и как проворны, когда их со сна подымешь...

– Спасибо, князь-батюшка! – загалдели в ответ ему потешные. – Спасибо, что сказал нам! Мы теперь и глаз не сомкнем!

Спустились сумерки на Преображенское. Мало-помалу смолкла в нем обычная жизнь: затихла дневная суэта. Все разошлись по домам; в окнах дворца и окрестных домах засветились огоньки. Улица опустела и стала окутываться темнотою, которую как будто наносило от соседних лесов; с реки потянуло сыростью – над нею встал туман и белым пологом окутал ближайшие постройки. Вот наконец и огоньки в окнах домов стали потухать один за другим, и дворец погрузился в мирный сон. Мрак воцарился всюду. И ночь, после ведренного дня, была холодная и темная-претемная: ни звездочки не видно было на небе... Только

в одном флигельке князя Бориса, который стоял отдельно от других, окруженный фруктовым садом и службами, все окна были ярко освещены и открыты настежь, и из них далеко разносился веселый говор и звонкий смех гостей, собравшихся к князю на ужин, который благодаря радушию хозяина позатянулся далеко за полночь...

А между тем за оградой сада, в той части леса, которая отделялась от него лишь небольшой полянкой, между кустов опушки копошились в темноте какие-то мрачные фигуры и шепотом вели между собой беседу.

– Теперь уж наши там, на сеновале...

– Вон и Ларька пополз туда же... к амшенику... Там запустит красного петуха, – прошептал другой голос. – Тогда, вишь, с трех сторон обхватит дом-то Бориски...

– А кто на сеновале?

– Кто ж, как не Микитка Гладкий! Сам вызвался... А на конюшне Куземка Чермный.

– Ну слушайте же, братцы! Как займется пожарче да пойдет чесать... Чур, не зевать! Все разом туда, к крыльцу!.. Да двери на запор! Пока сбегутся да суета поднимется – всех

разом порешим! Не отставать – за мною всей кучей!.. Где я – там вы. И маху не давать!

– Не бось, Обросим Петрович! – отозвалось в темноте несколько голосов. – Охулки на руку не положим!

И все опять смолкли в ожидании. Вдруг в темноте из-за деревьев что-то сверкнуло, зашумело... Над одной из крыш в двух местах мелькнул огонь. Красноватые языки пламени показались из-под стрех, потом разделились еще на несколько языков, синими огоньками пробежали по соломенной крыше – и сеновал загорелся, как свечка, освещая одну сторону дома князя Бориса. Почти одновременно огонь показался и с другой стороны, в нескольких шагах, на крыше конюшни, которая также вспыхнула разом, обливая ярким светом окрестность и освещая до малейших подробностей каждое деревцо сада, каждое бревно в ближайших домах.

– Пожар! Пожар! Горим! – раздался отчаянный вопль всполошившихся людей, которые вдруг засуетились и забегали, как мураши, во дворе князя Бориса, без толку бросаясь во все углы. «Пожар! Огонь!» – отдалось по всему се-

лу, словно из одной груди, между тем как зарево заиграло в ночных облаках и кровавым отблеском отразилось на крестах дворцовой церкви.

Поднялась та ужасная суматоха, которая и составляет главное бедствие пожара. Народ сбегался отовсюду, кричал, шумел, толкался, суетился около горящих зданий и ничего не делал, чтобы остановить быстрые успехи огня... Но суматоха продолжалась недолго. Из первых на пожар явился князь Борис с гостями и с ними Петр.

Пока Нарышкины побежали во дворец, чтобы успокоить царицу, а князь Борис с остальными гостями бросился к конюшне, помогая людям поскорее выводить лошадей, Петр мигом подбежал к избам потешных и поднял там тревогу. Через минуту, по барабану, двести человек разом высыпали на площадь перед городком и построились в правильные шеренги.

– Вперед! За мной! – звучал как труба среди общего шума молодой звонкий голос Петра. – Воды сюда! Крючьев! Лестниц! Ломай, круши все кругом, что не горит!

И с топором в руках он лез в самый огонь, он всех вел за собою, он указывал, он повелевал... Он был прекрасен и страшен. Его дядька Никита Зотов вздумал было сунуться к нему и закричать:

– Государь! Побереги себя – ведь там сторишь!

Но Петр крикнул на него: «Прочь!» – одним ударом кулака сбил его с ног и полез дальше... Впереди всех, работая за десятерых, он подрубал стропила, разбрасывал горящие бревна! Никто из окружающих уже не смел его удерживать: в нем вдруг сказалась та страшная стихийная сила, которая потом проявлялась во всех его делах, в его неотразимой, железной воле. Горящие здания оцепили, мигом разрушили кругом их все службы и заборы, по совету иноземцев установили до реки двойную цепь людей, передававших ведра из рук в руки (как в их городах бывало на пожарах), и быстро совладали с огнем. Сгорели только две пелевни да конюшни и флигелек князя Бориса, который с двух сторон охватывало пламенем... Два часа спустя на месте горевших зданий дымилась и тлела гряда обго-

рельх бревен, которую усердно поливали и растаскивали потешные.

Только тут, когда миновала всякая опасность, Петр почувствовал утомление и сдался на уговоры окружающих, которые советовали ему удалиться с пожарища и опочить от трудов. Князь Борис и братья царицы уверили Петра в том, что они до света не сомкнут очей, сделают все распоряжения, необходимые для общей безопасности, и проводили его до дворцового крыльца. И точно: Федор и Мартемьян Нарышкины, посадив на-конь человек пятьдесят потешных, устроили кругом всего села разъезды и сами поехали во главе их; а Лев Кириллович и князь Борис, убедившись в том, что потешные деятельно наблюдают за пожарищем, решились переночевать в амшенике...

По их приказу холопы натаскали туда сена, накрыли сено коврами и попонами, и бояре с большим наслаждением протянулись на этом мягком ложе.

Первым словом Льва Кирилловича к князю Борису было:

– А ведь это поджог?

– Вестимо!.. Недаром же они, злодеи, и собак моих перетравили!

– Они небось еще с утра сюда забрались и дожидались ночи, чтобы все село спалить...

– И это дело Федькиных же рук... Он, окаянный, затеял всю эту штуку! Да штука-то не удалась! Уж очень ловко тут царь Петр потешными огонь-то потушил... А только это верно, что Федька подослал сюда своих головорезов – чтобы похозяйничали среди пожарной суматохи. А там: сгорело все, и след простыл... И концы в воду!

– А что ты думаешь! Пожалуй, что и так.

Не успел Лев Кириллович произнести этих слов, князь Борис крепко схватил его за руку и шепнул ему:

– Слышишь... там кто-то дышит в углу?!

Нарышкин затаил дыхание, и точно – услышал в темном углу амшеника какой-то странный шорох...

– Да это мышь! – сказал он.

– Не мышь, а красный зверь! – вдруг вскрикнул князь Борис, должно быть, уже успевший разглядеть фигуру человека, притаившегося в углу, и, быстро вскочив на ноги,

мигом устремился туда.

Нарышкин услышал борьбу, возню, глухие удары, кряхтенье и голос князя Бориса, который хрипло и злобно говорил:

– Врешь... не вывернешься... шалишь... не выпущу... не увернешься!..

И опять хрустели суставы... и опять слышно было чье-то хрипение и возня... Наконец чей-то глухой стон...

– Вот так-то! Лежи смирней, не то я тебе коленом грудь раздавлю... Лев Кириллович! Давай сюда кушак... вяжи злодея...

Все это произошло так быстро, что Нарышкин не успел даже отдать себе отчета в том, что около него происходило... Через минуту он вместе с князем Борисом туго-натуго уже крутил руки какому-то человеку, которого князь Борис, сильный, как медведь, держал за горло, став ему на грудь коленом.

– Ну, Лев Кириллович, давай теперь сюда огня! – сказал князь Борис, поднимаясь с земли. – Кажись, мы языка поймали... Только смотри не растревожь там никого, пока мы здесь его сами не допросим!

Вскоре Нарышкин вернулся с фонарем, и

при свете его бояре увидели в углу рослого и здорового мужчину в сермяжном кафтане, суконных портах и высоких сапогах. Шапка-курпейка валялась около него на земле. Волосы и борода его были страшно включены, лицо покрыто смертной бледностью... Глаза блуждали испуганно... Грудь тяжело дышала...

– Ба! Ба! Ба! – воскликнул князь Борис, взглядевшись в лицо лежавшего на земле. – Старый знакомец! Да! Это Ларька Елизарьев, стрелецкий пятисотный... Я говорил тебе, Лев Кириллыч, что подожгли нас Федькины головорезы!

Ларион Елизарьев лежал на земле ни жив ни мертв.

– Ну, приятель, – сказал князь Борис, ставя фонарь на землю и складывая на груди руки, – ты, видно, лез в овчарню, да попал на псарню... Так говори уж – все равно! – как было дело? Кто тебя послал?

– Прости... помилуй... смилуйся, боярин! Да ради жены и малолеток... отпусти душу на покаяние...

– Ты мне дело говори, а не Лазаря пой! –

гневно произнес князь Борис. – Все равно заговоришь завтра, как примутся за тебя заплечные мастера! Кто подослал тебя? Кто был еще с тобою?

– Все скажу, батюшка-князь, во всем покаюсь... и такое тебе открою, что никому не ведомо... отпусти только меня... смилуйся!.. Век тебе служить буду, не забуду твоей милости!

И Ларион Елизарьев все по порядку рассказал князю Борису и Льву Кирилловичу.

Выслушав его исповедь, бояре отошли от него в противоположный темный угол амшеника и долго еще совещались между собою.

Насмерть перепуганный Елизарьев слышал только долетевшие до него слова князя Бориса:

– Я говорю тебе, Лев Кириллович, что еще не время с ними начинать...

И потом опять после разных возражений Нарышкина:

– Всегда его успеем вздернуть, а теперь пусть нам послужит... Пригодится...

Вероятно, князю Борису удалось склонить боярина на сторону своего мнения, потому что они оба снова подошли к Лариону Елиза-

рьеву, развязали ему руки, принесли ему перо и бумагу и заставили его что-то долго и много писать и скрепить написанное своею подписью. Взяв из рук его эту бумагу, князь Борис сказал ему:

– Ну, видно, так Бог судил, чтобы тебе еще пожить на свете! Но знай и помни, что жизнь твоя у нас в руках и что от нас не укроешься на дне морском – везде разыщем! Коли сослужишь службу верную, без всякого шатанья – будешь награжден щедрее щедрого; а чуть задумаешь хвостом вилять – очутишься на плахе! Слышал?

– Слышал, батюшка-князь! И заслужу твоей милости – твоих злодеев и врагов не укрою! – бормотал, все еще трепеща всем телом, Елизарьев, кланяясь боярам в ноги.

На рассвете князь Борис вывел его, вместе с Нарышкиным, через свой сад за околицу и указал ему дорогу к лесу.

Князь Василий и царевна София, прослышав о подробностях Преображенского переполоха, ни на одну минуту не усомнились в том, что это дело не миновало рук Федора Леонтьевича, и решились во что бы то ни стало на время удалить его из Москвы. Ему придумано было почетное поручение: боярам поставлена на вид необходимость отправить Шакловитого в малороссийские города для наблюдения за действиями нового гетмана Ивана Мазепы.

Все еще злобствуя на Оберегателя, Шакловитый, однако же, был почти признателен ему за ловко придуманный для него выход из положения, которое становилось затруднительным и даже небезопасным; к тому же эта поездка на юг с тайным и важным поручением от лица великих государей сулила ему в малороссийских городах торжественные встречи, радушные приемы, обильное угощение и богатые подарки – сулила полное удовлетворение оскорбленному самолюбию и дьяческой корысти.

Когда Шакловитый уехал, Оберегатель вздохнул свободнее. Он начинал надеяться, что в отношениях между царевной и «преображенскими соседушками» наступит довольно продолжительное и давно желанное затишье...

Но как раз в это время случилось одно, в сущности, весьма незначительное событие, которому, однако, суждено было в будущем оказать громадное влияние на историю России, а в настоящем – изменить установившуюся систему отношений «преображенских соседушек» к царевне Софье и ее партии.

Несколько дней спустя после отъезда Шакловитого, поздно вечером, князю Василию доложили о том, что его желает видеть комнатный служитель царевны Степан Евдокимов.

Степан Евдокимов, когда-то служивший в стрельцах, а после 1682 года взятый царевною во дворец, успел очень быстро втереться в ее доверие и, несмотря на свою скромную должность истопника, умел приобрести большое влияние и значение при дворе.

Хитрый, ловкий, пронырливый Евдокимов

превосходно знал все тайны Теремного дворца и умел их хранить, а при помощи своих агентов успевал всегда первый узнавать обо всем, что происходило при дворе царицы Натальи Кирилловны.

От времени до времени Евдокимов являлся с докладом о важнейших новостях на Большом дворе Голицына, и князь Василий умел щедро награждать умного вестовщика. Он и встречал Евдокимова обыкновенно вопросом: «Что новенького?» С этим же вопросом обратился он к нему и теперь.

– Что, батюшка-князь, новенького? Ничего новенького – все по-старому, как мать поставила... Только вот разве что благоверный государь Петр Алексеевич из Преображенского укатил с немцами на переяславское озеро – кораблями тешиться. Так вот матушка-то царица очень за его государское здоровье опасается и задумала его к дому привязать... женить его ладит...

– На ком же? Как слышно?

– Да говорят, будто на дочери ближнего окольничего Илариона[13] Абрамова Лопухина – красавица да скромница такая... Месяца

через два и окрутят молодца... Говорят, что уж полно ему гулять – пора ему во все дела государские вступаться...

– Кто же это говорил? – не без тревоги спросил Оберегатель.

– А вот на прошлой неделе как у них там домашний совет был, так решили, что царь Петр с нынешней зимы и в Думе заседать станет, и во все сам входить... А на другой день после того совета князь Борис Алексеевич и Лев Кириллович и у святейшего были, и с ним совещались тайно, и святейший будто бы очень на царевну и на тебя гневался... Им будто бы сказал: «Я их на чистую воду выведу».

Из дальнейшей беседы оказалось, что этими сведениями и ограничивался весь запас свежих новостей Степана Евдокимова; убедившись в этом, Оберегатель велел угостить его старым медом, а серебряный ковш, в котором мед подносили, приказал ему положить за пазуху.

Но из немногого сообщенного Степаном Евдокимовым Оберегатель вывел совершенно правильное заключение, что «преобра-

женские соседушки» хотят от слова перейти к делу и что от них следует многого ожидать и опасаться, тем более что им удалось и святейшего патриарха склонить на сторону политики действия... Предположения князя Василия на другой же день получили себе подтверждение.

Во время утреннего приема в Теремном дворце, перед боярским сиденьем, когда Обергатель читал царевне письмо сверженного константинопольского патриарха Дионисия, умолявшего великих государей поспешить избавлением христианства от турок, – царевне доложили, что святейший патриарх Иоаким желает ее видеть и беседовать с нею о важном деле.

Вскоре после того дверь из передней в комнату царевны отворилась настежь, и государь патриарх, поддерживаемый под руки своим ризничим Акинфием и келарем, переступил порог комнаты, благословляя правою рукою, а левою опираясь на превосходный резной посох из слоновой кости.

Царевна поднялась навстречу патриарху и поспешила к нему под благословение. За нею

подошел Оберегатель и все бывшие в комнате лица, между тем как стряпчие царевны пододвигали патриарху кресло и ставили рядом с креслом царевны.

Иоаким опустил в кресло, передал посох келарю и оправил на груди своей драгоценную панагию, осыпанную крупными рубинами и изумрудами.

После обычных приветствий и вопроса со стороны патриарха «о здравии», а со стороны царевны «о спасении» патриарх, обратившись к царевне, сказал:

– Тяжкие времена приходят, государыня! Змий главу подъемлет! За батог и жезл пастырю Церкви Российской приняться должно – ран требуют непокорные... Скорблю о том, что приходится мне бить челом тебе, великая государыня, на людей тебе приближенных, но вынужден твоего суда над ними требовать, прежде нежели сам предам их в руки судей «градских»...

– Святейший отец патриарх, – почтительно ответствовала царевна, – назови мне дерзновенных, и суд мой не замедлит...

– Знаю твое усердие к Церкви Божьей, бла-

говерная царевна, и тольми паче скорблю, что ближние тебе люди не следуют твоему примеру и дерзают посягать на власть, дарованную мне Всемогущим Богом и утвержденную великими государями. Бью челом на старца Селиверста и на окольничего Федора Шакловитого.

Софья, не ожидавшая такого прямого нападения на одного из ближайших к ней людей, вспыхнула и проговорила не совсем спокойно:

– В чем же вина окольничего Шакловитого, государь? Объяви, я желаю знать...

– Вины его предо мною многие и великие, государыня, но и терпение к прегрешениям его у меня немалое. В силу данной мне власти я бы мог требовать суда над ним; но, зная, коль он полезен тебе, государыня, прошу лишь о строгом внушении ему и наложении на него наказания, какое заблагорассудишь. Посуди сама, великая государыня! В прошлом, государыня, в сто девяносто пятом году, по зиме сысканы были в Спасском монастыре у дьякона Афанасья да у чернеца Семииона тетради, писаны полууставом, подлежа-

щие к расколу, и я приказал того дьякона и чернеца взять и к себе привести и о тех тетрадах расспросить. И стрельцы окольникового Шакловитого, его поноровкою, по согласию со старцем Селиверстом, тех людей не сыскали. Когда же Шакловитый по указу великих государей из Москвы в малороссийские города отбыл, Стрелецкого приказа подьячий Петр Исakov тех людей к моему тиуну привел. И они показали, что укрыты были по приказу Шакловитого, а тетради получили от старца Селиверста...

– Государь святейший патриарх, – нетерпеливо перебила Софья, – это дело требует розыска, и, когда окольниковый Федор Шакловитый вернется...

– Дозволь мне речь мою окончить, государыня! – с неудовольствием заметил патриарх. – Не велики бы вины Шакловитого, кабы он только этою поноровкою повинился да укрывательством Селиверстовых блудописаний. Но он дерзнул без моего ведома сослать верховного дьякона Никифора в Сибирь, в Дауры, а за какую вину – неведомо; и к митрополиту грамоту послал, якобы по указу великих

государей и по моему патриаршему благословению. Значит, и грамота вся писана облыжно?

София, видимо, затрудняясь ответом на прямо поставленный вопрос, только покачала головой. Затем, обратясь к патриарху, произнесла почтительно:

– Будь уверен, государь, что я велю об этом деле строгий розыск учинить. Князь Василий Васильевич, разыщи немедленно об этой грамоте, что от имени великих государей и государя патриарха в Дауры отправлена?

Князь Василий Васильевич молча поклонился, а патриарх продолжал:

– Вот и о старце Селиверсте речь поведу. За все его писания придется мне, великая государыня, его обуздать. Вижу я, что с ним добром не кончишь: мужи смиренные ему от Святой Отец Церкви внушают, а он только лается да силлогизмами и аргументами им отвечает. Я уже приказал удалить его из справщиков; а если не уймешь его, государыня, то предам его суду церковному.

– Постараюсь слабым словом моим направить отца Селиверста на смирение и прекло-

нение перед твоим архиерейством, – сказала Софья, видимо стараясь поскорее покончить неприятную для нее беседу с патриархом.

– Но и это еще не все, – продолжал Иоаким. – И около тебя самой, государыня, вижу плевелы сеющих: вижу мужей именитых, волхвованиям верующих, воле Божьей гаданиями посмевающихся... Вот, объявилось у меня на сих днях в палатах подметное письмо, и в нем все волхвы в Москве сущие названы именно, и все волхвования их исчислены. Там и твой холоп, князь Василий Васильевич, в волхвованиях и чарах уличается, и говорится о нем, что он всякими кореньями промышляет... и даже – страшно сказать! – будто и тебе те коренья давал...

– Это клевета, святейший отец патриарх! – воскликнул князь Василий, стараясь скрыть свое волнение. – Ни с какими волхвами я никогда не водился!..

– Верю тебе и велю поближе расследовать дело... Пошлю за тем холопом... Акинфий, там в письме, кажется, и вотчина князь Васильева указана, где тот волхв живет... Как бишь ее?

– Село Большие Можары, – пробасил Акинфий, наклоняясь к Иоакиму.

– Ну вот, видишь, князь Василий!.. Пошлю, пошлю туда, велю его забрать и допросить, чтобы на тебя не смели клеветать... Знаю, что ты добрый сын церкви; но и я, как пастырь добрый, должен плевелы выводить, дабы не заглохло на ниве семя доброе.

И с этими словами патриарх поднялся со своего места, благословил царевну и князя Василия и, поддерживаемый под руку ризничим и келарем, медленно вышел из комнаты в переднюю.

«Не долго же дули тихие ветры! – думал князь Василий, возвращаясь из дворца домой. – Теперь жди от них всяких напастей и пакостей! Пока есть время, надо принять меры!» И в тот же вечер прикачал к себе в Шатровую прислать Куземку.

Куземка Крылов – кстати сказать – был человек исполнительный: князь Василий знал, что ему можно было смело доверить всякое поручение и ожидать, что он, если жив будет, поручение выполнит. Притом он принадлежал к той (давно уже вымершей) породе старинных русских слуг, которые не отделяли своих интересов от интересов барских и сжились со всеми привычками, недостатками, прихотями, даже пороками своих бар, потому что никак не могли представить себя чем-то отдельным от них, а только «кровью от крови» и «плотью от плоти» их. К этим общим свойствам чистокровного боярского холопа в Куземке Крылове примешивалось еще и особое чувство глубочайшей признательности к князю Василию за избавление его, Куземки,

от великих бед и напастей. Дело в том, что Куземка, выросши при дворе князя Василия и постоянно находясь при особе молодого боярина, вдруг на двадцать пятом году задурел: влюбился в поповскую дочку и задумал на ней жениться. Поповна была не прочь за него выйти замуж, но ее отец и мать воспротивились этому браку и тут же просватали ее за причетника в своем же приходе. Куземка поповну выкрал и ушел с нею в беги... Отец с матерью долго разыскивали беглецов, наконец разузнали об их местопребывании, явились к ним со стрельцами и с понятыми, отняли у Куземки свою дочку, а его засадили в тюрьму. Куземка подкупил сторожей и бежал из-под затворов. Поп с попадьей не успели вернуться домой: на одном из постоянных дворов под Москвою они были ночью зарезаны, а дочка их пропала без вести. Прошло лет с десять, и о Куземке не было ни слуху ни духу... В бытность князя Василия в малороссийских городах во время каких-то военных действий против турок и татар князь потребовал от Самойловича, чтобы тот дал ему надежного человека для выполнения весьма опасного по-

ручения. Нужно было проехать верст пятьдесят по местности, в которой хозяйничали крымцы, перебраться за Днепр на турецкую сторону, собрать там сведения и вернуться тем же путем назад... Гетман приказал кликнуть охотников. Вызвался на это смелое дело только один молодец и выполнил поручение блистательно. Князь захотел видеть этого смельчака и наградить его из своих рук. Каково же было его удивление, когда приведенный к нему казак вдруг повалился ему в ноги и прошептал:

– Батюшка боярин! Не погуби...

Смельчаком оказался Куземка. Он отказался от всяких наград и молил только о том, чтобы князь принял его под свою защиту, дозволил ему ездить у своего стремени и опять у него быть на службе. Князь Василий охотно принял его к себе, не расставался с ним ни в походах, ни во время пребывания в Москве и не раскаялся в том, что его к себе приблизил: Куземка был предан ему как собака, был готов за него и в огонь и в воду. Притом Куземка, видимо, не потерял даром тех десяти лет, которые он провел в бегах: он прошел хоро-

шую школу! Побывав и на Дону, и в Запорожье, и в разных концах земли русской, отлично умел владеть и конем, и оружием, мог свободно не спать по несколько ночей подряд, пробираться по степям и лесам безо всяких дорог... Словом, он был для князя Василия слугой незаменимым.

Когда Куземка явился к князю Василию, тот сказал ему:

– Завтра чем свет поезжай в село Большие Можары, свези к приказчику грамотку на продажу тамошних пожен соседу моему, дворянину Лыкову, а которые за это получатся деньги – привези сюда ко мне.

Куземка слушал молча, выжидая, что будет приказано далее... Он понимал, что его посылают не для передачи грамоты и получения денег за пожни.

– Да там же, в Больших Можарах, живет на моей земле холоп мой Васька Иконник, тот, что лет пять тому назад здесь у меня в Москве жил и кормился коновальством... Ты его знаешь?

– Колдуна-то? Как не знать? Его там на сто верст кругом все знают.

– Так вот, скажи ему, чтоб он сейчас же убирался вон оттуда, коли не хочет попасть в застенок и угодить на Болото! За ним приедут отсюда и его захватят... Пусть тотчас уходит в беги... и скроется в такой трущобе, чтоб ни слуху ни духу не было о нем...

– А ежели он не захочет в беги? Он ведь – мужик богатый... И борти там у него, и мельница своя же...

– Так тогда его схватить сейчас же и припрятать куда-нибудь подальше... И как приедут отсюда... для сыску и допросу... сказать, что без вести пропал... Понял?

– Как не понять? Припрячем! – мрачно отвечал Куземка.

– Туда, пожалуй, верст двести наберется... Так ты для скорости везде по вотчинам моим бери себе коней с моей конюшни. Да живо...

– Послезавтра и на месте будем.

Князь выдал Куземке из ларца грамоту, сунул ему в руки небольшой сверток с деньгами и сказал:

– Коли все толково справишь – еще награжу.

– Много доволен твоею милостью, – отве-

тил Куземка и, отвесив низкий поклон, скрылся за дверью.

И точно – на другое утро чем свет Куземка оседлал своего заветного аргамака, подвязал к следу порядочный мешок с дорожным запасом и съехал со своего двора задами, ни с кем не простившись и никому не сказавши, куда он едет и зачем он послан.

Не прошло и пяти дней, как «преображенские соседюшки» подготовили царевне Софье и Оберегателю неприятность другого рода. По поводу освящения нового храма в обители Св. Саввы Сторожевского назначен был Правительницею поход туда, и в том походе должны были принять участие все царевны-сестры, одна из престарелых теток их, царевна Татьяна Михайловна, царь Иван Алексеевич с молодою супругою.

Дня за два до назначенного дня по Звенигородской дороге скакали взад и вперед нарочные с приказаниями, двигались обозы с провизией и крытые повозки с перинами и подушками, около которых шла вооруженная стража, пешая и конная, и ехали царские

спальники, стряпчие и слуги, обязанные блюсти царское добро не только от хищения, но и от *глаза* и от всякой *порчи*.

В день, назначенный для похода, огромный поезд царевен, состоящий не менее чем из двадцати карет, колясок и колымаг, запряженных шестериками и восьмериками коней, двигался по дороге из Москвы, предшествуемый конным отрядом стрельцов Стрмянного полка, а по бокам дороги сопровождаемый пешими стрельцами в полном вооружении, с бердышами и пищалями. Каждая из царевен ехала со своими ближними боярынями, с карликами и карлицами; с царевною Татьяною Михайловной ехали две старушки боярыни и две богомолицы, призреваемые ею. Впереди поезда в великолепной раззолоченной и расписной карете ехал Оберегатель с дьяком Украинцевым и с приближенными своими, окольничими Венедиктом Змеевым и Василием Нарбековым. Князь Алексей Васильевич и несколько молодых стольников верхами ехали о бок карет царевны Софьи и ее сестер.

Несмотря на половину октября, день был

сухой, ясный и довольно теплый. Царевнам, закутанным в легкие шубки и в теплые каптуры, было душно в каретах: им хотелось поскорее добраться до ближайшей кормежки. Деревня, в которой кормежка и роздых были назначены, уже виднелась вдали на косогоре, как вдруг в стороне на желтом фоне жнивья зачернелась медленно приближавшаяся толпа народа, видимо двигавшаяся наперерез пути царского поезда. Толпа была большая, и от нее еще издали доносилось не то пение, не то вой...

Передовые конники переполошились и, слегка сдерживая шаг коней, послали вперед верховых – разузнать, что это за люди идут, и заставить их поскорее очистить дорогу.

Верховые подъехали к толпе, перекинулись с нею несколькими словами, потом крикнули что-то и вскачь возвратились к товарищам.

– Беда! – кричали они еще издали. – Шереметевские вотчинники гурьбой идут к дороге, своих покойников везут на погост: хотят их на дороге поставить – великим государям челобитную подать...

Прослышали это стольники и стряпчие, перепугались; и все порешили в один голос:

– Ну, братцы, это к худу! Нехорошая примета! Убрать их, прогнать с дороги! А пока что... приостановить поезд!

Остановили поезд. Поскакали вперед стольники и стряпчие, прихватив человек тридцать стрельцов Стремянного полка.

Все сидевшие в каретах царевны были озадачены остановкой. Раздались вопросы:

– Что это значит? Приехали, что ли? Не случилось ли беды какой?..

Любопытные лица стали высовываться из повозок.

Но на вопросы не получалось ответов или получались ответы уклончивые, и мало-помалу любопытство на всех лицах сменилось тревогою.

– Батюшка, – сказал князь Алексей, подъезжая к карете Оберегателя, – благоверная государыня изволит спрашивать: зачем мы стали? А я не смею ее встревожить... Там впереди неладно что-то...

– А что такое там? И точно, зачем мы стали? – спросил, поднимаясь со своего места,

Оберегатель, только что перед этим задремавший. – Венедикт Андреич! – обратился он к Змееву. – Ты человек толковый... Пойди и разузнай, в чем дело, и мне доложишь. А ты, князь Алексей, ступай к великой государыне и доложи, что послано узнать.

Змеев взял лошадь у одного из дворян и поскакал к толпе, от которой теперь уже явно доносились то крики, то громкий говор, то какой-то вопль, вроде причитания.

Не прошло и десяти минут, как Змеев возвратился бледный и перепуганный и шепотом сообщил Оберегателю, что мужики стоят на своем и хотят подать челобитную великим государям.

– Пробовали гнать их батожем и в плети принимали – неймет!

В поезде произошел переполох. Все толковали что-то шепотом, переглядываясь между собою и указывая вдаль, где темным пятном залегла на дороге толпа серого люда. Боярыни, царевны и вся придворная свита были вне себя от страха; все крестились и тревожно вопрошали: «Что там такое? Что случилось? Что за напасть такая, господи! Да гово-

рите же, что там такое?»

Одна София сохранила полное спокойствие и, перебирая свои жемчужные четки, выслушивала равнодушно доклад подъехавшего к карете князя Алексея.

Оберегатель приказал подвести к себе запасную верховую лошадь в роскошном конском уборе, с кистями и с перьями, с бубенцами на бабках и расшитыми золотом покрывцами поверх бархатного чалдара... Вскочив в седло, суровый и гневный, он подъехал к толпе со своими окольными и дьяком Украинцевым.

Его взорам представилась невеселая картина. Поперек дороги сплошной стеной стояло несколько сот мужиков и баб, босых, оборванных и грязных. У многих мужиков были подвязаны кушаками руки, у других – головы обвязаны окровавленными убрусами и платками, а ноги обмотаны какими-то тряпками. Впереди толпы на дрянных дровнишках стояли три колоды с покойниками, к которым поочередно припадали и жалобно голосили бабы. Настроение толпы было мрачное и сосредоточенное.

– Что вы за люди? – громко и повелительно крикнул толпе князь Василий.

Толпа вдруг, как один человек, рухнула на колени и завопила в один голос:

– Батюшка-боярин, пресветлые очи! Не вели нас этим озорникам бить... смилуйся, кормилец! И так мы Богом побиты!

– Что вы за люди? – еще громче крикнул Оберегатель.

– Шереметевские вотчинники, государь, села Горицы крестьянишки, хотим бить челом великим государям на их дворцового воеводу, что разорил нас, ограбил, бил смертным боем и увечил!.. Трое вот уж и живота отошли... И другие многие еле живы! Смилуйся, батюшка, яви нас пред государские пресветлые очи! Прикажи за себя вечно Богу молить!

– Великих государей я тревожить не стану, а челобитную от вас принять и передать могу! – сказал Оберегатель. – А на кого же вы челом-то бьете?

– На дворцового села Дунилова воеводу Шишкина. Он с головою таможенного да кружечного двора, со всеми крестьянами и с солдатами, и с топоры, и с бердыши, и с копы,

и с ослопы к нам в село ворвался, в самый Евлампьев день, да на боярском дворе, что сборной казны было, все грабежом побрал без остатка, и нас всех бил и увечил, и что у кого денег и одежды было – все взял. Мы было к боярину нашему Петру Васильевичу пошли жалиться и защиты просить, да он нас прогнал, говорит: «Дворцового воеводу завсегда князь Василий Голицын прикроет, потому он мне недруг и мы с ним не в ладах живем. Ищите, говорит, милости у самих великих государей!» Смилуйся, боярин, яви нас пред светлые очи государские. Не выдай нас головою князю Василию Голицыну!

И вся толпа разом ударила земной поклон Оберегателю. Сердце у него дрогнуло.

– Я вам сказал: тревожить великих государей не смею. Челобитную от вас приму и дело ваше разберу по совести. Если прознаю, что воевода Шишкин разбойным промыслом на вас наехал и без вины вас разбивал и грабил, так ему и в Сибири не найдется места. Животы, у вас взятые, велю вам вернуть на будущей неделе и за все ваши убытки и увечья заплатить, а покамест всем вам на помин ва-

ших покойников жалую по алтыну на душу. Емельян Игнатьевич, запиши их жалобу да назначь по их делу строгий розыск, а ты, Венедикт Андреевич, возьми у меня в карете мешок с медными деньгами да одели их всех поголовно.

– Дай тебе Бог многолетнего здоровья, батюшка-боярин, золотые твои уста! – зашумела толпа и ударила новый земной поклон – Да дозволь, кормилец, узнать твое святое имя, чтобы знать нам, за кого Бога молить?

Князь Василий и сам не знал, как сорвалось у него с языка:

– Помолитесь, православные, за многогрешного боярина князя Василия Голицына!

И, сняв шапку, Оберегатель отвесил толпе низкий поклон.

– Князь Василий Голицын! Ближний боярин! Нашего-то боярина супротивник! Первый вельможа! – пронеслось по толпе, между тем как князь Василий медленно поворачивал коня к царскому поезду... И вся толпа разом поднялась от земли и так быстро хлынула в сторону от дороги, увозя за собою и колоды с покойниками, что уж окольниковый Змеев

еле мог достигнуть этих несчастных за поворотом поселка для раздачи им денег, пожалованных Оберегателем.

Путь был чист, и поезд тронулся вперед, между тем как Оберегатель, подъехав к карете царевны Софьи, в кратких словах объяснил сущность жалобы крестьян.

Царевна запылала гневом, когда Оберегатель передал ей слова Шереметева к жалобщикам:

– Князь Василий Васильевич! Всем им назло разбери это дело построже и накажи виновных – пусть знают все, что мы и своих воров не кроем. А я, как увижу князя Петра Васильевича, так скажу ему спасибо: вижу, что он тебе и мне назло выслал сюда на дорогу своих крестьян с челобитной! Видно, и Шереметевы тоже против нас с «преображенскими соседушками» стакнулись, как и святейший!

Князь Василий совершенно разделял взгляд царевны и точно так же, как она, полагал, что эта неприятная дорожная встреча была нарочно подготовлена Шереметевыми и Нарышкиными. Но, и сознавая это, он не мог отделаться от тяжкого впечатления, которое

произвела на него эта грязная, оборванная, избитая толпа людей, эти страшные покойники, еле прикрытые своими жалкими саванами и в тесных колодах, эти бабы, окутанные грязными лохмотьями и воющие по усопшим...

«И ведь они точно правду говорили о нас и о нашем суде: мудрено им судиться с дворцовым воеводой! И он точно сумел бы обойти меня и на тех крестьян пожаловаться, если б не пришлось мне самому на них наткнуться! Нашлись же люди, что и последней их одежкой не побрезгали!.. Видно, нам всего мало – ненасытной утробе нашей нет утоления! Господи, прости мне мои грехи тяжкие! Помолитесь, люди добрые, за спасение души боярина Голицына!»

XXIII

Сумрачен вернулся Оберегатель из похода на богомолье. Он понял, что теперь его положение день ото дня будет становиться все более и более трудным. Тактика врагов совершенно изменилась: они уже не обороняются, не сторонятся, а наступают, готовятся вести открытую борьбу. Их много; у них есть опора в настоящем: есть свое знамя – законный государь Петр Алексеевич, который рано или поздно захватит всю власть в свои руки; у них, следовательно, есть и будущее... А он один; он сам – опора горячей, страстной, подвижной женщины, привыкнувшей жить более сердцем, чем умом, руководиться более впечатлением, чем разумом; она способна создать заговор, способна стать во главе его, способна ловко руководить им известное время, но она не способна упрочить за собою власть, доставшуюся ей случайно; не способна уже потому, что при всем ее уме, ее блестящих способностях у нее нет ни выдержки, ни спокойствия... У нее как правительницы нет будущего; следовательно, и у него также нет

будущего. Петр должен одолеть Софью со временем; и один князь Василий не в силах будет поддержать Софью.

К этим тягостным соображениям примешивались в душе Оберегателя другие черные думы, которые не давали ему покоя со времени крымских неудач. В душе избалованного счастьем вельможи эти неудачи залегли неизгладимым темным пятном, которое на все бросало свои мрачные тени и побуждало ожидать отовсюду каких-то неведомых невзгод и бедствий... В настоящем он видел кругом себя лишь козни врагов, которых приходилось опасаться на каждом шагу; в будущем – над его головою как дамоклов меч висела неизбежность второго Крымского похода, который так или иначе должен был решить его судьбу и судьбу Софьи...

Более и более поддаваясь этому мрачному настроению, князь Василий становился неузнаваем в своих отношениях к окружающим. Он мало с кем виделся, почти никуда не выезжал и у себя принимал очень немногих. Но зато почти каждый день принимал доклады Степана Евдокимова и два-три раза в неде-

лю виделся с дохтуром Шмитом. Прежняя любезность, остроумие и мягкость в обращении, которыми князь Василий славился не только в своем кругу, но и между всеми иноземцами, исчезли бесследно... Какой-то сумрак не сходил с лица Оберегателя. Замечали даже, что он ко всем окружающим относился с недоверием, поступал иногда очень круто и резко и проявлял небывалую суровость в отношении к подчиненным.

Мрачному настроению князя много способствовали «преображенские приятели», которые не упускали ни одного случая, чтобы схватиться с Оберегателем в Думе. Каждый вопрос, который поднимался во время боярского сидения царевною Софьей или князем Василием, непременно вызывал возражение со стороны Черкасских, Шереметевых, князя Бориса Голицына, Прозоровских или Троекуровых. Бесконечные прения длились долго, затягивали решение дела, побуждали к собиранию справок и сведений по Приказам – и расстраивали иногда даже самые благие, самые разумные начинания или приводили к сильному раздражению, которое вынуждало

стороны обмениваться резкостями и намеками самого недвусмысленного свойства.

После одного из таких сидений, в котором Оберегателю, несмотря на все усилия противной партии, удалось отстоять и провести свое мнение, он собрался уезжать из дворца домой, на свой Большой двор. Но на пути от палаты, в которой происходило сидение, к выходу на площадку несколько разных лиц – то дьяки, то бояре – задерживали князя Василия различными вопросами, и, по мере приближения его к площадке, за ним образовалась группа разных лиц человек в десять. На площадке, которая обыкновенно сторонилась и провожала князя Василия низкими поклонами, к сопровождавшей его группе присоединилось еще человек двадцать разных досужих людей из стольников и дворян, заискивавших в Оберегателе и потому не упускавших возможности проводить его до кареты и при этом попасться ему на глаза. В то время как князь Василий, уже накинув шубу на плечи, с шапкою в руках переходил со своею свитою через Дворцовый двор к воротам, в двух шагах позади его произошло что-то стран-

ное... Один из сопровождавших его дворян упал ничком наземь, с судорожною поспешностью собрал и зажал в кулаки мокрую землю и, не поднимаясь с земли, стал произносить какие-то невнятные слова, между тем как все его тело подергивалось конвульсиями.

Поднялся крик, переполох... Никто не решался подступить к упавшему – и все суетились, все говорили, никто никого не слышал.

– Он колдует! Волшебствует!.. Бери, держи его!.. Я сам видел, как он след князя Василия Васильевича вынял... И теперь еще землю в руках держит!..

– Враки! – кричали другие. – Он больной; видишь, как бьет его, словно в лихоманке; это утин![14] Его еще не так шибает...

Около упавшего собралась такая толпа и поднялся такой шум, что Оберегатель невольно повернул от кареты обратно и осведомился о причине всей этой сумятицы.

– Из дворян такой человек объявился, который над следом твоим колдует, – объяснил Оберегателю досужий человек.

Князь Василий изменился в лице и нахмурился.

«Верно, *оттуда* подослан! Мало они меня донимают – еще колдовством извести хотят!» – подумал он.

И он подошел к толпе, все еще стоявшей над упавшим дворянином. Толпа почтительно расступилась перед князем Василием; но в ней не прекращался спор и крики: «Взять его! За приставы его! Колдует – да еще на Государском дворе!.. Нет! Он больной! Не троньте – отлежится!»

А несчастный все еще лежал ничком; его все еще било и подергивало какими-то конвульсиями; и в судорожно сжатых кулаках он по-прежнему крепко держал по горсти земли.

– Кто ты? – спросил Оберэгатель. – Как тебя зовут?

Лежавший взглянул на князя Василия испуганным, бессмысленным взглядом и опять опустил голову, ничего не отвечая.

Другие ответили за него:

– Это здешний дворянин Ивашка Бунаков.

– Он больной, должно быть... – добавили несколько голосов нерешительно.

– Враки! – яростно закричали другие. – Прикидывается больным! Сами видели! След твой вынял и нашептывал над ним неведомо какие слова. За приставы его!

Оберегатель сумрачно окинул взглядом собравшуюся около Бунакова толпу и приказал взять его за приставы. Толпа смолкла. Подошли стрелецкие десятники и жильцы, подняли Бунакова с земли, поставили его на ноги; но он опять повалился на землю и забормотал какие-то невнятные слова.

Его подняли на руки; но чуть только хотели разжать ему кулаки и высыпать оттуда землю, как несчастный завопил так громко, что его поспешили унести с Государского двора.

Оберегатель приказал отправить его в Стрелецкий приказ и там допросить «с пристрастием», зачем он его след вынимал, а если окажется, что точно утином болен, то как смел он, зная за собою болезнь, являться с тою болезнью на двор великих государей и стоять на площадке.

И затем, приехав домой, князь Василий долго не мог успокоиться и все ходил взад и

вперед по Шатровой палате, и все думал невеселые свои думы.

«И за что они меня гонят? Что я им сделал? За что напускают на меня все эти напасти? Мало им вражды и всяких подвохов – к волхвованию прибегать стали! Ну так пусть и разыщут – кто его подослал мой след вынимать? Пусть его пытаются – доходят до правды!..»

Но при мысли о пытке князь Василий невольно вздрогнул...

«А если он ни в чем не виноват? Если он точно больной, страждущий... И его же еще из-за меня станут мучить, бить, истязать... Не послать ли туда?.. Не остановить ли розыск?.. Да нет, теперь уже поздно – теперь уж пошло дело... Уж попался он в руки заплечных мастеров немилостивых»...

Под вечер того же дня Кириллыч доложил, что Куземка вернулся и ждет приказаний князя.

– Зови, зови... Позови его поскорей ко мне! – вдруг спохватился князь и еще тревожнее зашагал по своей палате.

Куземка явился немедленно на зов князя

и, переступив порог, тщательно припер за собою дверь.

Князю вдруг почему-то стало неловко, даже жутко с ним быть с глазу на глаз. Он ждал доклада и подробностей – но Куземка молчал как могила.

– Ну! Говори – как там... уладил? – спросил наконец князь, остановившись перед Куземкой и нарушая тягостное молчание.

Но Куземка, должно быть, или не понял вопроса, или не спешил на него ответом.

– Пожни-то Лыковские? – переспросил он князя нерешительно, переминаясь с ноги на ногу и оправляя кованый пояс.

– Какие там пожни! – нетерпеливо крикнул князь. – Я тебя о Ваське Иконнике спрашиваю, а ты мне о пожнях!

– Васьки... там... теперь, государь, уж нет больше...

– То есть как же *нет*? Сбежал?..

– Не то чтобы сбежал... а так, значит, *со всем* его нет...

– Куда же он девался?

– Сгорел... – глухо ответил Куземка, хмуря брови и искоса поглядывая по сторонам.

– Как сторел?! – тревожно переспросил князь Василий.

– Да так... Хмельной пошел в баню колдовать... Должно быть, заропил...

– Ты врешь! – закричал князь Василий, в испуге сжимая кулаки и подступая к Куземке. – Ты его сам сжег... ты его убил!

Куземка не тронулся с места и только, понуриив голову, произнес как-то нехотя:

– Я его и пальцем не тронул... А только как баня занялась, я точно что дверь у ней колом подпер! Твой приказ исполнил... Прости, государь, своего холопа за усердие!

И Куземка низко поклонился князю, с растерянным видом разводя руками...

XXIV

Медвежья услуга, оказанная Оберегателю его верным и чересчур усердным слугою, произвела на него такое удручающее впечатление, что он заболел и несколько дней никуда не выходил из дому. Мрачно настроенное воображение все рисовало князю Василию этого несчастного, заживо сожженного только ради того, чтобы избавить его, князя, от всякой ответственности. Ему беспрестанно казалось, что он слышит его отчаянные вопли, заглушаемые треском горящего здания, что он видит, как тот задыхается от дыма и слабые звуки голоса замирают в его гортани, между тем как тело его корчится последними предсмертными судорогами... Едва закрывал он глаза, этот страшный кошмар представлялся ему во всей своей ужасающей правде, и князь Василий метался на своей раззолоченной постели и тщетно призывал к себе покинувший его сон.

А приготовления к походу шли своим чередом, отнимая у князя Василия большую часть его времени и каждый день напоминая

ему о том, что роковой срок отправления в этот проклятый поход приближается быстро и неизбежно, как смертный час. Отовсюду между тем шли недобрые и неутешительные вести. Шакловитый, возвратившись из Малороссии, сообщил, что новым гетманом там недовольны, что ему не доверяют и подозревают его в сношениях с польским королем. С другой стороны, из-за рубежа доходили сведения о том, что кесарь Римский и король Польский, удовлетворенные последними своими военными успехами, собираются заключить с турским салтаном отдельный мир, предоставляя московским государям воевать с ним или мириться – и этим ставя Российское государство в крайне опасное положение. Озабоченный этим, Оберегатель быстро создал целый план воздействия на польского короля и на кесаря Римского; по его настоянию решено было отправить в Вену дьяка Возницына с напоминанием о том, что мир не может быть заключен с Турцией без согласия московских государей. Как раз около того же времени немецкая слобода наделала новых хлопот Оберегателю.

– По твоему, государь, приказу, – сказал однажды Оберегателю дьяк Украинцев, – те самые люди-иноземцы, что немецкую слободу замутили, давно уже взяты и допрашиваны... Ты о них не изволил ли забыть? В тюрьме сидят вторую неделю...

– Какие люди?

– Квиринус Кульман да Кондратей Нордерман.

– А! Да! Припоминаю – читал их допросные речи и ничего в них вредительного не вижу.

– Квиринус – тот и впрямь блаженный; несет такую околесную, что – и господи! Толкует все о каких-то тайнах Божьих да о новой какой-то вере; пророчествует по видению и откровению о каких-то войнах, которые впредь будут... По-моему, он давно уже рехнулся...

– Так что же нам с ним путаться? Отправить его за рубеж да и все тут...

– И я бы так думал... Да что скажут немцы?.. Вот, например, езовиты и сам генерал Гордон – те криком кричат, что Квиринус – еретик и чернокнижник и что его беспрременно в срубе сжечь потребно.

– Ну, мало ли что они кричать станут? Нам их и слушать – из-за них на себя кровь брать?!

– Так как же порешишь, князь Василий Васильевич? Выслать так выслать...

– Выслать, конечно, и с книгами, и с письмами их дурацкими... О том и указ заготовить.

Не прошло и двух дней после этого разговора, как к князю Василию явился Шмит и спросил его: справедлив ли слух, будто заготовлен указ о высылке из Москвы злых еретиков и чернокнижников Квиринуса Кульмана и Конрада Нордермана.

– Да! Я велел заготовить подобный указ и думаю его провести у великих государей.

– Ваша высокоименитость, вероятно, не прочли тех еретических книг и соблазнительных писаний, которые эти злые ересиархи осмеливались здесь, в Москве, распространять? Не изволили заглянуть, например, в *Прохладительную Псалтирь* этого Кульмана?

– Зачем стану я его книги читать, когда я из его слов вижу, что он полоумный?

– Нет, не могу с этим согласиться, ваша высокоименитость! Это не безумец – это зло-

вредный еретик, достойный костра, и государи московские, как добрые христиане, должны повелеть его сжечь во славу Божию.

– Я не допущу такого злодейства! Жечь полоумного, который никому не сделал никакого зла своими бреднями... И какое нам дело путаться в церковные дела люторов и кальвинов?

– Ваша высокоименитость, – язвительно и злобно заметил Шмит, – ведь вы, однако ж, подвергли пытке дворянина Бунакова, – а он, может быть, тоже больной или безумный! Но вы изволили поступить совершенно правильно и законно: надо было непременно пытаться, чтобы добиться правды. Так же точно в этом случае: Кульмана и Нордермана следует пытаться...

Оберегатель нахмурил брови при упоминании о Бунакове.

– Я знаю, что делаю, – сказал он сухо, – и ни в каких указаниях не нуждаюсь...

– Позволю себе напомнить вашей высокоименитости, что и весьма высокопоставленные лица нуждаются иногда в нас, маленьких людях... Смею думать, что я имел уже случай

оказать вам некоторые услуги... и в будущем еще могу вам пригодиться... Но я прошу и заклиная непременно отменить указ о высылке этих еретиков... Их надо пытаться, пытаться непременно – и сжечь!

– Я ни за что не соглашусь на это!

– Прошу вас только о том, чтобы вы этому не противились... Тогда дело делается само собою. А не то вы дадите этим повод вашим врагам распространять о вас, что вы покровительствуете еретикам, которые надругаются над всемогуществом Божьим и насмеются над государями московскими.

– Что такое? Откуда вы это взяли? Они, напротив, относятся к великим государям с величайшим почтением и желают им всякого благополучия!

– С почтением? Благополучия желают! Так не угодно ли вашей высокоименитости прочесть следующее обращение этого еретика Кульмана к государям московским?

И Шмит подал Оберегателю печатанный в Амстердаме листок, в котором Кульман побуждал великих государей воевать против папства и восклицал: «Восстаньте, цари мос-

ковские! Восстаньте! Послушайте Кульмана, которого сам Христос прислал к вам для проповеди. Хотя папство и Рим ищут постыдно прельстить вас, но посмотрите на исход вашего союза! Вперед, цари, под одно знамя с турками и татарами! Будьте заодно с народом, у которого голова обращена назад, – и да будет разрушена папская глава! Пусть камня на камне не останется от Рима и Вены»...

Князь Василий рассмеялся и бросил листок на стол:

– Я понимаю, что вам неприятно читать этот листок... Но где же тут осмеяние царей московских?

– Как? Разве вы тут не видите богохульства? Разве не видите, что этот Кульман советует московским государям войти в союз с «погаными» против христианских государей?

– Повторяю вам, что я вижу тут бессмысленные речи человека, который давно потерял всякий рассудок!

– В таком случае я удаляюсь и не буду вас больше утруждать моими просьбами. Но предупреждаю, что я не оставлю этого дела и что все будут на моей стороне. А ваша высоко-

именитость, может быть, пожалеете, что потеряли во мне верного слугу...

Оберегатель поднялся со своего места, пожал плечами, – и Шмит удалился.

Не прошло и недели, как действительно все в Москве заговорили о потворстве князя Голицына немецкому еретик, который смеет свои пророчества за морем, «в Амстердаме и в иных городах», печатать и в них о московских государях всякие небылицы писать. Их, мол, пытать да сжечь надобно, а Оберегатель им мирволит – хочет их за море отослать на великий стыд и позор Московскому государству, потому тот немецкий еретик уже многие народы возмутил. Листки Кульмана с воззванием к московским государям явились и в руках патриарха, и в руках князя Бориса Алексеевича. Пасторы немецкой слободки, не соглашавшиеся между собою ни в каких вопросах, заодно подали свои заявления в Посольский приказ о том, что Квирин Кульман и его товарищи не могут быть терпимы в среде немецкой паствы. Вопрос о Кульмане был поднят в Думе, возбудил горячие прения и,

несмотря на все старания Оберегателя, огромным большинством решен был в пользу того, что «сей Квилинко Кульман есть прелестник и чернокнижник и возмутитель» и что его не за рубеж отпускать, а пытаться следует и «доподлинно от него дознать, зачем он в Московское государство прибыл?».

Через несколько дней дьяк Емельян Игнатьевич Украинцев во время присутствия князя Василия Васильевича в Посольском приказе доложил ему, что Квилинко Кульман и Кондрат Нордерман пытаны и с пытки ни в каком воровстве не повинились.

Князь Василий нахмурился и долго молчал.

– И что их больше пытали, то они только громче молитвы свои читали, а Кондрат и петь начал... А как их с дыбы сняли, так Квилинко опять за свое же: пророчеством и видением, говорит, знаю я, что от нынешней войны будет великое дело – променение в вере наступит, и будет едино стадо и един пастырь.

– И ничего другого не говорил?

– Говорил и еще, да такое все несуразное,

что и записать было невозможно; а как мы стали ему говорить, что прежние его учителя и прелестники казнены и сожжены и с книгами, и он довелся того же, так он улыбнулся и говорит: «Во всем полагаюсь на волю Божию, от многих бед меня Бог избавлял и от потопа морского – так и от ваших рук освободит же».

– Как хочешь, Емельян Игнатьевич, не приму я на себя его крови! Умываю в ней руки! Затяни как-нибудь дело... Дай мне в поход уехать.

И действительно дело затянули: приказали рассмотреть внимательно все книги и писания Кульмана, отдав их для перевода переводчикам Посольского приказа.

Но князь Василий видел, что иезуитская интрига широко раскинула свои сети и сумела придать жалкому фанатику и сумасброду значение человека, умышляющего на Московское государство; он понимал, что Кульмана будет невозможно спасти от казни, и заболел уже только о том, чтобы это кровавое дело миновало его рук и совершилось в его отсутствие... Он был утомлен тягостными впечатлениями последних месяцев борьбы

и бесплодных усилий, был удручен теми невольными жестокостями, которые тяжелым камнем ложились ему на душу.

Царевна Софья неоднократно спрашивала его о причине мрачного настроения, его уныния, его тревожных помыслов о будущем... и он не решался сообщать ей свои опасения и сомнения. Он боялся напугать ее, боялся отнять у нее веру в грядущее – эту единственную основу всякой человеческой энергии.

Его тяготили и дворская обстановка, и многосложные его обязанности, и отношения к Софье, в которые он не вносил прежней горячности, прежней самоуверенной твердости – не вносил светлой надежды...

Его тяготила даже ослепительная роскошь его палат, требовавшая стольких забот, хлопот, суеты... Ему чаще и чаще приходили на память те горицкие мужики, у которых отняли последнюю одежонку, и он с досадою думал о своих несметных богатствах... «Что в том толку, что у меня четыреста кафтанов, – а покоя в сердце все нет! Вот, при всей моей силе и славе, не могу я человека от сруба спасти... Да и меня самого разве спасут мои бо-

гатства, коли моим врагам надо будет меня к плахе привести! Господи, прости мне мои прегрешения!»

И князь Василий почти с удовольствием помышлял об ожидающих его трудностях похода, о военных тревогах и опасностях. «Авось хоть там отдохну!» – думалось ему.

На победу, на торжество над врагами он не смел уже и надеяться.

Выполняя задуманный план, Борис Алексеевич в декабре 1688 года стал мало-помалу завлекать Петра на заседания Думы, побуждать его к тому, чтобы он заглядывал в Приказы и чаще показывался в народе. С этой целью князь Борис уговорил царицу Наталью Кирилловну переехать на зимние два месяца в ту половину Теремного дворца, которая была незадолго перед тем отделана для царя Петра Алексеевича.

Надо, однако ж, сказать правду, что преображенский баловень в это время относился еще совершенно равнодушно к стараниям ввести его в дела управления – так же равнодушно, как и к подготавливаемой ему женитьбе; его голова была занята главным образом теми кораблями, которые он раннею весною собирался строить на Переяславском озере. Но Петр верил князю Борису и потому следовал его советам. Ему досаждали только придворные церемонии, в которых он вынужден был принимать участие и выполнял свою роль весьма неохотно, в угоду матери подчи-

няясь требованиям этикета. И вот в один из декабрьских дней, в то время когда Петр занят был с Тиммерманом решением какой-то трудной геометрической задачи, явился Никита Зотов и доложил о приходе думного дьяка по делу.

– Мне некогда – видишь, я занят! – резко отвечал Петр, не отрываясь от своей тетради, исписанной его крупным и неровным почерком.

Прошло сколько-то времени. Никита Зотов напомнил вторично о думном дьяке.

– Убирайся со своим дьяком! – громко крикнул Петр, оборачиваясь к Зотову. – Скажи тебе, что некогда!

– Тебе некогда, государь, да ведь и ему недосуг: у него – дел беремья! Побольше твоего!

Петр, вероятно, согласился с этим доводом, потому что сказал недовольным тоном:

– Ну позови его сюда!

Вошел думный дьяк – человек пожилой, степенный и благообразный; чинно перекрестился он на образа, чинно отвесил поклон государю и стал у порога в ожидании прика-

заний.

– Читай что принес!

– Принес тебе, великий государь, роспись: как на завтрее вашим царским величеством мать гетмана Мазепы являть будем и что при том говорить положено.

– Читай скорее!

Дьяк развернул столбец и прочел в нем следующее:

– «Думный дьяк скажет: „Вашего царского величества богомольцы, Киево-Печерского Вознесенского девичьего монастыря игуменья, а подданного нашего царского величества гетмана Ивана Степановича Мазепы мать, Мария Магдалина, с сестрами вам, великим государям, челом ударила”. И подаст игуменья великим государям лист»...

– Какой лист? – перебил Петр.

– Лист – а в том листе похвала великим государям и молитва о здравии их, – пояснил дьяк и продолжал чтение: – «Да она ж, игуменья, великим государям челом бьет в поднос: великому государю царю и великому князю Иоанну Алексеевичу, всея Великие и Малые и Белые России самодержцу – просвиру и поло-

тенце, шито золотом. И тебе, государь – про-
свиру ж и полотенце ж, шито золотом», – до-
бавил дьяк, отрываясь от чтения и отвешивая
низкий поклон Петру.

– Только и всего? Или еще что есть? –
нетерпеливо допрашивал Петр.

– Еще есть малая толика, государь, – отве-
чал дьяк и продолжал чтение: – «И великие
государи укажут у ней принять лист и под-
нос, а игуменью с сестрами пожалуют к руке
и укажут игуменью с сестрами спросить о
спасении. И думный дьяк скажет: „Игуменья
и сестры! Великие государи, их царские вели-
чества, жалуют вас, – велели спросить о ва-
шем спасении”. А потом скажет он игуменье:
„Великие государи, их царские величества
жалуют тебя, игуменья, вместо стола кормом.
И отпустить на подворье”».

– Ну, теперь все?

– Все, государь, – отвечал дьяк с низким по-
клоном.

– Ну так и я отпускаю тебя на твое подво-
рье.

И когда дьяк вышел за двери, Петр с доса-
дою ударил кулаком по столу и сказал, обра-

щаясь к Тиммерману и Зотову:

– И вот из-за этих дьячих речей да из-за ее шитого полотенца у меня завтра целое утро пропадет!.. Да и сегодня помеха в ученье вышла! Вон, смотри, Франц, я тут углы-то верно взял, и аддицию верно сделал, а в мультипликации наврал... Давай все сызнова переделывать.

В тот же день вечером князь Борис Алексеевич на своем московском подворье принимал и угощал дорогого гостя – Емельяна Игнатьевича Украинцева, угощал его наедине и с глазу на глаз вел с ним беседу, прихлебывая заморское винцо из дедовских кубков:

– Так ты говоришь, Емельян Игнатьевич, что князь Василий в уныние впал?

– Совсем буйную головушку ниже могучих плеч повесил! Гложет его червь какой-то – даже и не понять, со стороны-то глядя...

– Чего тут не понять? Видит теперь, что я ему правду говорил: опомнись, мол, куда ты гнешь, – дни ее изочтены, не миновать ей монастыря... Где же ей управить! Вот это самое и мутит теперь его...

– Нет, тут и другое есть: ее покинуть жал-

ко, а с нею-то сам видит, что добром не кончить... Ну и тоскует, и ходит сумрачнее ночи. Намедни гетманские казаки – что с матерью Мазепиной приехали – принесли ему при мне письмо от гетмана и десять тысяч рублей в червонных золотых, в серебряных копейках да в талерах битых. А в письме Мазепа просит «принять приношение милостиво и ховать его в отческой ласке и заступлении». Так что бы ты думал, князь? На деньги князь Василий даже не взглянул, не приказал пересчитать – велел снести в подвал... И только!

– Что же так? Или не любви стали?

– Говорит: «Все прах и тлен! С собою в гроб не возьмешь». И все-то опротивело ему! Бывало, все ему подавай, все в руки забрать хочет, всего ему мало! Из-за моря ему привозят немцы всякие диковинки, то часы, то клевикорты, то фонтаны, а он у них меняет, покупает! А теперь на все свои сокровища даже и не смотрит... Как-то раз сказал мне: «Все бы бросил – в монастырь ушел бы».

– И хорошо бы сделал, кабы ушел до времени! А то, пожалуй, так его запутают, что угодит и подальше монастыря...

Да! Шакловитый, чай, только и ждет его отъезда. Как князь Василий в поход, так он опять за шашни...

– Ну этого мы скрутим! С ним расчет короткий!.. А брата, князь Василья, мне жалко... Хотя мы с ним и врагами друг на друга смотрим и на разных берегах стоим, да знаю я, чего он стоит, с его умом-то! Ведь царевна только им и держится!.. Отшатнись он от нее – она бы не чинилась нам противной... Сдалась бы сразу, – с Шакловитым да с Сильвестром в советниках не далеко уедешь!

– А все же Шакловитый вам хлопот еще наделает – ведь он шальной! Ведь он на все пойдет...

– Я говорю тебе: он мне не страшен! Есть люди у нас, к нему приставлены... Такие, что так по пятам за ним и ходят. А на тебя надежда, что ты нам замыслы царевнины, какие будут, – не замедлишь проявить...

– Уж это – как перед Истинным! Уж будь спокоен, князь Борис Алексеевич! Уж и на тебя надеюсь, что, в случае чего, не дашь пропасть мне... Ведь ваш-то, говорят – у-ух! Крутенец...

– Крутенок – что и говорить! Да зато и голова! И взгляд какой – орлиный!.. Все разом схватит... С таким царем-то не задремлешь, не ляжешь на боковую – сумеет разбудить! И сам зато работник; все смыслит сделать – и с топором, и с долотом. Намедни – лошадь сам подковал! А тут еще Лука Хабаров (такой у нас есть в потешных) заболел было нарывом на ноге; большущий – ни встать, ни колена согнуть. Он видел, как дохтур-немец взрезывал нарывы: тотчас взрезал, гной выпустил и сам перевязал ему ногу-то! Пошел опять Лука в здоровых. Но зато уж если кто его не понял, не дослышал или не исполнил, как он велел, – тут уж жди беды! Сейчас расправа... Точно, что крутенок!

И князь Борис смолкнул, задумавшись над кубком... Вдруг вбежал слуга впопыхах и только успел проговорить: «Царь Петр, а с ним Нарышкины и Зотов к тебе пожаловали!» – как уже распахнулись настежь ворота и две тройки в расписных и раззолоченных санях заскрипели полозьями у крыльца княжских хором.

– Не в пору гости! Нам еще бы надо побесе-

довать с тобою, Емельян Игнатьевич! – проговорил князь Борис, вскакивая из-за стола и спеша навстречу гостям.

Через минуту он вернулся в комнату, предшествуя гостям, которые возвращались из Немецкой слободы и все были веселы...

Петр как вошел в палату, как увидел Украинцева, отвесившего низкий поклон, так уперся в бока кулачищами и пристально вперил в лицо дьяка свои большие черные очи.

– Он *свой* или *чужой*? – спросил он князя Бориса вполголоса.

– *Свой, свой!* – громко ответил ему князь Борис. – И человек надежный, *нужный*.

– Ну, коли *свой* да *нужный* – так здравствуй, Емельян Игнатьевич! – сказал Петр, отвечая на поклоны Украинцева. – И без чинов садись с нами за стол... А если бы не *свой* был – мигом бы я тебя спровадил!

– Нет, государь, – сказал князь Борис, смело глядя в глаза Петру, – моих гостей нельзя так-то... Здесь я хозяин – а ты здесь мой гость. Ведь мы тебе не немцы дались – у нас на все обычай и порядок! Милости прошу!

– Хорош обычай! Хорош порядок! – вос-

кликнул Петр, усаживаясь за стол и пропуская мимо ушей нравоучение князя Бориса. – Вот завтра будет дьяк с тобою вместе являть игуменью Марию Мазепину, и будем мы с братом сидеть как истуканы каменные, а дьяк станет за нас речи говорить... «Великие, мол, государи сказали то-то... да великие государи пожаловали то-то...» А я все дело разом бы повернул! Стоит ли на это время терять?.. Ну, за твое здоровье, князь Борис!

И Петр осушил кубок.

– Вот у немцев, должно быть, славное житье! – продолжал Петр, оживляясь. – Как порасскажут... Какой у них везде порядок! Какая чистота во всем, какая работа везде кипит! Недаром они и насмеваются над нами...

– Насмеваются? – гневно вымолвил князь Борис. – А чего же они к нам лезут? Разве мы без них не можем прожить?

– Мы им должны сказать спасибо! – горячо продолжал Петр. – Должны у них перенимать, у них учиться – и дай мне только волю забрать, я вас всех отдам к ним в науку... Всех! Не посмотрю, что ты там князь или боярин! Прикажу – так должен будешь колесом

ходить...

– Ну, государь! – заметил, лукаво улыбаясь, князь Борис. – В наших шубах да кафтанах колесом ходить дело непривычное и недостаточное. Это вот в кургузках-то немецких так сподручнее...

Все рассмеялись. Но Петр вспыхнул – ударил кулаком по столу так, что заплясали на нем дедовские кубки и дорогое вино расплескалось на скатерть.

– Как смеешь ты со мною так говорить! – закричал он гневно на князя Бориса. – Да если я велю, так все вы понаденете эти самые кургузки!

– Великий государь, – серьезно и спокойно ответил князь Борис гневному юноше, – русскому царю так говорить негоже. Все мы здесь твои верные слуги, а рабами твоими никогда не будем. Другое дело перенять у немцев путное, поучиться у них доброму, – а скоморошье платье их носить да трубку с табачищем сосать – что проку? Не все у немцев хорошо – не все и у нас худо. Небось изволил читать в статейных-то списках наших послов: «Князь Флоренский примает посла, а рядом с ним его

княгиня и все ее боярыни стоят словно осы, в дудку перетянуты, плечи голы, сосцы навыва- те?..» Это разве можно, по нашему обычаю? Это разве нужно перенять?

– А по-твоему, наш терем лучше? – отвечал Петр, уже несколько успокоенный. – И наря- ды наших боярынь разве лучше? В телогрее, в опашне да в шубе – копной нарядятся, так и не разберешь дородства от наряда! Я своей жене так не позволю наряжаться!

– Ты прежде отженись, государь, а там уж и посмотрим – что ты запоешь? – сказал князь Борис, смеясь.

– А ты, видно, так же думаешь, как матуш- ка, что меня можно опутать женою и усадить на место?.. Этого не жди! Вот дай только весне прийти: сейчас отсюда укачу на стройку ко- раблей, а там и на море поеду – и за море, ко- ли придется, посмотреть, как люди за морем живут. И если увижу, что там лучше, – я на вас не посмотрю: все так же у себя устрою.

– Твоя воля, государь, – да и Божья воля! – твердо сказал князь Борис. – Выше Бога и ты не будешь! Нестроений у нас точно что мно- го... Но и править их надо тоже умеючи. А так

с размаху-то – много можно беды наделать. Припомни, сколько крови пролилось из-за одной книжной справки[15]?..

– На месте сидя не много сделаешь! – воскликнул Петр. – Царю все надо самому видеть, все надо знать! А разве ты не веришь, князь Борис, что я всему сумею научиться – везде поспею! Недоем и недосплю, а с делом управлюсь?

– Сумеешь – этому я верю! Боюсь я только одного, великий государь, что уж до немцев ты больно охоч! А и немцы льстивы... Из-за хлеба станут хвалить и то, чего хвалить не след. Ум у тебя большой и воля сильная, государь, да только не дай бог тебе таких советников, чтобы тебя манили да ласкали. Тебе таких надо, чтобы тебе правду-матку резали! Ты осердишься и поблажишь, а – когда гнев пройдет – совету доброго все же слушаешь!

– Правда, правда! Верно, князь Борис! – сказали в один голос Нарышкины и Никита Зотов, между тем как на лице Петра расцвела самодовольная улыбка.

И вот, поднявшись с места, он высоко поднял свой кубок и звучно, громко произнес:

– Пью за тех советников, что и в гневе моем не побоятся мне правду высказать!

И все в ответ ему громко и весело крикнули:

– Да здравствует государь наш Петр Алексеевич на годы неисчетные!

XXVI

Зима миновала довольно спокойно. В конце января совершилось бракосочетание юного царя Петра с девицей Лопухиной, совершилось тихо, без всякого блеска, в домовой дворцовой церкви Петра и Павла. Но женитьба не привязала Петра к месту... Через месяц после свадьбы он уже был на Плещеевом озере, на стройке своих кораблей. Петр еще мог тогда спокойно строить суда: князь Борис, зорко за всем следивший и наблюдавший, не отрывал своего царственного питомца от его любимой забавы, потому что мог быть спокоен до поры до времени.

Шакловитый все еще дулся на царевну за удар, нанесенный его самолюбию в минувшую осень, и, хотя по необходимости постоянных деловых сношений стоял к ней опять очень близко, однако же не дерзал предпринимать ничего решительного.

Царевна София всею душою была предана трепетным ожиданиям вестей из похода, в котором уже с лишком два месяца находился ее любимец.

Царевна переживала тот период развития страсти к князю Василию, когда женщина ничего не видит кругом себя в жизни, кроме человека, которому она предалась, ничего не ищет, кроме постоянной близости к нему, ни о чем ином не может ни говорить, ни думать, как о нем, – и благодаря этому неудержимому влечению забывает дела, обязанности, отношения – все на свете, даже свое *личное я*, даже заботы о своей внешности, нарядах и уборах... Но говорить о князе Василии как о человеке дорогом и близком царевна могла лишь с очень немногими; писать ему могла лишь очень редко, через лично известных ей посланцев, и потому у ней оставался только один общий исход многих любящих женщин – излияние пламенной души в горячей молитве...

Во время первой разлуки с князем Василием в тревожную душу царевны впервые глубоко проникло сознание всемогущества какой-то иной Высшей, Правящей Десницы, перед которою ничтожными оказывались все земные могущества. Тогда она впервые научилась молиться не заученными словами,-

– научилась влагать душу в молитву. Когда князь Василий был возвращен ей, она отдалась своей страсти с таким ослеплением, с такою безрассудною горячностью, что совершенно подчинилась его взглядам, его мнениям, его желаниям, оттолкнула от себя преданного ей Шакловитого, забыла о своих замыслах, готова была бы, кажется, даже на примирение с Натальей Кирилловной и партией Петра – лишь бы ей оставили ее сокровище, ее «свет-Васеньку». Ее тревожило и глубоко огорчало в последние месяцы только то тяжелое нравственное настроение, которое совершенно овладело князем Василием и, видимо, отравляло ему жизнь. При всем своем уме царица никак не могла понять того, что в основе этого настроения лежит забота о ее будущем – о *их общем* будущем. Она искала объяснения этому настроению в настоящем, объясняла его кознями врагов и необходимостью борьбы с ними и то осыпала проклятиями князя Бориса, Нарышкиных, Долгоруких и Шереметевых, то горько сетовала на самого князя Василия, который оставался молчалив и сумрачен, несмотря на все расточаемые ему

ласки и нежности... Из-за этих отношений к князю Василию Софья не видела и самого будущего, не всматривалась в него внимательно, не сознавала, что оно сегодня или завтра может перейти в настоящее, не сознавала того, что дни ее действительно «изочтены»... И вот когда он, сумрачный и убитый своим тягостным душевным настроением, еще раз должен был уехать в поход и опять расстаться с нею на несколько месяцев, Софья впала в такой страстный религиозный экстаз, что даже все окружающие были поражены неудержимостью обуявшего ее порыва. Она почти не выходила из церкви, молилась по целым дням, горячими слезами плакала, то коленопреклоненная, то ниц поверженная перед иконами своей крестовой палаты. Щедрее, чем когда-либо, лились из рук ее пожертвования и милостыни. А после каждого письма, полученного с юга, она ходила по всем московским монастырям, всюду раздавая богатые вклады и приказывая молиться за здоровье и благополучное возвращение боярина Василия. Этим походам по монастырям много содействовало и то, что сам князь Василий в

последнее время почти в каждом письме просил ее «помолиться за его грешную душу».

Но вот с половины мая никаких вестей с юга не получалось, а май шел уже к концу. В последнем письме князь Василий писал о том, что ожидает встречи с неприятелем, ожидает боя... Более двух недель прошло с того тревожного письма; Софья, печально настроенная, полубольная, решила на новые подвиги – объявила поход в Троице-Сергиев монастырь и 30 мая двинулась туда обычным порядком, с тою же блестящею и многочисленною свитою.

Под вечер поезд царевны достиг села Воздвиженского, в котором назначен был ночлег. Истомленная долгим и скучным путешествием по пыли и зною, Софья очень была рада представившейся возможности отдохнуть и успокоиться, остаться наедине со своими думами. Она отказалась от ужина, приготовленного ей в Воздвиженском путевом дворце, и удалилась в свою опочивальню, выходящую окнами в сад. Сбросив с себя верхнюю тяжелую одежду, Софья опустилась на колени перед образом с тускло теплившеюся лампа-

дою и собиралась, прочитав краткую молитву, лечь в постель.

Сотворя крестное знамение, она подняла глаза на икону и с удивлением увидела перед собою в Божнице не тот образ Казанской Божьей Матери, который она привыкла там видеть при своих прежних приездах, а образ Усекновения главы Иоанна Предтечи.

И вдруг, по какому-то совершенно непонятному соотношению мыслей и ощущений, Софья вспомнила, что она не останавливалась на Воздвиженском с того самого дня, когда здесь, по ее приказанию, были обезглавлены несчастные князья Хованские... В ее воображении вдруг воскресли все подробности этого страшного события, все тревоги и волнения того дня, в который событие совершилось, споры бояр поутру – и ее настойчивые доводы в пользу необходимости казнить несчастного «Тараруя»; спешное составление приговора Боярской думы, собранной в этом самом дворце, и спешная отправка вооруженных отрядов, чтобы захватить князей Хованских, собиравшихся ехать на именины к царевне. Вспомнились ей и трепетные ожида-

ния, последовавшие за отправкою этих отрядов, и беспокойные взгляды перепуганных вельмож, неохотно вступавших в открытую борьбу со «стрелецким батькой». Она, как теперь, слышит стук топоров на полянке перед околицей села, где плотники сколачивали помост для казни, как теперь, слышит и толки окружающих, которые вполголоса передают ей, что «плаха-то готова, да заплечного мастера нет под руками», – и вдруг среди всех этих треволнений и ожиданий слышится какой-то неясный шум, какой-то говор и гул толпы...

Сторожа с колокольни дали знать, что вдали на дороге показались посланные поутру отряды... А гул все громче, все ближе, говор все явственнее, все слышнее – и наконец уж можно ясно различить слова: «Везут, везут!»...

Софья еще раз попробовала осенить себя крестным знаменем, еще раз возвела очи на икону, но ей уже показалось, что с усекновенной главы Праведника капля за каплей сочится свежая, невысыхающая, горячая кровь... Она поднялась в ужасе и, забыв о молитве, стала ходить взад и вперед по комнате, стараясь отогнать от себя страшные видения

прошлого, которое вдруг развернулось перед ней, как старый свиток, и вынудило ее оглянуться назад...

И припомнились ей кровавые дела, страшные тайны, припомнились неисчислимые лукавства, несправедливости, жестокости, преступления, совершенные ею для достижения власти и для того, чтобы удержать ее в своих руках. И мысль о покое, об отдохновении, об усталости вдруг сменилась другим, давно знакомым ей тяжким ощущением своей виновности и великости совершенных ею прегрешений... В первый еще раз за последние шесть-семь лет Софья почувствовала угрызания совести, почувствовала, что она не может молиться, не должна молиться, не смеет молиться! Она не смеет взглянуть на этот образ Угодника Божия, она не в силах возвести очи на эту «усекновенную главу», которая напоминанием о преступлении налагает печать на ее уста, дерзающие шептать слова молитвы...

Все спутницы царевны были очень удивлены тем, что она поднялась с рассветом, и, никого не потревожив, с двумя постельница-

ми своими и с десятком стрельцов пешком направилась в Сергиеву обитель, приказав сопровождавшим ее стряпчим, чтобы ее спутники и весь остальной поезд следовали бы туда же в обычное время, не спеша и не стараясь нагнать ее.

Измученная своими думами и бессонной ночью, похудевшая, побледневшая за последнее время, царевна Софья показалась всем своим спутникам постаревшею на пять лет, когда она вместе с ними выступила из Воздвиженского и, опираясь на посох, побрела по дороге. Непривычные к ходьбе ноги ступали неровно и нетвердо, и Софья, пройдя две-три версты, должна была чувствовать страшное утомление. При ее полноте нелегко было совершить десятиверстный переход до Сергиевой обители: пот катил градом с ее лица, все члены ломило от усталости; но это болезненное и томительное ощущение как бы облегчало ее внутренние страдания... И она шла и шла, не останавливаясь, шла, с трудом переводя дыхание, напрягая свои последние силы. Шла, пристально вперя очи в даль, не видя ничего кругом себя, кроме леса, подернутого

легкой дымкой утреннего тумана.

Вот и часовня на дороге над простым деревянным крестом, по преданию вырубленным и водруженным руками святого Сергия. Утомленная царевна не смеет остановиться, не смеет зайти в часовню, опасаясь, что ее покинут последние силы. Старый инок, сидящий при дороге у часовни, зачерпывает в берестяной корец студеной воды из святого ключа при часовне и с поклоном подносит его царевне. В то время как она жадно пьет студеной воду, старец говорит ей ласково:

– Пеша идти изволишь, царевна? Чай, измучилась? Так тут же уж и недалечко до обители: вон и крест обительский виден!

И, вытянув сухую, желтую, старческую руку, перстом указывает ей вдали среди тумана ярко сверкающую точку.

Низко кланяется ему царевна и спешит далее – с пригорка на пригорок, от перелеска к перелеску... Вот наконец с одной из высот открывается обширная долина, вся еще закутанная белым пологом тумана, и на краю ее, на холме, зубчатые стены, башни и величавые храмы обители Св. Сергия, возносящиеся к

небу свои позлащенные главы. Утренний ветерок доносит издали громкий и величавый благовест...

«Матерь Божия! Преподобный Сергей, Чудотворец милостивый! Сжальтесь надо мною, грешною, преступною, пошлите мне утешение в лютой скорби моей! Сохраните мне его – радость мою, свет очей моих! Пусть я одна поплачусь за все мои прегрешения – лишь бы он был перед вами и чист, и прав! Лишь бы его не коснулась карающая Десница!»

И вот, напрягая последние усилия, царевна спешит спуститься с пригорка и подходит к мосту, перекинутому через глубокий овраг под самыми стенами обители, на середине рассыпанного около нее посада.

А навстречу ей от Святых ворот отъезжает всадник, окутанный в охабень и сопровождаемый десятком конных вооруженных слуг. Завидев царевну, всадник быстро соскакивает с лошади, бросает поводья на руки слугам и спешит навстречу Софье.

– От ближнего боярина и Оберегателя, князя Василия Васильевича Голицына с грамоткой к тебе, благоверная царевна! – громко

воскликает он, поднимая над головою письмо и низко кланяясь царевне. – Многолетнего тебе здравия желаю и поздравляю с победой над злочестивыми бусурманами! – весело говорит посланец, подавая письмо в руки царевне.

Но царевна уже не слышит слов его; с широко раскрытыми глазами, бледная, растерянная, она берет трепетными руками письмо, вскрывает его и поспешно, на ходу, не уменьшая шагу, пробегает строки, исписанные мудренными крюками... Потом, обращаясь к своим спутникам, с просиявшим лицом восклицает:

– Победа! Победа! Слава Богу нашему, помиловавшему нас через князя Василия Васильевича!

– Честь и слава князю Василию Васильевичу! – в один голос восклицают все спутники царевны.

– Победа, победа! – восклицает вне себя царевна, входя в Святые врата обители, забывая даже перекреститься на воротную икону и показывая издали письмо вышедшему ей навстречу игумну и братии. – Победа! Победа!

Звоните в колокола, служите молебны! – еле слышно лепечет она обступившим ее инокам и в изнеможении упадает на ступени паперти, заливаясь горячими, благодарными слезами...

XXVII

Неделю спустя после торжественных молебнов о победах, одержанных князем Василием над «злочестивыми агаряны», князь Борис Алексеевич также получил письма с юга, от иноземцев, принимавших участие в походе, и эти письма представили ему дело в настоящем свете. Победы князя Василия оказались простыми стычками с неприятелем, на этот раз успешно отраженным сильною артиллерией, бывшею при войске князя Василия. После этих стычек войско русское подошло к Перекопи и стало под стенами этой ничтожной крепости, между тем как князь Василий вступил с ханом в переговоры. Переговоры были преднамеренно затянуты ханом; он знал, что имеет дело с вождем нерешительным и слишком осторожным... И действительно, князь Василий вдруг испугался того, что войско его будет терпеть нужду в воде и корме, если долее простоят на месте, нежданно отступил от Перекопа и быстро стал удаляться от пределов Крыма, лишь издали преследуемый озадаченными его от-

ступлением татарами. Сообщая об этом, иноземцы негодовали, писали, что и войско ропщет на князь Василия, что все им недовольны и даже поговаривают, будто бы он подкуплен ханом.

– Враки! – воскликнул князь Борис, бросая письмо на стол. – Не подкуплен он! Изменником и не был, и не будет! А беда вся в том, что он не воин. Не за свое дело взялся! С пером в руке в Посольском приказе его не заменишь, и не собьешь, и не опутаешь! А в поле вышел – и растерялся! Нет взгляда орлиного, нет сметки воеводской... А тут еще, чай, отсюда письмо за письмом шлют: «Свет Васенька, приезжай скорей!» Да и у самого мурашки за спиной бегают, как бы тут Шакловитый чего не напрокудил!.. Только ты, Лев Кириллович, сделай милость, покамест эти вести про себя храни, и никому – ни слова...

– Будь спокоен, Борис Алексеевич! Ты знаешь, умею ли я хранить тайну. Да, кстати, ты не забыл ли, что нас ждет там «богомалец»-то твой с докладом?

– Спасибо, что напомнил! Я тут, зарывшись в письмах, и точно позабыл о нем... Эй, люди!

Кто там есть?

В комнату вошли двое слуг.

– Ввести сюда монаха, что пришел в обед из-под Симонова.

Слуги вышли и несколько времени спустя вернулись с монахом в потертой и засаленной свитке, перетянутой широким порыжелым кожаным поясом; ноги его были обуты в лапти с оборами; на голове была дрянная скуфейка, надвинутая на самые брови; а в руках суковатая палка вместо посоха.

«Богомолец» князя Бориса низко ему поклонился и стал молча у притолоки двери. Когда слуги удалились, притворив за собою дверь, князь Борис и Лев Кириллович указали монаху налево, на дверь моленной палаты, и между тем как Лев Кириллович остался на прежнем месте у стола, князь Борис с «богомольцем» ушли в моленную.

– Ну, что новенького? – спросил князь Борис, усаживаясь в спокойное кресло.

– Да не што... все победам радуемся, князь Борис Алексеевич! – сказал с улыбкою Ларион Елизарьев, снимая с себя скуфейку и проводя рукой по густым волосам. – Вчера государыня

царевна изволила нас жаловать. Всем строевым стрельцам, что эти дни на стенном карауле в Кремле да в Китае были, изволила жаловать по рублю на человека, а нам, начальным людям, по пяти рублей. По всем московским монастырям вклады богатейшие разосланы, а Федору Леонтьевичу приказано на днях готовиться в поход – везти в Троицкий монастырь богомольную царскую грамоту по случаю побед, одержанных над крымцами, да кулек денег настоятелю лавры архимандриту Викентию.

– Царскую грамоту? – произнес медленно князь Борис. – Как же это так – коли она обоими царями должна быть подписана, а один-то царь отсюда за сто за двадцать верст? Ну кто ж за него-то подпишет?

– Это, князь Борис Алексеевич, не нашего ума дело и нам неведомо. Что знаю, то и сказываю.

– Ну да ладно! Недолго уж теперь ей царством мутить! – как бы про себя проворчал князь Борис. – А как насчет денщиков у Шакловитого? Уладил все, как было приказано?

– Все, батюшка-князь, улажено по твоему

приказу. Из пятерых, что были у Федора Леонтьевича в денщиках, по моему совету он четверых сменил, и я ему представил все из наших молодцов: Федора Турку, да Ивана Троицкого, да Капранова Михайлу. И как ему сказал, что на него потешные конюхи зубы точат, так он, по моему уговору, никуда без тех своих денщиков и носу не показывает.

– Ну и ладно! Значит, каждый его шаг будет ведом... Никуда от нас не увернется.

Затем князь Борис поднялся с кресла, подошел к углу под иконами, где на особом столе стоял у него окованный железом ларец с вышкой, отпер вышку маленьким ключиком с органною игрою и вынул оттуда тетрадь на четырех листах, писанную полууставом, да письмо, писанное другим почерком.

– Вот возьми это письмо и эту тетрадь и припрядь их подальше, до времени, – сказал князь Борис Лариону Елизарьеву. – И каждый день, под вечер, ходи мимо нарышкинских хором, что на Варварке. Как увидишь на крайнем окне к саду шандан со свечою, так тотчас пробирайся задами через сад, к прудочку – там свидимся и там получишь от ме-

ня последние наказания.

– А с докладами сюда быть больше не прикажешь? – спросил Ларион, взглядывая с недоумением на князя Бориса Голицына.

– Повремени докладами. Дам знать, коли мне нужны будут вести. В том только случае сам приходи, коли что будет зело потребно знать... И как-то тесно держись с Федькой, чтобы всегда у него быть под руками – чтобы ты не проронил ни слова его или царевнина. И чуть что – если сборы какие в Кремле или между стрельцами смута какая, – сейчас чтобы скакал сюда кто ни на есть из наших молодцов!.. Те кони, что я тебе пожаловал, по вся дни у тебя на стойле должны стоять оседланы... Слышишь?

– Слышу, батюшка-князь! Будь благонадежен...

– Ну, так можешь идти.

Ларион Елизарьев в пояс поклонился князю, достал из-под мышки свою засаленную скуфейку, надел ее, надвинув на самые брови, и, выбравшись из моленной, направился к крыльцу.

Часа два спустя гонец, приехавший от Пе-

реяславля-Залесского, вручил царице Наталье Кирилловне письмецо от царя Петра Алексеевича, писанное на лоскутке грязной бумаги таким неразборчивым почерком, что даже привычный глаз любящей матери не сразу мог разобрать дорогие и давно ожидаемые строки. Петр писал царице: «Вселюбезнейшей и дражайшей моей матушке, государыне-царице Наталье Кирилловне недостойный сынишка твой Петрушка о здравии твоём присно слышати желаю. А что изволила ко мне приказывать, чтобы мне быть в Москве, и я быть готов; только гей, гей, дело есть. И то присланный сам видел, известит яснее; а мы молитвами твоими во всякой целости пребываем. О бытии моем пространнее писал я ко Льву Кирилловичу, и он тебе, государыня, донесет. По семь и наипокорственнее предаюся в волю вашу. Аминь».

Дочитав это нехитрое послание, Наталья Кирилловна долго еще не могла оторвать глаз от его кривых и неровных строк, написанных тесно сбитыми и спешно набросанными каракульками, которые, видимо, с

большим усилием выводила рука Петра, утомленная трудною физическою работою целого дня. И, оторвавшись наконец от письма любимого сына, Наталья Кирилловна все еще не могла от него отрешиться мыслью и заочно ласкала своего богатыря, думая про себя: «Пусть потешится, пока можно, пусть погуляет на воле, пока забота не гложет сердце».

Вошедшие в комнату царицы Лев Кириллович и князь Борис прервали нить мечтаний матери.

– Ну, Левушка, рассказывай скорее, что тебе Петруша пишет? – живо обратилась царица к брату. – Из моего письма только и видно, что он здоров телом и весел духом... А о приезде своем ни словечком не обмолвился.

– И в моем письме все тоже больше о кораблях, – как-то нерешительно проговорил Лев Кириллович, видимо, не желая вдаваться в подробности при бывших в комнате посторонних лицах и при молодой царице Евдокии Федоровне, которая скромно и почтительно сидела около своей свекровушки и, не поднимая глаз, вышивала золотом какой-то мудреный узор в пальцах.

Наталья Кирилловна поняла, в чем дело: медленно поднялась она со своего места и попросила брата и князя Бориса войти в ее крестовую палату. Там, запершись, они и повели беседу вполголоса.

– Ну, говори же скорей, что он там пишет? – нетерпеливо допрашивала царица своего брата.

– Пишет все о кораблях – как их он с немцами отделявал: только ими и голова набита. А он нам здесь нужен...

Царица вопросительно посмотрела на брата и на князя Бориса.

– Ты, благоверная царица, не позволила забыть, что на восьмое число июня царь Петр здесь должен быть на панихиде в память тезоименитства блаженной памяти царя Федора Алексеевича? – сказал князь Борис.

– Ну да! Я и звала его, да вижу – он там так занят, что едва ли сюда к восьмому июня будет. Да и жаль мне понуждать его... Пусть там потешится...

– Великая государыня! – серьезно и строго заметил князь Борис. – Блаженной памяти твой царственный супруг недаром изволил

написать на книге о любимой своей забаве: «Делу время – а потехе час». Так вот и я теперь скажу: час потехи для государя Петра Алексеевича миновал – настало время великого дела государского.

– Ты меня пугаешь, князь Борис! – тревожно проговорила царица Наталья Кирилловна. – Верно, ты что-нибудь узнал недоброе? Скажи скорее...

– Нет, государыня, никаких недобрых вестей я не принес тебе... Не изволишь ли ты помнить, как минувшим летом я говорил тебе и брату твоему Льву Кириллычу, что еще не время, что мы должны быть только настороже и наготове, что выжидать должны? Ну так теперь я же говорю тебе, великая государыня: зови немедля сына своего сюда! Настало время для дела.

Царица набожно сложила руки на груди и молча подняла очи к иконе Богоматери, как бы творя про себя молитву и предавая сына своего, вступающего в жизнь, Ее милостивому покровительству.

– Не медли и не волнуйся, государыня! Теперь надо приготовить царя Петра Алексееви-

ча к делу. Ему пора ступить за свои права – пора напомнить сестре своей, что он русский царь! Пора подавить крамолу, пока она еще не подняла главы своей...

– Я напишу севечер и прикажу ему быть к Москве немедля, – сказала царица. – Но изъясни мне – как думаешь ты ввести его в дела правления? Ведь Софья не выпустит власти из рук, ведь она опять поднимет против нас злодеев!

– Нет, государыня, ей не поднять их! Прочены – не поддадутся больше на обман. Одно твердят и ей, и Шакловитому: «По указу великих государей все сделаем, а самовластно действовать не будем, хоть многожды бей в набат...»

– О Боже Праведный! Благодарю Тебя! Видно, недаром пролита была кровь стольких невинных страдальцев! – прошептала царица, и слезы крупными каплями закапали из глаз ее.

– При том же, государыня, у нас все так налажено, что им уж никому и шагу ступить нельзя, чтобы мы не прознали... А чуть зашевелиятся, мы уж и ведаем, что нам делать: сей-

час отсюда в обитель Сергиеву! Засядем в ее святых стенах и на всю Русь кликнем клич, всю землю вокруг себя соберем! Тогда посмотрим, за кого все станут?

– Но ведь это опять смута, кровь, казни, пытки, ужасы!.. Терзания! – проговорила царица, устремляя вопрошающий и тревожный взгляд на князя Бориса.

– Если царь Петр Алексеевич выкажет твердость и не колеблясь вырвет власть из рук царевниных – все станут за него... И ни смуты не будет, ни крови никакой не прольется. Вот если он чуть поколеблется или забудет о деле для потехи... Да нет – он не таков! Он сразу поймет, что уж теперь не время медлить!.. Пролиться может только кровь изменников, так можем ли о них жалеть, государыня? Разве они давно уже не заслужили плахи?

Царица Наталья Кирилловна вдруг взглянула в глаза князю Борису и, быстро схватив его за руку, проговорила:

– И если даже... если даже твой брат двоюродный... Если князь Василий Голицын окажется изменником и дерзнет... Ты и его осудишь на плаху?

Князь Борис вздрогнул невольно при этих словах и проговорил глухо:

– Голицыны всегда служили верою и правдою своим законным государям!

Царица опустила в кресло, оперлась рукою на один из поручней и глубоко задумалась. И в глубоком почтительном молчании долго стояли около царицы ее верные друзья, понимая, как тяжело ей было принять окончательное решение.

– Князь Борис Алексеевич! Брат Левушка! – тихо проговорила наконец Наталья Кирилловна. – Оставьте меня на час одну – дайте мне подумать! Дайте прибегнуть за советом и помощью к общей Заступнице всех матерей, к общей Матери всех детей, отдавшей Сына Своего Единородного на страдание и муку крестную ради спасения всех нас, грешных!

И когда Лев Кириллович и князь Борис тихо вышли из крестовой палаты, царица пала на колени перед образом Смоленской Божьей Матери и долго, долго молилась, припадая челом к полу; молилась так усердно, что не чувствовала, как по щекам у ней текли горячие слезы, ключом закипавшие на сердце. Среди

вздохов и неудержимых рыданий слышны были только шепотом произносимые слова: «Спаси его, Царица Небесная!.. Вразуми его... научи его ходить путями праведными...»

В тот же вечер спешный гонец поскакал из Преображенского в Переяславль-Залесский и повез царю Петру Алексеевичу строгий приказ царицы Натальи Кирилловны, немедля и без всяких отговорок, прибыть в Москву к 8 июня.

XXVIII

Весь июнь месяц прошел совершенно спокойно. Петр жил почти безвыездно в Преображенском; София никуда не выезжала из Москвы и готовилась к торжественной встрече победителей, которые должны были вернуться в Белокаменную в начале осени. Но в самый трудный день праздника чудотворной иконы Казанской Божьей Матери (8 июля) между Петром и Софией произошло первое столкновение, ясно указывавшее на близость и возможность полного разрыва. Перед самым началом крестного хода, когда все царское семейство собралось в Успенский собор, Петр вдруг потребовал, чтобы София не шествовала в крестном ходе вместе с царями (как это бывало в последние годы): по издавна установившемуся в Москве дворскому обычаю царицы и царевны не могли принимать участие в торжественных выходах и показываться в народе. София резко ответила на требование Петра, взяла в руки икону «О Тебе радуется» и вместе с братом Иоанном Алексеевичем пошла за крестами. Петр разгневался,

не захотел участвовать в крестном ходе и тотчас уехал из дворца за город.

Но эта первая вспышка давно тлевшей вражды, возбудившая на другой день тревожные толки на площадке, по-видимому, не имела никаких последствий. Все как будто вошло в прежнюю колею... Толковали только, что Петр в своем кружке громко порицает действия князя Василия как полководца и не соглашается на те щедрые награды, которые назначены Софией ее любимцу и его товарищам-воеводам. Но и об этом вскоре замолчали, так так в одном из приездов Петра в Москву из Преображенского Софии удалось уговорить, упротить брата, чтобы он согласился на обнародование этих наград и подписал грамоту, в которой превозносились подвиги Оберегателя и подручных его воевод. Почти никто не обратил внимания на эти первые шаги Петра; большинство относилось к ним как к капризам ребенка. «Блажит преображенский баловень», «ломается над сестрицей», – говорили на площадке.

Но в воздухе уже носилось что-то недоброе, зловещее... Все обратили внимание на то,

что Петр стал наезжать в Москву не иначе как с весьма многочисленной свитой из «потешных»; обратили внимание и на то, что каждый раз, когда Петр должен был прибыть в Москву, в Кремле усиливались караулы, а около Красного крыльца ставили в одном из помещений нижнего дворцового жилья человек пятьдесят стрельцов с ружьем. Один из этих стрельцов проговорился даже, будто бы Федор Леонтьевич сказал им как-то: «Смотри-те, братцы, не зевай! Слушай вестового набатца, где часы стоят, и как услышите колоколец – сейчас идите в Верх и кого вам укажут брать – берите, чтобы над государыней какой хитрости не учинилось». Правду ли говорил этот нескромный стрелец или взводил на Шакловитого небывальщину – этого никто не брался решить; но заметили, однако же, что Шакловитый ободрился и поднял голову и что даже возвращение Василия Голицына, по видимому, не изменило того прочного положения, которое он занял при дворе Софии в последнее время. Но Петр приезжал и уезжал, предосторожности по поводу этих приездов принимались и отменялись – и все же не про-

исходило ничего такого, что бы могло служить предвестием близкой, надвигающейся бури.

27 июля Оберегатель и его близкие товарищи-воеводы, принимавшие участие во втором Крымском походе, поехали в Преображенское благодарить царя Петра Алексеевича за дарованные им царские милости. Но не прошло и трех часов, как блестящий поезд вернулся обратно в Москву. Петр не только не принял князя Василия и его товарищей, но еще выслал к ним боярина – сказать, что он «видеть их не желает». И вот на другой день опять гудела площадка разными недобрыми вестями.

– Поехал орлом, вернулся мокрой курицей! – говорили, пересмеиваясь между собою, площадные завсегдатаи, намекая на вчерашнюю поездку Оберегателя в Преображенское.

– Ну, это, пожалуй что, и не сойдет даром с рук царю Петру Алексеевичу? – добавляли шепотом другие. – Ино бы и простила сестрица, а тут уж где до сердца дошло – не спустить!

– Да что она поделает? Ведь он теперь на

возрасте! Что хочет, то и воротит!

– Полно, так ли, Семен Иванович? – таинственно добавляли другие. – Царевнина рука все еще посильнее будет... Ты слышал ли, что сегодня поутру за всенощной было в Новодевичьем?

– Нет, нет! – отзывались голоса той кучки, в которой происходила беседа; и все головы вытягивались вперед, наклонялись к говорившему, чтобы не проронить ни одного слова.

– А вот что было за всенощной, братцы! Царевна, собрав стрельцов на паперти, им на царицу Наталью Кирилловну жалобилась. Мне с братом Иваном, говорит, житья от нее нет. Опять, говорит, на нас брата Петра травляет. Так вы, мол, скажите: годны ли мы вам? А коли не годны мы, говорит, в других государствах себе приюта поищем.

– Ну, ну? А они что?

– Те говорят ей: «Воля твоя! Мы тебе служить готовы». А она-то им и говорит: «Ждите повестки». Разумеете ли, братцы, куда дело пошло?

– Коли правда, так неладно это дело! – ото-

звалось несколько голосов.

В то же время в другой группе один из молодых стольников горячился ужасно, передавая приятелям другой странный слух.

– Уж надо же и правду сказать! – говорил он громко и, видимо, не стесняясь тем, что ею могут услышать. – Что греха таить! Хороши и Нарышкины! Ведь прямо сами на нож лезут! Слыхали ли вы, что хоть бы тот же Лев Кириллыч придумал на досуге?

Окружающие молча насторожили уши.

– А вот что: соберет человек двадцать потешных да из боярских детей кое-кого с собой прихватит и ездит по стрелецким караулам. Подзовет к себе караульного стрельца да и велит его плетьюми драть, а не то и сам его колотит, увечит, приговаривает: «Бейте-де гораздо! Не то еще им будет – заплачу за смерть братьев своих!»

– Ну, брат, – отзывались на это голоса тех, кто постарше, – ври, да меру знай!

– Нечего тут врать! – горячился рассказчик. – Ведь те стрельцы-то изувеченные да избитые в Стрелецкий приказ прихаживали с просьбами. Им Федор Леонтьевич из Дворцо-

вой аптеки и лекарства выдавать приказы-вал!..

– Пустое! Быть того не может! Нарышкины в Москву и носу не показывают!.. Видно, тут шашни чьи-нибудь! – кричали рассказчику со всех сторон, и он уже собирался было отвечать возражателям крупной руганью, как вдруг внимание всей площадки было привлечено порядочною толпою народа, которая шла по Ивановской площади к воротам Дворцового двора. У ворот толпа остановилась, и от нее отделилась небольшая кучка людей, во главе которой шел весь причет Казанского собора и стрелецкий пятисотный Ларион Елизарьев с несколькими стрельцами. Ларион бережно нес в руках какое-то письмо и тетрадь, четко исписанную полууставным почерком.

– Что такое? Что? Откуда? Какое письмо? Какая тетрадь? – зажужжали площадные, окружая вошедших во двор попов и стрельцов, которые молча остановились у Красного крыльца и через придворную служню послали сказать в Верху, что просят выйти к ним ближнего окольного Шакловитого и должны сообщить ему нечто важное.

Через несколько времени Шакловитый потребовал к себе во дворец Лариона Елизарьева и причет Казанского собора. Дневальные жильцы проводили их мимо площадки боковым крыльцом за преграду. Хотя ни Ларион Елизарьев, ни попы и дьяки Казанского собора никому во дворе государевом не сказали ни слова, но немного спустя на площадке уже перешептывались в разных углах, что «на Лубянке объявилось подметное письмо», что в том письме указано было заглянуть в Казанский собор за икону в правом пределе; заглянули – нашли тетрадь, а в той тетради «про царевну всякие непристойные и чести ее ззорные слова написаны» и указано народу, что следует перебить всех бояр, приближенных царевне, начиная с князя Василия Васильевича Голицына.

– Ну, братцы! – зашептали в разных углах площадки. – Плохо дело! Чай, не забыли еще, что, как нужно было князьям Хованским головы снять, тоже подметные письма на Верху объявились?.. Вот и теперь тоже как будто хованщиной запахло... Подметное письмо – Шакловитого дело... Кому же теперь-то от него

без головы быть?

Но всеведущая площадка на этот раз ошибалась. За преградой шел разговор другого рода. Шакловитый, озадаченный и недоумевающий, расспрашивал преданнейшего из своих приятелей пятисотного Елизарьева о том, как он нашел письмо, и тот подробно пояснял ему, что он то письмо нашел на Лубянке, чуть только вышел из своего дома.

– Поднял его, прочел да тотчас стрельцов с собою человек десять прихватил; говорю: так и так, идем в собор при попах соборных, посмотрим – нет ли тут какой беды? Пришли к попам и говорим...

– Перепугали нас насмерть, батюшка Федор Леонтьевич! – вступился соборный протопоп. – Показали нам письмо – а мы так и обомлели, друг на дружку смотрим и даже язык прилип к гортани...

Подробно допросив причет и приказав подьячим записать «сказки» попов и Лариона Елизарьева, Шакловитый понес подметное письмо и тетрадь в комнату царевны, которая нетерпеливо ожидала его возвращения, совещаясь о чем-то с князем Василием.

Шакловитый вошел – и уже по выражению его лица, по сумрачному блеску его глаз царевна и ее любимец поняли, что случилось нечто важное. В нескольких словах, волнуясь и спеша, Федор Леонтьевич объяснил главную суть дела и добавил:

– Государыня царевна, дерзости врагов твоих нет пределов! Давно бы пора им печать на уста наложить!

Царевна между тем пробежала глазами тетрадку, найденную за иконой, и то бледнела, то краснела, то хмурила брови. Наконец она ее положила на стол и, тяжело дыша от волнения, не могла несколько минут произнести ни одного слова.

– Злодеи! – прошептала она наконец. – Они теперь уж меня и со свету сжить хотят!..

Водворилось полное молчание. Князь Василий взял в руки письмо и тетрадку и, просмотрев их, сказал как бы про себя:

– Письмо писано знакомою рукою...

– Как? Ты знаешь, кто писал письмо? – спросила царевна с удивлением.

– Не знаю, кто писал, великая государыня,

– спокойно отвечал Оберегатель, – но знаю,

что этот почерк я видал не раз.

– Ну что же делать теперь? – спросила царица. – Враги умышляют на мою жизнь, на твою жизнь, – я не могу быть спокойною даже в Кремле.

– Государыня, – сказал князь Василий, – кругом тебя верные слуги...

– Но ты видишь, что и на моих верных слуг умышляют злодеи, что и на них поднимают народ!

– Народ не ведает о том подметном письме, государыня.

Шакловитый, все время мрачно молчавший, не вытерпел и вступил в речь:

– Хотя и не ведает – найдутся люди, растолкуют. По-моему, пора до злодеев добраться!

Оберегатель взглянул на него и готовился резко ответить ему, когда Софья вдруг отозвалась на слова Шакловитого:

– Да, я сама так думаю! Нечего медлить! Добром с ними не поладишь!

– Великая государыня, но кого же ты хочешь покарать? Кому грозишь ты?

– Как кому?! – громко воскликнула Софья, вскакивая со своего места и сверкая пламен-

ными очами. – Ты ли меня об этом спрашиваешь, князь Василий Васильевич! Кому грозишь? Кого карать? Вестимо кого – Нарышкиных да Бориску треклятого! Он всему злу заводчик! Да и все это преображенское гнездо – вот оно где у меня сидит!

И Софья показала на горло, задыхаясь от злобы.

– Невозможное и недостаточное это дело, великая государыня! – продолжал князь Василий, стараясь сохранить спокойствие и достоинство речи и, не обращая внимания на Шакловитого, который пожимал плечами и презрительно улыбался. – Ни Нарышкины, ни князь Борис не объявились против тебя ни в какой измене... Да при том же ведь и царица Наталья Кирилловна теперь уже не выдаст братьев, как прежде...

– Не выдаст! Так и ее принять! – гневно воскликнул Шакловитый, перебивая Оберегателя.

Князь Василий вдруг выпрямился во весь рост и, насупив брови, смерил Шакловитого с ног до головы презрительным взглядом.

– Благоверная государыня, – произнес он

величаво, – прикажи замолчать твоему чересчур ретивому слуге. В этих стенах негоже нам ни вести, ни слушать его речи... В былое время, при блаженной памяти царе Алексее Михайловиче, окольниковичие не дерзали при боярах и рта открыть, – а у тебя, государыня, видно, иной введен обычай?

– Князь Василий Васильевич, – недовольным тоном отозвалась Софья, раздосадованная хладнокровием своего любимца, – окольниковичий Шакловитый, быть может, и не впору слово молвил, а да от души, и я на него не сетую. Ведь ты все говоришь от разума... а тут уж не до разума! Тут надо нам за меч браться...

– Благоверная государыня, – горячо возразил ей князь Василий, – припомни слова Писания: *извлекшие нож – ножом и погибнут*. Не хватайся первая за меч! Если бы тебе грозила неминуемая беда и надо было бы точно защищать тебя, я первый бы взялся за меч и пошел за тебя на смерть... Но ведь тут только подметное письмо, да клеветы, да надругательства, да шипение зависти... Как ты от них мечом-то отобьешься? Кто может ущитить

нас от клеветы! Ведь ты же слышала, и обо мне кричат, что я подкуплен ханом, что отступил от Перекопи, взявши золото татарское!..

Мой совет: презри, пренебреги этим письмом и эту тетрадь. Надо, чтобы и слух о них заглох...

– Государыня царевна, – заговорил Шакловитый, задыхаясь от злобы, – руби мне голову да дозвожь слово молвить! Такой совет нашим лютым врагам на руку! Они, поди, уже готовятся!.. Они не сегодня завтра сюда пожалуют с озорниками потешными и всех нас переберут руками... А мы так будем сидеть сложа руки – шею им под топор подставлять! Только прикажи, государыня, и, пока еще есть время, мы с двадцатью стрелецкими полками нагрянем на Преображенское...

Не вытерпел и князь Василий и, забывая достоинство свое и честь боярского сана, перебил Шакловитого, обращаясь к Софии:

– Государыня, коли ты так позволяешь говорить ему, то я скажу тебе в глаза всю правду... как по душе! Подметное письмо подкинуто «преображенскими соседями», и с тетра-

дью дело ими же подстроено. Они вот на таких безумных, безголовых людей надеются, как дьяк Шакловитый! Они только и хотят того, чтобы *ты начала*, – им нужно, чтобы ты подняла стрельцов!.. А что *он* с двадцатью полками сделает против земской силы? Изволь лишь помнить, государыня, как ты из Сергиевой обители тогда стрельцов пугнула и смирила?.. Нас ловят на мякину «преображенские приятели» – и я им не поддамся... Я буду ждать! Но так как тебе, благоверная государыня, угодно слушать советов Шакловитого, то мне здесь не место быть. Я удаляюсь и буду ждать, когда тебе угодно будет выслушать меня спокойно и разумно.

XXIX

Приехав домой, князь Василий Васильевич застал у себя дьяка Украинцева, который уже давно ожидал его, и, после разных обиняков и намеков, высказал ему, что у него есть тайное дело, о котором и переговорить следовало бы втайне и немедленно.

Князя Василия не удивили довольно прозрачные намеки Емельяна Игнатьевича – он давно знал о двойной игре, которую так ловко ведет этот умный делец; но он не прочь был услышать, что может сообщить ему Украинцев.

Когда они вошли в Шатровую палату и дверь в сени была плотно притворена, князь Василий опустился в свое кресло и, вопросительно взглянув в лицо думного дьяка, произнес:

– Что скажешь, Емельян Игнатьевич?

Украинцев откашлялся в руку, оглянулся направо и налево, полез за пазуху и, на цыпочках подойдя к столу, подал князю Василию какое-то письмо.

– От кого это? – тревожно спросил князь

Василий.

– Изволь вскрыть и прочесть – и, буде не любо, не прогневайся на меня.

Князь Василий вскрыл письмо и, бросив на него беглый взгляд, понял, от кого оно было прислано... Князь Борис писал ему, что им пора забыть вражду, что следует опять сойтись, что он – верный слуга царевны Софьи Алексеевны, – вероятно, будет так же точно служить и царю Петру, когда вся власть перейдет в руки царя, и не будет стоять за изменников, умышляющих «на государское здорье». Словом, это было формальное предложение перейти на сторону Петра и покинуть царевну, пока есть еще время.

Князь Василий прочел письмо, положил его на стол и глубоко задумался. В первую минуту он не знал, как отнестись к этому письму – с негодованием, с удивлением ли или с насмешкой...

Украинцев не спускал с него глаз и выжидал терпеливо.

– Емельян Игнатьевич, – сказал наконец Оберегатель, – я давно знаю о твоих сношениях с князем Борисом...

Украинцев заморгал и собрал бороду в горсть.

– Давно знаю, что двум господам служишь... И, должно быть, теперь уж «преображенские приятели» верх берут, что ты дерзашь ко мне с их стороны подступы вести...

Украинцев все слушал молча, не изменив положения.

– Так ты вот что скажи от меня князю Борису, как его увидишь: изменником великим государям я не был и не буду; в крамолу никакую не войду и не дерзну руки поднять на царя Петра Алексеевича, что бы ни замышляла царевна со своим Шакловитым, но и царевны я не покину и останусь при ней до конца, пока буду ей нужен.

Украинцев наклонил голову и развел руками в стороны. Но затем, собравшись с духом, оперся руками на стол, взглянул князю Василию в глаза и заговорил вполголоса, в большом волнении:

– Батюшка-князь Василий Васильевич, передам я твой ответ, только уж пусть он будет не последний... Царевна нашими головами играет – не знает она, каков братец-то ее, ве-

ликий государь Петр Алексеевич! Недалек тот день, как он на всю Русь клич кликнет и в руках своих всю власть соберет... Куда она тогда со своими стрельцами денется! Да ведь он ее, как вихрем, сметет – сметет, не помилует... Где он вину найдет, там нет у него милости, даром что он еще молод и не оперился... А сметет он ее – куда же мы-то, слуги ее, денемся? Куда голову приклоним?..

И Украинцев смолк, покачивая головою и вопросительно вперяя взор в лицо князя Василия. Молчал и князь Василий.

– Да изволишь ли ты знать, князь-батюшка, что злодей-то ее, Федько-то Шакловитый, в последние дни затеял? Он, видишь ли, поднимал-поднимал стрельцов – видит, что с ними ничего не поделаешь, что дураков-то между ними теперь мало осталось, вот он и задумал иным путем их против Нарышкиных подбить. Матюшку Шошина, подъячего, изволишь знать? Так вот этого самого Матюшку боярином нарядают, да с шайкой своих головорезов и подсылает бить стрельцов по караулам: будто бы их Лев Кириллыч бьет! А которых Матюшка изувечит, тех Федька сожалеет,

велит лечить на счет царевны и всем им говорит: «Погодите, еще то ли будет! Дождетесь, что и вас станут за ноги с площади таскать, как вы бояр таскали!..» Так вот он каков – разбойник сущий! И ему-то царевна доверяет, с ним затевает на Петра идти!! Ну, где же им!..

Князь Василий все это выслушал и, поднявшись с места, сказал:

– Я к этим злодеяниям не причастен. Ни в чьей крови не замараю рук; но я сказал тебе, Емельян Игнатьевич, что царевны не покину и двоить душой не стану. Когда ее не будет, я стану верою и правдою служить царю Петру; но при царевне останусь до конца.

Емельян Игнатьевич взял со стола письмо князя Бориса, спрятал его за пазуху и, молча поклонившись князю Василию, вышел из Шатровой палаты.

После размолвки князя Василия с царевной Софьей князь не являлся к ней в комнату перед боярскими сиденьями, хотя и каждый день, по-прежнему, бывал в дворце и в Приказах. Он ждал, что царевна позовет его, попросит его совета, пожелает с ним примириться,

оттолкнет от себя Шакловитого... Тогда, по мнению князя Василия, еще мог наступить такой момент, когда можно было бы более или менее удачно уладить отношения к Петру и оградить царевну от грозных случайностей... Но царевна гневалась на князя, чувствовала себя обиженной, как женщина, которую любимый человек покинул тогда именно, когда должен был выказать ей всю свою преданность, – и она, назло князю Василию, поощряла Шакловитого в его диких и смешных затеях и готова была с ним вместе на все крайности. Слепленная досадою на любимого человека, она забывала о своем положении правительницы и о том, что она действительно играла своею головою и головами своих приверженцев.

Благодаря этому Шакловитый вдруг быстро выдвинулся на первый план и захватил в свои руки все нити... И он торжествовал, он наслаждался властью, которая досталась ему после стольких щелчков судьбы и стольких обманутых ожиданий. «Калиф на час», он воображал себе, что сумеет упрочить эту власть за собою, сумеет справиться со всеми врагами

царевны, сумеет доказать ей не только преданность свою, но и умелость... И в то же время делал ошибку за ошибкой, глупость за глупостью – оскорблял самолюбия, раздражал понапрасну опасных противников, поощрял своих буйных пособников, стращал и грозил, хватал и сажал в тюрьму совершенно невинных людей и не замечал около себя измены, которая зорко следила за каждым его шагом. Шакловитый по какому-то странному ослеплению все еще воображал себе, что ему удастся поднять стрельцов и со всею силою их ударить на Преображенское; он все еще думал, что он, а не кто-либо другой, именно он и есть тот избранник, который призван рассечь гордые узел, затянутый судьбою над Московским государством, – и даже умной Софье внушил доверие к своим безумным замыслам. И вот, на Верху у себя, на площадке у церкви Риз Положения царица Софья каждый день стала собирать стрелецких начальных людей и выборных от стрелецких сотен, говорила им пламенные речи, умоляла защитить ее с братом Иваном Алексеевичем от царя Петра и Нарышкиных, которые и «царский

венец изломали», и «комнату царя Ивана забросали поленьями». Беседы со стрельцами и речи царевны заканчивались крестным целованием, которым приятели Шакловитого подтверждали царевне свою преданность, а затем Степан Евдокимов выносил кульки с деньгами и щедро оделял ими стрельцов от имени царевны. И, кроме этих бесед и речей, ни Софья, ни Шакловитый ничего не предпринимали... Слова оставались словами и не переходили в дела...

Между «площадными» придворными и по всей Москве ходили какие-то странные, невероятные слухи: одни уверяли, что царь Петр должен не сегодня завтра нагрянуть на Москву со своими потешными, захватить всех приятелей и пособников Софии, а ее запереть в монастырь. Другие утверждали за верное, что царевна Софья сама готовится выступить из Москвы со стрельцами и пострацать Нарышкиных. Шли толки о том, что надо ждать великой смуты, и всех особенно пугало то равнодушие, с каким князь Василий относился к безрассудным выходкам Софии и Шакловитого.

– Хитрая лиса, – говорили одни, – знамо, что всем руководит, а сам прикидывается, будто и не его дело!

– Заварил кашу да увильнуть в сторону хочет! – говорили другие. – Каково-то ее расхлебывать придется!

Наконец, 7 августа, по возвращении домой из дворца, князь Василий узнал, что сегодня к вечеру приказано собраться в Кремле стрельцам по сотне от каждого полка да на Лубянке приготовить триста человек – в запас и подмогу... Он понял, что Шакловитый и Софья решились действовать... Тогда и князь Василий решился сказать свое последнее слово.

После вечерен он явился на Верх к государыне царевне и долго беседовал с нею наедине, и ни одни самые чуткие придворные уши не могли подслушать и рассказать, в чем состояла эта последняя беседа князя Василия с царевной Софьей... Известно только, что поздно вечером князь Голицын сошел с Верха печальный, растерянный, бледный. Подозвав к себе полковника Нормацкого, который был в тот день с полком на стенном карауле, князь передал ему приказание царевны – все воро-

та в Кремле, и в Китае и в Белом городе запи- рать, как пробьет первый час ночи, а отпи- рать за час до света. Когда он сел в карету и поехал к себе на Большой двор, то заметил, что в Кремле все дворы были битком набиты стрельцами. На выезде из Кремля он опять столкнулся на дороге с многочисленным стре- лецким отрядом, который, держа ружья на плече, направлялся к Никольским воротам.

Вернувшись домой, князь Василий при- шел к себе в моленную палату – и в совершен- ном изнеможении опустился на лавку около стены... Строго и сурово смотрели на него из углового киота лики Спасителя и угодников Божьих, словно негодуя на ту слабость духа, которую он выказывал в эту решительную минуту; но он не чувствовал в себе сил, не чувствовал решимости, не чувствовал за со- бою той правоты, которая могла бы поднять его дух и побудить его к действию. Он мог только сказать себе: «Не далее! Довольно!» – и с тупою покорностью ожидать ударов судьбы как возмездия за свои заблуждения...

Поздно ночью Кириллыч постучался ле- гонько в дверь молельной и окликнул князя.

– Пятидесятник Обросим Петров к твоей милости от окольникового Шакловитого прислан, – доложил старик.

– Что ему нужно?

– Говорит, что только твоей милости на словах передать приказано...

– Скажи ему, что мне неможется и я к нему не выйду.

Кириллыч ушел.

Уже стало светать, когда вновь слышались за дверью шаги Кириллыча и стук в дверь.

– Батюшка-князь, сам Федор Леонтьевич к тебе пожаловал и говорит, что должен тебя немедля видеть.

– Проси его в Шатровую, – сказал князь Василий, с трудом поднимаясь со своего места.

Шакловитый вошел в Шатровую палату почти одновременно с князем Василием. Они молча поклонились друг другу. Князь Василий указал Шакловитому на кресло и сам сел на свое место.

– Князь Василий Васильевич, – сказал Шакловитый, не садясь и оправляя богатый пояс на своем терлике, – я прислан к тебе царев-

ной в последний раз спросить тебя: готов ли ты принять начальство над стрельцами и вести их на Преображенское? Стрельцы все в сборе – и ждут только слова...

– Я вчера сказал царевне, что крови не пролью, что крамольником перед государями не буду. От своего слова не отступаюсь.

– Это твое последнее решенье?

– Да, последнее. И дальше нам с тобою не о чем говорить...

Шакловитый принужденно улыбнулся и сложил руки на груди.

– Ты, значит, князь, теперь уж на покой задумал? Покаялся? И больше грешить не хочешь! Ха, ха, ха! Давно ли такое смирение тебя обуяло? Должно быть, после крымских неудач?.. Или уже облюбывал себе местечко у «преображенских»? А мы еще хотим попробовать, еще поборемся!

– Ну и борись! Я не мешаю и не завидую той плахе, на которой ты сложишь голову! – сказал князь Василий.

– Плахой задумал меня пугать! А сам-то думаешь небось уйти от плахи? Нет! – вместе рядком ляжем... С пытки буду одно твердить,

что ты всему зачинщик и заводчик, что ты царевну подучал против великих государей, а пыточным речам, ты знаешь, верят!.. А еще скажу, что ты, как трус, как предатель...

– Уходи, проклятый! – завопил не своим голосом князь Василий, схватывая тяжелое кресло и, как перышком, взмахивая им над головой. – Уходи, или я размозжу тебе голову!

Прежде чем Шакловитый успел ответить Голицыну, дверь в палату распахнулась настежь, и князь Алексей с десятком слуг ринулись на Шакловитого. Дюжие руки ухватили дьяка за руки и за плечи, а Куземка Крылов и князь Алексей бросились к князю Василию. Опустив кресло, бледный как полотно, он трясся всем телом и тяжело дышал.

– Батюшка! Что с тобой? – воскликнул князь Алексей.

– Пусть он уйдет! Пусть уйдет!.. – мог только произнести князь Василий. И Шакловитый был мигом выведен слугами из комнаты, между тем как князь Алексей и Кириллыч суетились около князя Василия, который опустился на кресло в совершенном изнеможении.

И никому из всех этих людей – ни князю Василию с князем Алексеем, ни Шакловитому с его пособниками, ни царевне Софье, ожидавшей его со стрельцами на паперти Казанского собора, – не приходило в голову, что в то самое время, когда они волновались и сумасбродили, когда они ссорились и гневались, когда они строили планы и мучили души москвичей всякими страхами и тревогами, история России, следуя указанными свыше неисповедимыми путями, уже вступала в новый период. Никому не приходило в голову, что именно в эту смутную и беспокойную ночь, когда половина Москвы не спала, прослышав о сборах стрельцов в Кремле и Белом городе, правление царевны Софии кончилось.

В 6 часов утра 8 августа 1689 года обитель Св. Сергия приняла под свой гостеприимный кров юного царя Петра Алексеевича, поспешно бежавшего из Преображенского села под защиту седых твердынь, столько веков уже служивших великие службы Русской земле. Два часа спустя в обитель прибыли Наталья Кирилловна и юная супруга Петра, окружен-

ная свитою ближайших бояр и надежных слуг царских. За ними следом спешили преданные Петру стрельцы Сухарева полка, полки потешных, артиллерия и обозы с запасами и царским имуществом. Несколько спустя дорога к Троице покрылась каретами и колымагами перепуганных и переполошившихся московских бояр, которые спешили заявить о своей преданности царю Петру и предложить свои услуги...

Начиналось новое царствование...

Рано утром 8 августа один из денщиков Шакловитого нагнал его на пути к его дому на Знаменке и шепотом сообщил ему впопыхах:

– Государь Петр Алексеевич из Преображенского бежал скорым походом в Троицкий монастырь.

– Как бежал? – спросил Шакловитый, страшно меняясь в лице.

– В ночь бежал; в одной рубахе из дворца в конюшню выскочил: на коня да в рощу. В рощу уж ему и одежду подали...

– Ну вольно же ему, взбесясь, бегать! – пробормотал Шакловитый, стараясь казаться спокойным; и затем добавил, обращаясь к денщику: – Смотри, никому ни гугу! А не то туда упрячу, куда Макар телят не загонял!

Но предосторожность оказалась совершенно напрасною. В то же самое время по улице Сретенке шли от заставы из-за города «неведомо какого чина люди» и несли грибы, а после их «промчали два человека конных, Стремянного полка стрельцы, и сказывали, что государь изволил из Преображенского пойтить

в Троицкий монастырь и идет гораздо скоро». Люди с грибами пришли на торговую площадь и сообщили эту новость; с быстротою молнии разнеслась она по городу, уже с значительными добавлениями и прикрасами... Новость даже и этому простому люду показала в такой степени важною, что многие торговки побросали товар на площади, спеша сообщить слух своим домашним и предостеречь их насчет того, что «на Москве будет вскоре бунт по-прежнему». Какой-то погребщик даже советовал своим соседям назавтра не открывать лавок, а торговкам не приходиться в город «для того, что будет худо; а какое будет худо – того не сказал». Весь город загворил разом, и приток свежих новостей из Преображенского всех поднял на ноги; паника распространилась так быстро, что нечего было и помышлять о сокрытии важного происшествия. Когда под вечер в Стрелецкий приказ привели какого-то стрелецкого приемыша Степана Алексеева и вдову Маврутку и стали допрашивать их «о смутных речах про поход государя из села Преображенского», они имели полное право ответить, что они в

тех речах не виноваты и что о том говорит весь город.

На другой же день обнаружались и явные признаки того, что всеми была одинаково осознана серьезность положения: площадка опустела. Вместо нескольких сот человек явилось на ней несколько десятков, да и те толкались, как растерянные, пошептались между собою и разошлись... На Ивановской площади тоже стояло всего несколько карет и колымаг; бояре сидели дома – те, которые еще не ехали по Троицкой дороге, чутко прислушивались ко всему, что говорили в городе, и выжидали у моря погоды. И Шакловитый, и Софья, и последний из их пособников – все поняли, что наступил конец... Но все еще надеялись на какой-то благоприятный оборот дела, на возможность примирения, на уловки и хитрости. Петр сразу отнял эти надежды... Уже 9 августа явился из Троицкого монастыря посланный от государя с запросом к царю Иоанну Алексеевичу и царевне Софье о причинах многочисленного сбора стрельцов в Кремле и на Лубянке на 8 августа. Пришлось отписываться и прикрываться детской ло-

жью, которой, конечно, никто не мог поверить. На другой день новое требование Петра: прислать к нему полковника Стремянного полка Ивана Цыклера с пятьюдесятью стрельцами. На третий – скрытно бежали в Троицкий монастырь: пятисотный Ларион Елизарьев, пятидесятник Ульфов и все денщики Шакловитого и вместе с Цыклером подали изветы на Шакловитого и его сообщников в злоумышлениях на царское здоровье и приготовлениях к бунту.

Затем события последовали одно за другим с такою быстротою, что за ними почти невозможно было уследить. Не делая ни шагу из Троицкого монастыря, рассылая всюду только грамоты, Петр уже видел, как с каждым днем все более и более возрастало его могущество и значение и как таяло, уничтожалось, рассыпалось прахом мнимое величие Софьи. Напрасно пыталась она не допустить грамоты Петра в Москву и стрелецкие полки; напрасно старалась всех уверить, что эти грамоты идут не от царя, а от князя Бориса и тех злых людей, которые хотят ее с братом поссорить. Ей не верили и опасались только ее

угроз. Но Петр прислал вторые грамоты прямо в стрелецкие полки и в гостиные сотни, и в дворцовые слободы, и в черные сотни, приказывая тотчас прибыть в Троицкую обитель всем полковникам и урядникам с десятком рядовых стрельцов от каждого полка, всем старостам из сотен и выборным из слобод – и из Москвы к Троице двинулись толпы... Ушли все стрелецкие начальные люди и открыли Петру новые неизвестные подробности о замыслах и проделках Шакловитого и его сообщников... Заколебались и иноземцы со своими полками и стали проситься в поход к Петру.

Не потерялась только Софья и до последней минуты выказывала себя более мужественною, нежели все ее помощники, советники и преданнейшие слуги. Она говорила, увещевала, грозила, приказывала – проявляла неутомимую деятельность. Но все было напрасно: в книге судеб написано было, что ее правлению наступил конец... Софья увидела себя вынужденною уступить силе обстоятельств – и попыталась примириться. Но посланные ею лица к ней не вернулись. Попы-

талась сама идти в Сергиеву обитель с повинною к царю Петру, но ее не пустили; и она должна была вернуться в Москву, пристыженная, потерявшая всякую надежду.

А между тем в Москве уже действовал присланный Петром полковник Нечаев и объявлял везде по полкам, что прислан от государя «для сыску воров и изменников Федьки Шакловитого и Селиверстки Медведева с товарищи», и стрельцы обещали ему оказать в поисках тех воров помощь. Эта присылка навела ужас на Шакловитого и всех его приятелей и пособников – все бросились врассыпную, кто куда мог укрыться... Сильвестр Медведев бежал из Москвы с Алексеем Стрижовым и Андреем Кондратьевым. Кузьма Чермный, Никита Гладкий, Егор Романов – все попрятались по разным углам и норкам. Один Обросим Петров выдержал характер: не скрывался, и, когда на него бросились его однополчане, чтобы его захватить, он один отбиля сулебою от десяти человек нападавших и ушел из слободы на виду у всех.

Шакловитый укрылся в Теремном дворце, в задних хоромах на половине царевны Со-

фьи. Стрельцы это знали и зорко его стерегли день и ночь, так зорко, что его приятели, подьячие Семен Надеин и Аган Петров, не могли провести его через Кремль, хотя у них приготовлены были на дворцовой конюшне оседланные лошади, а под Новодевичьим – коляска.

Среди всех этих смут, тревог и страхов, среди полнейшего безначалия и разлада наступило 6 сентября. С утра уже распространился в Теремном дворце слух о том, что и служилые иноземцы поднялись в ночь со своими полками из Немецкой слободы и, не спросясь у Софьи, направились к Троице. Последние надежды на возможность какого бы то ни было дальнейшего сопротивления Петру падали сами собою...

После вечереи Степан Евдокимов донес государыне, что на Дворцовом дворе и на Ивановской площади что-то много собирается стрельцов из разных полков и отовсюду еще и еще подходят к ним их товарищи и толпы всякого народа.

– Что им нужно? – с притворным равнодушием спросила царевна.

– Да слышно, будто опять за тем же...

– Я сказала им, что не выдам окольного Шакловитого! Чего же им еще надобно?! – вспыхнула царица.

Евдокимов ничего ей не ответил.

В это время царице Софье доложили, что стрельцовые полковники Сергеев и Спиридонов просят ее выйти на Красное крыльцо для сообщения ей указа государева. Софья, ничего не отвечая, поднялась со своего места, оправила на себе кармазинную телогрею, надвинула на лоб жемчужную повязку с пронизьями и вместе с двумя своими боярынями и двумя постельницами направилась через Дворцовые покои к Красному крыльцу. За нею издали последовал и Евдокимов.

Когда царица вышла на крыльцо, то увидела, что почти половина Дворцового двора запержена толпою стрельцов. За решеткою двора видна была на площади порядочная толпа народа. Стрельцы стояли без шапок; полковники и выбранные от полков поместились у самого крыльца.

Как только Софья сошла на площадку, полковники и выборные поднялись на несколько

ступень и низко поклонились царевне.

– Что вам нужно? Зачем пришли? – спросила их царевна строго, почти не отвечая на их поклон.

– Мы пришли сюда по указу великого государя царя Петра Алексеевича требовать выдачи вора и изменника Федьки Шакловитого, – сказал почтительно полковник Сергеев. – Нам ведомо, государыня, что он скрывается у тебя во дворце, в задних хоромах.

– Как смеешь ты ко мне являться с твоим указом? – грозно произнесла царевна, при топнув ногою. – Я сказала уж, что не выдам вам окольного Шакловитого, пока сама не повидаюсь с братом... Ты это слышал или нет?

– Нет, благоверная государыня, – смело отвечал Сергеев, – я этого от тебя не слышал; ты это изволила говорить полковникам Нечаеву да Спиридонову... А я им в подмогу вчера из Троицкого монастыря с новым указом прислан. Изволь сама взглянуть, государыня.

– Что ты мне суешь свой указ! Разве я не знаю, что эти указы князь Борис пишет... а государь Петр Алексеевич о них и не ведает...

– Не изволь этого говорить, государыня! – резко отвечал Сергеев. – Указ мне вручен самим государем, и он сам сказать мне изволил: «Коли-де ты по сему указу не исполнишь без всякой оплошки, то быть тебе в смертной казни...»

– Нам, государыня, наши головы дороже головы твоего Шакловитого! – заговорили в один голос полковник Спиридонов и стрелецкие выборные. – Прикажи нам его выдать без всякого молчания[16], а не то...

– А не то – что? Вы тут пришли бунт затевать, крамольники! – закричала Софья, наступая на полковников. – Да ведомо ли вам, что тому положено, кто на государевом дворе шум затевает? А? Ведомо ли?..

– Великая государыня, – вступился Сергеев, – никакого шума и бунта мы не затеваем – бунт затевает тот, кто не дозволяет нам царского указа исполнить.

– Вон отсюда! Вон! – растерянно крикнула Софья.

– Не смеем уйти, государыня! – закричали, в свою очередь, выведенные из терпения полковники. – Прикажи нам выдать Федьку Ша-

кловитого! Не то ударим в набат – и всей Москвой его брать придем!

Услышав громкие речи полковников, толпа стрельцов пододвинулась ближе к крыльцу. Ропот неудовольствия пробежал по передним рядам.

– Чего там ждать! Не отдаст – силой взять надо! – загудело несколько голосов.

Софья хотела еще что-то сказать, но полковники и выборные обступили ее со всех сторон и заговорили все разом:

– Прикажи выдать, государыня, не то сами пойдем и разыщем! Не проливай напрасной крови – не спасешь его!

– Давай сюда вора и изменника Федьку Шакловитого! Давай его сюда! – закричали стрельцы около крыльца, и на крик их толпа народа за воротами вторила ревом: – Давай его, злодея! Давай сюда!..

Софья побледнела как полотно, оперлась рукою на поручень крыльца и знаком подзвала к себе Степана Евдокимова.

– Сведи их к Федору Леонтьевичу! – сказала она, указывая на полковников.

Полковники и выборные двинулись вслед

за истопником и скрылись за дверью... Стрельцы смолкли, утрюмо выжидая... Толпа за решеткою Дворцового двора все еще продолжала что-то глухо и бессвязно реветь... Так прошло несколько мгновений...

Но вот дверь на верхней площадке дворца распахнулась настежь и тесною кучей вышли из дверей стрелецкие выборные и полковники, ведя под руки Шакловитого. Лицо его было покрыто смертною бледностью, волосы всклочены, руки крепко прикручены кушаками за спину.

– А! А! А! Вот он! Ведут, ведут! – загудели стрельцы под крыльцом.

– Ведут! – голосом завопила толпа за решеткою.

Медленно спускался он с крыльца, окруженный стрельцами, и, дойдя до той площадки, где стояла Софья, просил приостановиться на минутку. Его желание было исполнено.

Тогда он вдруг пал на колени и ударил земной поклон царевне.

– Прости, великая государыня, не поминай лихом своего верного слугу! – произнес он с волнением.

– Прощай, Федор Леонтьевич! – чуть слышно проговорила Софья, опираясь на руку одной из боярынь, чтобы не упасть.

Шакловитого подняли и быстро повели с крыльца. Раздались слова команды. Стрельцы построились правильными рядами и вместе с Шакловитым двинулись мимо соборов к Приказам. Толпа гудела и волновалась, расходясь во все стороны по Ивановской площади и повсюду разнося весть о поимке вора и изменника Федьки Шакловитого, который еще так недавно казался для всех и грозным, и могущественным.

На рассвете Шакловитого усадили в телегу и крепко привязали его к грядке; по бокам его сели два дюжих стрельца; спереди на беседке – еще двое таких же молодцов. Кругом телеги, с боков, спереди и сзади ехало человек пятьдесят конных стрельцов; а позади всего поезда полковники: Нечаев, Сергеев и Спиридонов – в особой коляске. «Вора и изменника Федьку» приказано было «сыскать, везти со всяким береженьем». Телега запряжена была парой сытых коней, которые трусили мелкой

рысцей. Шакловитый сидел между стрельцами, опустив голову и закрыв глаза. После бессонных и тревожных ночей последней недели, после впечатлений вчерашнего дня Федор Леонтьевич чувствовал страшную истому – его клонила непреодолимая дремота, а в голове не было ни забот, ни мыслей, ни тревоги о завтрашнем дне. Он чувствовал какое-то отупение, какое-то полное оцепенение во всем своем нравственном существе. По временам только в его ушах, среди шума и постукивания колес, звучали откуда-то доносившиеся крики: «Везут – везут!»

– Алексеевское проехали! – проговорил кто-то из стрельцов в телеге. И опять непреодолимая дремота налегла тяжелою шапкою на голову Шакловитого. Он не слышал, как проехали Мытищи, как переехали через Клязьму, и очнулся уже только при въезде в Пушкино, когда телега загромыкала по мосту через речку Учу. Здесь быстро перепрягли и поехали далее.

Свежий сентябрьский утренник пронизывал холодом. Федор Леонтьевич почувствовал это только тогда, когда какая-то сострадательная

душа накинута ему на плечи овчинный нагольный тулуп. Мало-помалу сознание вернулось к нему вполне, и прежде всего в голове его с грозною очевидностью выяснилась мысль: «Везут на смерть...»

А вслед за тем воображение стало вдруг усиленно работать после долгого усыпления и рисовать ему одну картину мрачнее другой... Розыск, пытка – подняли на дыбу – хрустят суставы... Кровь приливает в голову, Шапловитый вздрагивает в ужасе, и в ушах его резко звучат крики и вопли тех, кого он сам когда-то поднимал на дыбу, истязал и мучил...

Вот миновали Братовщину с церковью и кладбищем у самой дороги, с боярскими хоромами и с другою небольшою церковкою налево, на взгорье; вот с горки на горку, то поднимаясь, то опускаясь, миновали еще два поселка; проехали и Рахманово... А в воображении опять целый ряд странных образов: заплечный мастер засучивает рукава рубахи, готовясь приняться за свою страшную работу... Дьяк достает перо из-за уха и готовится писать «в столп» пыточные речи; а другой, ря-

дом с ним, словно дьякон с амвона, возглашает:

– «Буде кто каким умышлением учнет мыслить на государское здоровье злое дело... и про то его злое умышление сыщется допряма... и такого по сыску казнить смертью...»

– Слава богу, к Воздвиженскому подвигаемся, – говорит, зевая в руку, один из спутников Шакловитого и крестится на церковный крест.

А Шакловитому при одном взгляде на село, на крышу путевого дворца, виднеющегося из-за деревьев, приходит в голову воспоминание: «Семь лет тому назад так же точно подъезжали к этому селу князя Хованские!»

И ему вспомнилось, как он их ждал, как взлезал на колокольню, как высматривал их издали и как неволью, вместе с другими, восклицал: «Везут, везут!» И тогда ему в голову не приходило – *кого* везут, *зачем* везут? Он так поспешно, так охотно готовил им гибель, так торопливо писал приговор, который ему приходилось читать князьям Хованским у смертной казни, так спокойно думал о том, как будет просить царевну после казни пожа-

ловать его дворами и животами казненных «изменников»...

«А теперь? Теперь ты и сам в изменниках и сам стоишь у плахи – и на твои животы кто-нибудь уж точит зубы!»

И вот в его воображении возникает страшная сцена казни Хованских... Прочитан отцу и сыну приговор, исчислены их вины, подведены статьи Уложения. Но старый князь еще не может примириться с мыслью о смерти. Он позабывает о своем положении, о человеческом достоинстве: он падает на колени, ползает в ногах у бояр, он просит, молит о помиловании, плачет кровавыми слезами, напоминает о своих заслугах, клянется в невинности... Приходит приказ устроить казнь... Несчастливого старика тащат к плахе. Тяжело и глухо ударил топор: *раз – два!* И голова покатилась... И тихо склонился над трупом отца молодой князь, поднял эту окровавленную голову, поцеловал ее и, перекрестясь, твердо лег на плаху...

Но вот наконец и Троицкий монастырь, и полуденное солнце яркими лучами золотит его кресты и купола храмов. Телега, стуча и

подпрыгивая, спускается к оврагу, и Шакловитый припоминает, как два месяца тому назад его торжественно встречали в Святых воротах обители архимандрит и братия – встречали его, посланника царевны и ближнего окольничего!

«А теперь? – горестно думает он. – Прошла земная слава – все прах и тлен!»

И вдруг со стороны дороги налетел порыв вихря, крутя и вертя поблеклые листья и желтые стебли трав, поднял на дороге громадный столп пыли, погнал его навстречу поезду и скрыл на мгновение и посад, и обитель из глаз Шакловитого. И когда это облако пыли пронеслось, обитель Св. Сергия предстала ему во всей своей грозной красе с пушками на стенах, с часовыми на башнях, с протяжно гудевшими колоколами.

– Везут! Везут! – раздался вновь навстречу поезду звериный рек толпы, сбежавшейся со всего посада взглянуть на «изменника и вора Федьку Шакловитого».

И вся эта толпа, толкаясь и спеша, мутною волною приливает к самой телеге и бежит вслед за нею к Святым воротам обители. На

Шакловитого указывают пальцы, ему грозят кулаками... Среди крика и несвязного шума толпы слышатся – и говор, и смех, и ругательства...

Горе тебе, побежденному!

Шакловитый привезен был в Троицкий монастырь около часа пополудни и тотчас сдан на руки князю Борису Алексеевичу, который немедля начал допрос и розыск...

В тот же день, в шестом часу вечера, из посада опять завидели на дороге от Москвы какой-то большой поезд, состоящий из многих повозок и трех карет, окруженных гайдуками и большою свитою слуг.

– Это еще кого Бог дает? – заговорили в толпе посадских, собравшихся на дороге.

– Везут кого или сам идет?

– А кто его знает? Отсель и не разберешь. Видно только, что около повозок многолюдство: одних конных, пожалуй, человек с пятьдесят наберется.

– А это, братцы, некому и быть другому – не сам ли царь Иван Алексеевич изволит жаловать к брату?

– Пожалуй, что и так! Народу множество – и кареты вот так тебе и горят на солнце.

А между тем поезд приближался к посаду. От передовых конников отделилась кучка, че-

ловек в пять-шесть, припустила вперед во всю пять и подскакала к толпе зевак. Впереди всех на лихом поджаром аргамаке как птица несся, припав к седлу, черный и сухощавый всадник в малиновом суконном чекмене и бархатной шапке, с саблей через плечо и с пистолями за поясом; подсказавав к посадским, он крикнул:

– Эй вы, чего глазеете? Показывай, какие есть на посаде свободные дворы под помещение служни ближнего боярина князя Василия Васильевича Голицына.

– А тебе сколько дворов надобно? – спросили насмешливо несколько голосов.

– Дворов пять, – отвечал им наш старый знакомец Куземка Крылов.

– Пять! Ха! Ха! Ха! Пяти курятников не сыщешь! Все подклети и чуланы битком набиты народом. Столько вашего брата понаехало!

– *Вашего брата!* – загремел Куземка, замахнувшись плетью для вразумления. – Смеешь ты всякую боярскую челядь равнять со служней да с держальниками ближнего боярина и Оберегателя!

Толпа со смехом отхлынула в сторону от

Куземки и его вершников.

– Тут, брат, не то что холопей с холопями, а боярин-то с боярами равняют – не чинятся! Недорога им цена на здешнем базаре! Вот и сегодня от вас из Москвы тоже ближнего окольного привезли на телеге, к грядке привязавши... Насмотрелись мы на боярство-то, небось не испугаешь!

Между тем подвинулся к посадку и весь блестящий поезд Оберегателя, в котором в одной карете ехал он сам с думным дьяком Украинцевым, в другой – князь Алексей Васильевич с думным дворянином Косаговским, в третьей – окольные Неплюев и Змеев. За третьей каретой следовали две колымаги со всякой комнатной боярской служней и поварами; а за колымагами – с десяток повозок с перинами, подушками, коврами, сундуками с платьем, коробьями с бельем, шкатунами и ящичками и всякою домашней утварью. На двух повозках навалена была кухонная посуда, котлы и таганы, и на двух следующих – шатры, наметы и отдельные части калмыцкой войлочной кибитки; на трех последних – всякий хозяйственный запас и бочонки с ви-

ном. Боярин ехал к Троице, видимо, не на один день, а надолго...

Весь боярский обоз остановился посредине посада, пока дворецкий и приказчик князя разыскивали помещение для служни, для кухни и коней, а все экипажи, окруженные блестящей свитой из гайдуков и боярских слуг, проследовали далее, к Святым воротам обители.

Оберегатель и Украинцев, сидя в передней карете, ни единым словом не перекинулись на пространстве всего пути от села Медведкова (княжеской подмосковной) и до самого Троицкого посада. Оберегатель был погружен в глубокую и скорбную думу; на лице его, побледневшем и осунувшемся за последнюю неделю, особенно резко обозначались морщины на лбу и между густыми бровями... Когда карета его стала подъезжать к Святым воротам, он волновался до такой степени, что даже не мог скрыть своего волнения – он крестился на икону под воротами, и пальцы руки его видимо дрожали... Украинцев был тоже не совсем спокоен: крестясь и кланяясь на храмы обители и твердя про себя: «Господи

Иисусе Христе!», – дьяк то и дело выглядывал из окна кареты и как будто хотел угадать заранее, как их встретят.

Вот наконец подъехали и к самым воротам, наглухо запертым под вечер. От воротного караула отделился стрелецкий десятник и подошел к карете с двумя рядовыми.

– Кто едет? – спросил он, заглядывая в окно кареты и не ломая шапки перед Оберегателем.

– Ближний боярин князь Василий Васильевич Голицын, – поспешил сообщить дьяк Украинцев.

– А ты кто будешь? – обратился десятник с вопросом к дьяку.

Украинцев назвал себя.

– А в тех каретах кто будет? – продолжал не спеша допрашивать десятник.

Князь Василий не выдержал:

– Пошел прочь! Как ты смеешь нас допрашивать? Кто в тех каретах едет, тот за себя скажет.

– Не пыли, боярин! Одержись здесь! – дерзко заметил десятник. – Придется еще тебе постоять у ворот-то!

Однако же отошел от дверей кареты и пошел к другим экипажам. И долго он около них ходил, всех опрашивая и все внимательно осматривая, а затем ушел в калитку, которая за ним плотно захлопнулась. Перед воротами, заграждая их по-прежнему, остался караул из стрельцов и солдат, которые стояли молча, навывтяжку, ружья на плечо.

Между тем как все это происходило перед воротами, со всего посада сбежалась большая толпа народа, которая окружила экипажи и на почтительном расстоянии, с большим любопытством рассматривала великолепные расписные и раззолоченные кареты, богатейшую упряжь чудных заводских коней Обергателя и пестрые наряды его слуг.

Прошло более часа с тех пор, как поезд подъехал к монастырским воротам, – и никто не думал их отворять... Уже стемнело... Сумрачный сентябрьский вечер надвинулся незаметно и прикрыл своим темным покровом всю окрестность. И еще суровее, еще строже, еще мрачнее показались князю Василию эти столь знакомые ему стены и крепкие ворота, и еще тяжелее стало его давить ца-

рившее кругом молчание, прерываемое только окликами часовых на стенах да фырканьем коней, нетерпеливо перебиравших ногами и потряхивавших звонкими гремучими цепями сбруи.

Наконец застучали, завизжали засовы и задвижки ворот, брякнули какие-то цепи, и одна из половинок, скрипя, приотворилась. Из нее вышли человек двадцать солдат с ружьями и офицер, по-видимому, из иноземцев, со шпагою.

Несколько стрельцов, с тем же десятником впереди, несли фонари, а сзади них шествовала высокая сановитая фигура, в широком опашне со стоячим воротником и в высокой шапке.

Эта фигура остановилась в воротах, а десятник пошел по каретам, громко возглашая:

– Князя, бояре и окольные, выходите из карет.

Оберегатель и его спутники вышли из экипажей и подошли к высокой фигуре, в опашне и шапке, около которой стояли стрельцы с фонарями. Князь Василий с первого взгляда узнал дьяка Деревнина и тут же заметил у

него в руках какую-то бумагу.

– Шапки долой! – скомандовал десятник, глядя в упор на Оберегателя. – Указ государев читать будут!

Все молча обнажили головы, кроме того дьяка Деревнина, который прочел в своей бумаге:

– «По указу благоверного государя, царя и великого князя Петра Алексеевича, всея Великие и Малые и Белые России самодержца, повелевается тебе, князь Василий, и сыну твоему князь Алексею, и окольниковым Леонтию Неплюеву и Венедикту Змееву, и думному дворянину Григорию Косагову, в монастырь Троицкий не входя, стать на посаде и не съезжать отсель до указу. А тебе, думному дьяку Емельяну Украинцеву, указано явиться в монастырь к кравчему князю Борису Алексеевичу Голицыну».

Едва успел дьяк Деревнин произнести эти слова, как уже Емельян Игнатьевич, согнувшись в три погибели, юркнул из-за спины Оберегателя за спину десятника и, продолжая раскланиваться со всеми, исчез за массивною фигуною дьяка Деревнина, который бережно

свернул прочитанный указ, важно повернулся к воротам и направился к калитке. За ним повернули туда же и стрельцы с фонарями, и солдаты.

А князь Василий все еще стоял на месте, не двигаясь и даже не надевая шапки.

– Батюшка! – шепнул ему на ухо князь Алексей, легонько касаясь его руки, – накройся; пойдём – на нас все смотрят.

Князь Василий встряхнул головою, надел шапку и машинально последовал за сыном в карету. Неплюев отдал приказание слугам, чтобы ехали к дому попа Варсонофия, где ему уже заранее приготовлено было помещение. Между тем как грузные кареты поворачивали от ворот монастыря и слуги едва сдерживали горячих коней, в толпе народа слышались говор и насмешки.

– Вот это уж точно, что не солоно хлебавши боярин отъезжает...

– Ни дать ни взять, как в загадке оказывается: летел пан, на воду пал – воды не возмутил...

– Повороти, значит, оглобли, поезжай на постоялый двор щи с тараканами кушать!

И толпа с шутками и смехом разбрелась по всему посаду, между тем как князя Василия подвезли к дому попа Варсонофия, где он должен был поместиться в двух приготовленных для Неплюева комнатках. Во всем доме поднялась суматоха страшная. Хозяева засуетились, вынося какую-то свою рухлядишку, а слуги княжеские забегали взад и вперед, внося в комнаты и расставляя необходимую утварь, увешивая стены коврами, укрывая лавки, прибывая к окнам тяжелые занавеси, расставляя в переднем углу походную божницу, раскладывая по полу мягкие войлоки и устанавливая всюду ларцы, поставцы, погребцы и шкатулки. За слугами деятельно наблюдали и князь Алексей, и окольные, указывая им то одно, то другое и всеми мерами заботясь о том, чтобы покрасивее и поудобнее устроить князю Василию его временное жилье.

А сам князь Василий, как вошел в скромный поповский домик, как переступил через порог отведенного ему покойчика, так сел на лавку под окном, оперся руками на колени и не ворохнулся.

Мимо него ходили, сновали взад и вперед люди; распоряжались вполголоса то сын его, то окольниковичие – он даже и не слышал ничего. Только уже когда все было приведено в порядок и ужин накрыт в соседней комнате, где поместился князь Алексей, Кириллыч решил подойти к князю Василию и почтительно доложил, что его ожидают к ужину.

– Не пойду; пусть без меня садятся. А вместо ужина ты дай мне сюда на стол дорожную чернильницу, перья и бумагу...

Кириллыч тотчас исполнил приказание князя: положил на стол кожаный подшанданник, расшитый золотом, поставил на него серебряный шандан с двумя свечами, рядом с шанданом поставил немецкого дела красный сафьянный сундучок с серебряным дорожным письменным прибором, положил бумагу и перья, раскинул под столом бобровую кожу и поставил на нее дорожный складной ременчатый стул.

Когда все эти приготовления были окончены, князь Василий поднялся со своего места, скинул с себя при помощи слуг все дорожное платье, надел легкий татарский бешмет и сел

к столу. Через несколько минут он уже писал что-то, очень быстро и четко выводя строку за строкою...

Он писал челобитную великим государям – пространную, подробную, чувствуя потребность оправдать свой образ действий и с полной ясностью указать на то, что он не имел ничего общего с Шакловитым и его пособниками. Князь Василий начинал издалека: вспоминал о том, что он уже служил «отцу государеву, блаженные памяти царю Алексею Михайловичу и милость его государеву носил паче сверстник своих»; вспоминал и о службе своей при царе Феодоре Алексеевиче и затем переходил к исчислению своих заслуг и дел со времени вступления на престол великих государей-братьев... И голова его напряженно работала, а рука неумоимо писала строку за строкою.

В соседней комнате между тем князь Алексей сидел за ужином с Неплюевым и Змеевым и с попом Варсонофием, которого он пригласил разделить с собою вечернюю трапезу.

Отец Варсонофий, добродушный старичок, очень польщенный ласкою и радушием мо-

лодого князя, ничего не ел и не пил за ужином и, думая рассеять мрачное настроение своих собеседников, сообщал им все местные новости со своими замечаниями и добавлениями, чрезвычайно наивными.

– Все эти дни, государи мои, к нам из Москвы то и дело злодеев и воров привозили, – говорил старичок, – то Кузьку Чермного, то Ивашку Муромцева. А вчера, в железах, на телеге, самого страшного злодея предоставили – Оброську Петрова. Говорят, много дней в погребу сидел у знакомого попа, что в приходе у Филиппа-апостола служит, – укрывался, значит; да не вытерпел, вышел в Лесной ряд, к знакомцу... Его тут и сграбастали... Уж этот и с рожи так точно что злодей – сразу видно!.. Рыжий весь, и бородища-то рыжая; а глазищами-то, глазищами-то так и водит, так и высматривает... Недаром в народе у нас говорят: «Рыжий, красный – человек опасный...»

Собеседники молчали насупившись, а словоохотливый старичок продолжал:

– Тех – как привезут, так сейчас к допросу... Вот и Оброську тоже: как привезли, сейчас перед бояр поставили в переднюю палату, и

он, эта, все как есть им рассказал... Дьяки, говорят, записывать не поспевали... Так и сыплет, и сыплет. И вот как нонечь поутру Шакловитого-то сюда привезли, – прежде всего ему по этим Оброськиным речам допрос учинили... У меня там племянничек в подьячих служит – это он-то и сказывал. А теперь, говорят, на очную ставку его со всеми злодеями поставили... И вот служба монастырский ко мне забежал перед самым вашим приездом – сказывал, что там, на Воловьем дворе, застенок этакой устраивают – пытатъ злодеев ладят...

– Не пора ли, князь, и на боковую? Отдохнуть с дороги? – перебил попа Неплюев, переглянувшись с товарищами, и поспешно поднялся из-за стола... Всем им было солоно от этих свежих новостей, так сильно занимавших население Троицкого посада.

Емельян Игнатьевич был прямо проведен Едьяком Деревниным к тому корпусу монастырских келий, где в двух кельях помещался князь Борис. От этих келий, в нескольких шагах по коридору, находилась передняя палата, в которой допрашивали Шакловитого и его пособников; а шагах в пятидесяти от этого корпуса келий видно было и здание, известное под названием «дворца государского», потому что в нем находились покои для временного пребывания великих государей в обители. Пройдя от ворот двором обители и убедившись в том, что она представляла собою настоящий воинский стан и битком была набита всяким военным людом, Украинцев вместе с Деревниным вступили в кельи князя Бориса. Князь еще не возвращался от государя, к которому он был призван после первого допроса Шакловитого, и Емельян Игнатьевич имел полнейшую возможность через приятеля-дьяка разузнать о том, что творилось у Троицы.

– Тут всем у нас орудует князь Борис Алек-

сеевич, – сказал Деревнин Украинцеву. – Царь Петр ему во всем верит и без его совета шагу не ступит. Только вот сегодня, из-за князя Василия, у него схватка и с царицей, и с братьями царицыными вышла... Те требовали, чтобы князя-то Василия к допросу притянуть да к розыску, а князь Борис уперся на том, что Оберегателя нельзя на одну лавку с ворами да с изменниками посадить... Спорили, спорили при самом царе, а тот все только слушал да хмурился; наконец говорит: «Я подумаю – пусть на посаде станет и без указа никуда не съезжает». Так и написали.

– А Нарышкины, значит, гриб съели? – сказал почти шепотом Украинцев.

– Еще бы! Где же им с князь Борисом тягаться? Он их проведет и выведет... Все ведь на нем держится! Да вот, кажется, и он сам...

Действительно, дверь отворилась, и князь Борис переступил порог кельи. Деревнин явил дьяка Украинцева, а Емельян Игнатьевич отвесил низкий и официальный поклон князю.

– Ты теперь ступай, – обратился князь Борис к Деревнину, – и ложись спать, пока есть

время. За час до света приказано Шакловитого пытаться – тебе там придется быть и его пыточные речи писать при боярине Тихоне Никитиче Стрешневе да при Никите Моисеевиче Зотове. А мы тут покамест с дьяком Украинцевым в сказках стрелецких да в докладных записях пороемся... Нам тут тоже на всю ночь работы хватит.

Когда Гаврило Деревнин ушел, Украинцев, пристально следивший за князем Борисом, заметил, что тот сильно чем-то встревожен и озабочен. Долго молчал он и хмурился, и все про себя какие-то думы обдумывал, видимо, что-то рассчитывая и взвешивая. Наконец он не вытерпел этой молчаливой внутренней работы и сказал с досадой:

– Врут они! Не дам я им съесть его! Пусть он на мою долю достанется... Без меня они небось проспали бы случай-то! Им, безродным, все равно чужую славу пятнать! А тут, если князь Василя в измене обвинят да к плахе приведут, – весь наш род навеки позором покроют. Нет! Не уступлю!

Украинцев почтительно слушал эти речи, не смея проронить ни слова: ему еще никогда

не случилось видеть князя Бориса в таком сильном волнении...

– Послушай, Емельян Игнатьевич, ты человек умный и в делах бывалый! Рассуди, как тут быть? Да помни, что тут не об одной голове князя Василия дело идет – а о чести всех Голицыных! Научи, как мне поступить... Озолочу тебя – последнюю рубашку с тобою разделю...

– Готов и так все для тебя сделать, князь Борис Алексеевич, – живота не пожалею! Ты меня из потемок на свет божий вывел... Расскажи, государь, как тут поведено все дело?.. Авось один ум хорошо, а два лучше!

– Так слушай же! Да поклянись мне, что ты меня и на пытке не выдашь! – сказал князь Борис, хватая Украинцева за руку.

Затем князь Борис заглянул за дверь, убедился, что никто их не подслушивает, и, вернувшись к столу, сел и Емельяна Игнатьевича возле себя посадил. И повел он с ним вполголоса тайную беседу, которая затянулась далеко за полночь. В этой беседе Борис изложил Украинцеву свой план борьбы за князя Василия против Нарышкиных. Украинцев вполне

одобрил его план, обещая содействовать ему своею дьяческою работою, своим знанием законов и юридических форм, своею долгою дипломатическою опытностью. Князь Борис закончил свою беседу словами:

– Участь князя Василия все равно решена... Ему теперь уже не подняться... И пусть поплатится опалой и разорением за все свои затеи, за то, что покрасовался да попраздновал, за то, что лукавил и кривыми путями шел... Пусть его и в ссылку ушлют: из всякой ссылки рано ли, поздно ли воротить его можно. А ведь уж из той дальней сторонухи, куда дорожка ельничком западала, его не вернешь! Да притом если в Разряде отметят в боярской книге под именем князя Василия, что он казнен за измену великим государям, тут уж всему роду позор вековечный... Всякий тебе этим глаза колоть станет. За что же мы-то все из-за него страдать будем неповинно?.. Так вот, Емельян Игнатьевич, ты так ухитрись о нем указ заготовить, чтобы в нем об измене – ни-ни!.. Ты и сам не хуже меня знаешь – изменник ли он.

На другое утро стало известно, что Шакловитый с первой пытки не сознался в тех обвинениях, какие на него взводили его же сообщники Обросим Петров и Кузьма Чермный, а между тем они с пытки не изменили ни единого слова в своих первоначальных показаниях. На боярском совете решено было подвергнуть Шакловитого вторичной и жестокой пытке; но когда ему это было объявлено, он молил избавить его от мучений, обещая представить царю самое полное и самое откровенное признание во всем, не щадя ни себя, ни других. Он знал, что его участь уже решена и все равно ему не избежать плахи... Но около юного царя вновь загорелся спор между князем Борисом и Нарышкиными. Спорили еще раз о том, не следует ли привлечь и князя Василия к допросу и к очной ставке с Шакловитым, прежде чем Шакловитый напишет свое последнее предсмертное показание. Спор длился почти весь день, и распря шла сильная... Но князь Борис, хорошо зная благородный характер своего царственного питомца, настаивал на одном: князь Василий в измене не виновен и с Шакловитым

жил в постоянных неладах, и уж если его впутать в дело Шакловитого, то придется к этому делу привязать и еще одну особу, близкую великим государям. Во избежание этого князь Борис предлагал наказать князя Василия опалою и разорением и немедленно отправить его с семейством в ссылку: а если бы из дальнейшего розыска оказалось, что князь Василий также причастен к делу Шакловитого, то допросить его и усилить ему наказание можно и позднее.

Петру понравилось такое решение затруднительного вопроса, тем более что в ту пору он хотел еще пощадить и сестру свою, и ее любимца. Он сказал Борису Алексеевичу:

– Я с тобой согласен; пусть так и будет, как ты говоришь... Тебе же я поручаю снять показание с Шакловитого; пусть при тебе напишет, а ты немедля принеси ко мне, и мы тогда решим, как поступить с князем Василием.

– Теперь уж дело к вечеру... Не отложить ли, государь? Пожалуй, он и за полночь напишет?

– Так что же? – отозвался Петр. – Ночью придешь ко мне – авось еще не буду спать!

– Дозволишь ли мне взять дьяка с собою порасторопнее? – спросил князь Борис.

– Да, да! Вот хоть бы Украинцева... Наши-то здешние все уже с ног сбились.

Не прошло и получаса после этой беседы, как застучали засовы темницы Шакловитого, закрипела на ржавых петлях тяжелая дверь ее и распахнулась настежь. Через порог темницы переступили сначала стрельцы с фонарями, потом слуги внесли простой деревянный стол и скамью, а около стола поставили два кресла. Другие слуги внесли шанданы со свечами и поставили их на стол. Следом за слугами вошли в темницу князь Борис и дьяк Украинцев. Князь приказал тюремным приставам снять железо с Шакловитого, который с трудом поднялся с соломы, кучею набросанной в углу.

– Окольничий Шакловитый! – громко произнес князь Борис, обращаясь к Федору Леонтьевичу. – Великий государь царь Петр Алексеевич, по твоему слезному молению, тебя изволил пожаловать – не приказал вторично пытаться, если ты, по обещанию своему, признаешься ему во всех твоих воровствах безо

всякой утайки. Садись к столу и пиши свое показание. Емельян Игнатьевич, дай ему все потребное для письма.

Украинцев поставил на стол чернильницу, положил перо и бумагу и сел рядом с князем Борисом. Шакловитый медленно, еле волоча ноги, подошел к столу и опустился на лавку. В нем нельзя было узнать прежнего гордеца и самоуправца – он совсем опустился за последние два дня, утратил всякую бодрость духа, всякое сознание собственного достоинства. Бледный как полотно, изнуренный физическими и нравственными страданиями, потерявший всякое самообладание, он влачился, как тень, и никак не мог примириться с мыслью о неизбежности ожидавшей его казни. Малодушная робость, все более и более им овладевавшая за последнюю неделю и окончательно обуявшая его после пытки, побуждала его изыскивать всякие средства к достижению одной главной цели – сохранению жизни... Ради этого он готов был решиться на всякую низость, готов был обречь себя на вечное изгнание, готов был с радостью подвергнуться самой ужасной ссылке – лишь бы от

него отдалили страшный призраок смерти. Малодушие Шакловитого было так велико, что, когда князь Борис, обратясь к нему с речью, произнес обычные слова: «Царь изволил тебя пожаловать», в душе его блеснул на мгновение луч какой-то отдаленной надежды. Но, услышав, что его только избавляют от вторичной пытки, он опустил голову на грудь и впал в такое оцепенение, что князь Борис должен был ему напомнить о недосуге:

– Уж поздно! Берись за дело и пиши скорее – еще сегодня должны мы довести до государя то, что ты напишешь... А если не станешь сейчас писать, приказано тебя немедленно опять на Воловий двор отправить...

Шакловитый вскинул на князя Бориса глаза, в которых выразался немой холодный ужас, и поспешно принялся за перо и бумагу.

Под низкими сводами темницы водворилось такое полное, такое глубокое молчание, что слышно было скрипение пера о бумагу и шелест ее листков, откладываемых в сторону. Молчал, углубившись в свои думы, князь Борис, молчал, опустив глаза долу, дьяк Украинцев; молчали, недвижно стоя у стены, тюрем-

ные приставы и стрельцы с фонарями, как бы притаившие дыхание.

А перо в руке Шакловитого все живее и живее бегало по бумаге, выводя строку за строкою, и, по мере того как привычная рука покрывала этими строками лист за листом, мертвенная бледность на лице Шакловитого сменялась болезненным румянцем, потухший взор загорался лихорадочным блеском, а засохшие уста шевелились, неслышно нашептывая последние заветы злобы и мщенья, последние проклятия. Шакловитый писал свою откровенную исповедь и не щадил в ней князя Василия... С ужасною мыслью о позорной казни его примиряла мысль о том, что он готовит такую же казнь и Оберегателю.

Было уже далеко за полночь, когда Шакловитый кончил, истомленный внутренним волнением... Его руки дрожали, когда он отложил перо в сторону, но глаза его горели недобрым блеском... Он встал из-за стола и, указывая князю Борису на исписанные листы, сказал:

— Я здесь все сказал... Мне больше нечего писать.

Украинцев собрал листы, пересмотрел их, просушил около свечи последний росчерк подписи и взял со стола перо и чернильницу. Князь Борис поднялся со своего места и направился к двери. За ним вышли все, кроме двух приставов, которые опять надели железа на Шакловитого. Вот ушли и они, захлопнув за собою тяжелую дверь и задвинув ее крепкими засовами. Стук шагов их замер в отдалении, и под сводом темницы водворилось по-прежнему царство мрака и отчаяния.

Князь Борис едва успел пробежать показание Шакловитого, едва успел вынуть из него и уничтожить тот листок, в котором на князя Василия вносились несправедливые и тяжкие обвинения, а Емельян Игнатьевич только что склеил отдельные листки столба, сгладил пропуск и проставил на склейках свою подпись, как прибежал впопыхах один из приказных дьяков и объявил, что государь изволил проснуться и спрашивал о князе Борисе Алексеевиче.

Через несколько минут Борис Алексеевич уже входил в комнату Петра, который сидел

за столом мрачнее ночи: нашлись добрые люди, которые успели разбудить царя и наметнули ему, что князь Борис уже вышел от Шакловитого, а к нему с докладом нейдет, не исполняет его приказания...

Едва князь Борис переступил порог, Петр грозно глянул на него и крикнул:

– Как ты смел не подать мне сказку Шакловитого тотчас?

– Не смел тебя тревожить в такой поздний час ночи, – смело и твердо отвечал князь Борис. – А как услышал, что ты изволил проснуться, вот несусь тебе бумаги.

Петр почти вырвал у него из рук столбец с показанием Шакловитого и стал быстро пробежать его глазами.

Два часа спустя государь послал за дьяком Украинцевым, и когда тот явился к Петру, то увидел, что участь князя Василия решена окончательно. Князь Борис сумел отстоять и спасти честь всего своего рода.

Князь Василий между тем сидел в доме по-па Варсонофия, не выходя из своего покоя-чика, не показываясь даже у окна, почти не сносаясь со своими домашними. Он переживал тягостное состояние тревожного ожидания, которое так страшно изнуряет человека... Он знал, что один из ближайших дней должен принести с собою решение его участи. Ожидание волновало его до такой степени, что он не мог ни о чем думать, не мог даже долго писать, несмотря на свой навык. Отрываясь от челобитной, он вдруг вскакивал, начинал ходить взад и вперед по комнате, стараясь угадать тот приговор судьбы, который, может быть, уже произнесен и неизвестен только ему одному...

Но вся борьба, происходившая из-за князя Василия в стенах государского дворца в Троицком монастыре, хранилась в такой глубокой тайне, что никто не мог о ней ничего сообщить Оберегателю, и он подчас начинал радоваться тому, что о нем забыли. Услышав на другой день своего приезда в Троицк, что Ша-

кловитого, Петрова и Чермного подвергли пытке, князь Василий ожидал с большою тревогою, что и его привлекут к допросу на основании данных ими показаний; но день протянулся нескончаемо длинный до вечера, и никто не являлся из монастыря, никто не требовал князя к ответу.

Он начинал уже, не без основания, думать, что гнев государя сменится на милость, что его заслуги будут приняты во внимание для смягчения его вины, – начинал даже надеяться, что если не теперь, то со временем он будет вновь призван к деятельности... Поздно ночью, как раз в то время, когда в комнате Петра решалась участь князя Василия, он снова сел за свою челобитную великим государям и продолжал добавлять в ней статью за статьей, пока сон не одолел его и не напомнил ему о необходимости отдохновения.

Но сон князя Василия был тревожен и полон мрачных зловещих видений. То представлялся ему Шакловитый, под пытку взводящий на него страшные обвинения; то являлся волхв Митька Силин, грозил ему пальцем и говорил: «Бойся септемврия!»

Рано проснувшись, Оберегатель опять почувствовал себя до такой степени ослабевшим нравственно, до такой степени изнуренным неизвестностью и ожиданием, что не знал, где найти себе место – куда голову приклонить. Сотворив утреннюю молитву перед иконою, князь Василий не почувствовал себя ни бодрее, ни спокойнее и, взяв со стола «Апостол», разогнул его, задавшись мыслью – поискать себе в нем пророческого указания на то, что его ожидает... В глаза ему бросилось место из послания к евреям, в котором апостол Павел говорит: *«Его же любит Господь, наказуем: бьет же всякого сына, его же приемлет (XII, 6)»*. И он много, много раз должен был перечитать эти слова, чтобы вникнуть в их глубокий и прекрасный смысл...

Но вот настал и потянулся третий день у Троицы, а о князе Василии как будто совсем забыли... «Что бы это значило? К добру или к худу такое забвение?» – думал князь Василий, вновь усаживаясь за свою челобитную, которую наконец ему удалось окончить как раз перед обедом. К обеду князь Василий вышел в смежную комнату и был, видимо, тверже всех

своих спутников, которые страшно упали духом и страдали от неизвестности.

Чуть только князья успели отобедать и поднялись из-за стола, к ним прибежал из монастыря стольник государев и передал князю Василию приказ – явиться после вечерен во дворец с сыном, с окольными Неплюевым и Змеевым и с дворянином Косоговым.

Передав приказ, стольник так быстро повернулся и ушел, что ни князь Василий, ни князь Алексей не успели задать ему вопрос: зачем их зовут во дворец? А между тем волнение князя Василия и его спутников достигло крайних пределов; Неплюеву накануне привиделся дурной сон, и он ждал всего недоброго. Змеев относился совершенно равнодушно к тому, что могло его ожидать во дворце государеве; князь Алексей, как юноша, не ведавший за собою никаких провинностей, ожидал только всего хорошего – ожидал, что юный царь приблизит его к себе и будет так же ласкать и баловать, как покойный брат его, царь Федор Алексеевич.

Князь Василий ничего не ожидал, ни на что не надеялся: он пугался только того, что

не мог себе составить никакого понятия об ожидавшей его участи. Одно было несомненно и ясно – их требовали не на суд и не к розыску... Но зачем все это облекалось такою таинственностью? Отчего никто из прежних друзей, приятелей и знакомцев, теперь толпившихся в передней Петра, ни единым словом не известил князя Василия о том, что его ожидает. Или и они тоже ничего не знали о принятых царем решениях?.. Но, как бы то ни было и что бы его ни ожидало впереди, князь Василий решил встретить удар судьбы с достоинством и твердостью...

За час до вечера начались сборы во дворец. Вскрыты были сундуки и коробьи, отворены ларцы и шкатуны; вынуты были все захваченные с собою одежды – опашни и шубы, чуги и кафтаны, шапки с запанами и без запан, пояса, оплечья и застежки. Князь Василий велел сыну одеться в атласный лазоревый кафтан с финифтяными пуговицами, в которых горело по яхонтовой искорке. Пояс из золотой чешуи подтягивал его тонкий и стройный стан и застегнут был богатой пряжкой, усыпанной изумрудами и яхонтами. По-

верх кафтана на плечи накинута была белая суконная шуба, с широким золотным кружевом, обшитая спереди собольими пластинами. На белой шапке, опушенной соболем, горела большая запана, усыпанная рубинами. Сам князь Василий облекся в алый кафтан, обшитый широким, тяжелым золотым галуном, а на плечи накинул шубу такого же цвета, виницейского бархата, с «золотыми травами и реками по червчатой земле». На шубе в два ряда были нашиты большие пуговицы, усаженные драгоценными камнями, и около каждой из них были приложены застежки с кистями из тяжелого золотого плетения, прекрасно дополнявшие великолепный наряд боярина.

Вот наконец раздался благовест к вечерне, и князь Василий в безмолвии опустился на колени перед своею дорожною божницей; волнение его было так сильно, что он не мог припомнить ни одной молитвы и, крестясь, все только вперял взор в лик Спасителя, от которого ему как бы слышался утешающий глас: «Его же любит Господь – наказует...» Но зато рядом с отцом, на том же ковре, стоял

князь Алексей и спешно, порывисто, почти не переводя духа, читал нараспев все известные ему молитвы, прерывая их возгласами «Господи помилуй!» и частыми земными поклонами. Наконец князь Василий поднялся с колен, положил на себя последний крест и отвесил последний поклон... Обернувшись к сыну, он был поражен бледностью его лица. Князь Алексей вопрошающим взором смотрел в глаза отцу и, читая в них тревогу, говорил:

– Батюшка, мне страшно...

– Пойдем, Алешенька! Пора! Отходят вечерни.

Кареты были давно поданы, и застоявшиеся кони плясали на месте, едва сдерживаемые конюхами.

Князья уселись в кареты, уселись их спутники, и экипажи, сопровождаемые пешими гайдуками, двинулись к Святым воротам обители. Народ побежал за ними следом, а когда бояре вышли из экипажей и вместе со всею свитою, крестясь, вошли в ворота обители, за ними повалила в обитель и толпа народа. К этой толпе присоединилось и то народное множество, которое выходило из собора по-

сле вечерен.

Князей Голицыных встретил у собора тот самый стольник, который приходил к ним сегодня с приказом; он пригласил их следовать за собою ко дворцу.

Еще издали князь Василий увидел около низкого одноэтажного здания государственного дворца пеструю толпу людей всевозможных сословий, чинов и званий; перед самым дворцом выстроен был полк потешных под ружьем и Сухарев стрелецкий полк с бердышами и пищалями. Под навесом крытого низкого крыльца теснились бояре и окольничие, в нарядных шубах и кафтанах, в высоких горлатных шапках. По обе стороны лестницы двумя тесными кучами стояли стольники, дворяне и гости. Как только завидели с крыльца стольника и князей Голицыных с их свитою – все смолкло в ожидании. Слышно было, как стрелецкие десятники разгоняли толпу, очищая дорогу Оберегателю и его сыну...

С первого взгляда на бояр и вельмож, стоявших под навесом, и на младший придворный чин, теснившийся около крыльца, князь

Василий понял, что его ожидает недоброе. Никто из старых знакомцев его не узнавал; никто даже не смотрел в его сторону...

Но вот стольник поднимается на ступеньки крыльца – поднимается за ним и князь Василий, с трудом переводя дыхание, еле передвигая ноги и чувствуя устремленный на него взгляд всенародного множества... Эта лестница в десять – двенадцать ступеней показалась ему чуть не горою Голгофою. И еще две ступени... Но стольник остановился и остановил князей. На верхней ступени явились четыре думных дьяка и в числе их Емельян Игнатьевич Украинцев. Вперед тех дьяков выступил дьяк Автамон Иванов с бумагою и громко произносит:

– Указ государев!

Князя и их свиты снимают шапки и почтительно наклоняют головы. Налетевший откуда-то ветерок шаловливо играет золотистыми кудрями князя Алексея. Среди наступившей мертвой тишины слышно, как воробы чиликают и прыгают по желобу под крышею...

– Князь Василий и князь Алексей Голицы-

ны! – раздается вдруг, словно медная труба, резкий и звонкий голос дьяка. – Великие государи и великие князи, Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич, всея Великие и Малые и Белые России самодержжцы, велели вам сказать: как они, великие государи, взволили содержать прародительский престол, и сестра их, великих государей, великая государыня, благоверная царевна и великая княжна София Алексеевна, без их, великих государей, совету во всякое самодержавие вступила, и вы, князь Василий и князь Алексей, отставя их, великих государей, и угождая сестре их, государевой, и доброхотствуя, о всяких делах мимо их великих государей, докладывали, а им, великим государям, в то время было неведомо. Да ты ж, князь Василий, просылал в малороссийские города их, великих государей, грамоты, велел печатать в них имя сестры их, великих государей, великие государыни благоверные царевны без их, великих государей, указу. Да ты ж, князь Василий, прошлого сто девяносто седьмом году ходил с их, великих государей, ратными людьми в Крым и, дошед до Перекопи, промыслу никакого не учинил и

отступил прочь и тем своим нерадением их государственной казне учинил великие убытки, а государству разорение и людям тягость. И за то указали великие государи отнять у вас честь, боярство, а поместья ваши и вотчины отписать на себя, великих государей, и послать вас в ссылку в Каргополь; а в приставах указали великие государи быть Федору Мартемьяновичу Бредихину.

Дьяк окончил чтение и отошел в сторону.

Князь Василий поднял голову и, вынимая из-за пазухи свою объемистую челобитную, обратился к стоявшим на верхней ступени думным дьякам.

– Молю великих государей о том, чтобы они приняли и милостиво изволили прочесть мою челобитную, – прерывающимся от волнения голосом произнес князь Василий.

– Великие государи ничего принимать от тебя не указали, – пробасил князю в ответ Никита Зотов. – Дьяк Иванов, читай следующий указ!

– Значит, мне не дают даже и оправдаться! – с горечью сказал князь Василий, между тем как стольник указывал князьям, что им

следует сойти со ступени, и выдвигал вперед окольного Неплюева.

Произошла некоторая теснота на крыльце, и в то время, как Голицыны сходили с крыльца, а дьяк начинал вверху читать указ об опале и ссылке Неплюева в Пустозерск, кто-то дернул сзади князя Василия за рукав и быстро сунул ему в руку записку, шепнув:

– Прочти, как сядешь в карету.

Князь Василий взглянул искоса в сторону и увидел около себя одного из дворян, постоянно жившего в доме князя Бориса.

Отуманенный всем, что происходило кругом, озадаченный опалю и ссылкой в отдаленный Каргополь, постигавшею его одновременно с отнятием всего состояния, князь Василий не слышал ни одного слова из того, что дьяк прочел Неплюеву. Только в конце, стоя уже на одной из нижних ступенек крыльца, князь Василий услышал, что в указе Змееву повелено было жить в его костромском имении, – и позавидовал ему.

Но вот уже чтение указов окончено; стольник выступает вперед и указывает опальным князьям и окольным путем из ограды мона-

стыря. Один князь Василий идет твердо и спокойно – все остальные повесили головы и еле бредут вслед за бывшим Оберегателем.

Толпа, пораженная зрелищем падения могущественнейшего временщика, стоит молча и следит глазами за удаляющимися вельможами, которые подошли к крыльцу государственного дворца в полном блеске и сознании своего достоинства, своей силы и богатства и теперь отходили приниженные, лишенные всего, нищие духом.

Выйдя за ворота, князь Василий сел в карету и посадил с собою сына; слуги, и то при помощи Змеева и Косагова, едва могли усадить в другую карету Неплюева, который, выйдя из ворот обители, вдруг залился горькими слезами и все только твердил:

– Вот до чего дожил! Тридцать семь лет не сходил с поля ратного – служил верой и правдой!..

Когда кареты тронулись с места, князь Василий вынул из рукава записку. Князь Борис писал ему. «Не медли ни часа в посаде. Съезжай со двора тотчас. Жди беды, если не уедешь. Встречу тебя на Ярославской дороге –

в селе Присыпкове. Там побеседуем на прощанье. Но помни – чтобы ночь тебя здесь не застала».

Князь Василий понял смысл этого предупреждения... По возвращении в дом отца Варсонофия он велел немедленно собираться в дорогу, а затем позвал к себе Куземку Крылова, заперся с ним в своем покое и с полчаса отдавал ему какие-то тайные приказания. Два часа спустя толпа народа, собравшаяся на улице посада, с любопытством смотрела на блестящий поезд опальных бояр, отъезжавших в дальнюю ссылку. Никто и не заметил, как в то же время, среди общих сборов и суматохи, Куземка Крылов съехал с попова двора задними воротами в поле, а по нему пробрался к перелеску и, оглянувшись на посад, вдруг пустил коня вскачь и во весь дух помчался к Москве.

Ясный сентябрьский день сменился сырым и холодным вечером, и совсем уже стемнело, когда около дворца в Троицком монастыре собралась порядочная толпа дворян и детей боярских и стала требовать, чтобы государю было доложено их челобитье.

– Да в чем же ваше челобитье? – спросил их князь Троекуров, приняв от них бумагу.

– А в том, – отвечали выборные из толпы, – чтобы государь приказал строже розыскать воровство и измену Федьки Шакловитого и всех его соумышленников! Мы государю верные слуги и злых умыслов на государское здорье терпеть не хотим...

– Злодеи и так все переиманы и пытаны, и в воровствах своих повинились, – отвечал им Троекуров. – Чего же еще вам надобно?

– Мы слышали, что государь по неизреченному своему милосердию приказал избавить Федьку Шакловитого от вторичной пытки; а мы знаем, что в первой пытке он во всех своих воровствах заперся... Да вот и князей-то Голицыных, что с злодеем дружили, надо бы

также не выпускать из рук, а допросить да с Федькою на очную ставку поставить!

– Не в свое вы дело путаетесь... Государь над этим делом поставил судей строгих и опытных, и те судьи сумеют и без вас все разыскать и рассудить по закону...

– Великий государь млад возрастом и к злодеям милостив, а вы, бояре, ему на своего брата не советуете, – закричало несколько голосов из толпы.

– Да между судей есть и такие, что злодеев покрыть норовят, – подхватили другие.

Толпа загудела; раздались возгласы:

– Беспременно Федьку пытаться вторично надобно... Надо до всех добратся, кто на великих государей умышлял!

Троекуров сказал, что передаст государю челобитную, и ушел во дворец.

Толпа продолжала шуметь и волноваться.

– Где же это видано и когда же это было, чтобы без сыску ссылать изменников!

– Каких же изменников? Изменники в железах сидят посажены...

– А Голицыных-то? Ведь, чай, сам слышал, что в указе о них читали, «как они, великих

государей оставя, сестре их доброхотствовали и помимо государей о всяких делах докладывали». Это разве не измена?

– А кто Федьке поблажал? Все они же!

– Они все знали, да не доносили – ясное дело, что и сами Федьке норовили! Изменники!

– Надо их в тюрьму! К допросу!

– Держи карман! Их уж и на посаде-то нет!

– Как нет?! Где же они?

– Сам видел! Съехали неведомо куда!..

– Бежали? Слышите ли, братцы? Бежали изменники! Каковы?

– Бежали! – загалдела толпа. – Кто же их выпустил? Кто позволил? Чьим попусцием? Слышь, бежали изменники!

В это время Троекуров вышел опять на крыльцо и сказал, обращаясь к толпе:

– Великий государь, царь и великий Петр Алексеевич, всея Великие и Малые и Белые России самодержец, приказал благодарить вас за усердие и велел вам сказать, чтобы вы не мешались не в свое дело, – он-де и сам знает, кого казнить, кого миловать.

Толпа выслушала эту проповедь молча, но не расходилась. В передних рядах слышался

глухой ропот, а в задних кто-то вдруг закричал:

– А ведомо ли государю, что изменники его самовольно с посаду сбежали?

– Какие изменники? – спросил с удивлением Троекуров.

– Вестимо, какие! Князя Голицыны! Сбежали неведомо куда! Кто им это дозволил? – раздались голоса в толпе.

– Когда же сбежали? Кто это сказал? – спросил Троекуров, смутившись.

– Чего там – кто сказал! Все знают! Это вы только, бояре, не знаете! Это сделалось вашим несмотрением! Вашей поноровкой! – загудела толпа.

– Коли бежали, так пошлют за ними погоню! – с досадою сказал Троекуров. – А вы все же ступайте по домам и не в свое дело не суйтесь!

Толпа разошлась с ропотом недовольства; но сообщенная Троекурову весть о мнимом побеге Голицыных все же смутила его и других бояр. Послали узнать в дом к отцу Варсонофию, и тот мог сообщить только, что по возвращении из монастыря князь Василий

тотчас приказал холопьям собираться и укладываться в дорогу и выехал со всем своим обозом по Ярославской дороге.

– Как выехал? Да он должен был подождать пристава! К нему пристав и стрельцы назначены... А он и без пристава, и без стрельцов укатил!.. Неужели точно бежал?

Тревога распространилась по всему боярству у Троицы. «Бежали, бежали князя Голицыны!» – повторяли все с беспокойством, даже не соображая того, что бежать и скрыться с княжьем обозом было невозможно. Как и всегда бывает в подобных случаях, тревога мешала здравому обсуждению дела и сбивала с толку. Весть о побеге опальных князей не решились даже и сообщить государю Петру Алексеевичу; но зато, посоветовавшись между собою, бояре, по настоянию Нарышкиных, решили немедленно принять свои меры – послать погоню за бежавшими князьями Голицыными, нагнать, возвратить их к Троице и отправить отсюда в ссылку не иначе, как с приставом и стрельцами в провожатых.

Задумано – сделано. Так как ни стрельцов, ни рейтар нельзя было послать в погоню без

указа государева, то решили возложить это поручение на охочих боярских детей и дворян и придать им в помощь с полсотни боярских слуг. Побежали приятели Нарышкиных, Долгоруких и Шереметевых на посад, и пошла суматоха.

Всполошился весь посад. Везде во всех дворах замелькали фонари, забегали и засуетились темные фигуры людей, которые поспешно седлали и взнуздывали коней, поспешно закидывали ружья за спину или подтягивали пояс с висевшею на нем саблюю. Звяканье удечек и оружия, топот и фыркание коней на улице, суетливая беготня и крики, бестолковое скакание каких-то всадников взад и вперед по посаду перетревожили все население Троицы.

– Куда это? За кем погоня? – спрашивали в толпе, собравшейся на улице.

– За беглыми князьями! – пояснял кто-нибудь.

– За которыми же князьями? Не слышал было беглых-то?

– А вот за теми, что у попа в доме стояли. Чай, и попу достанется за то, что упустил.

– Да что вы, братцы? Какие же они беглые? Они собрались, как добрые, да шагом по Ярославской дороге поехали! С ними обоз-то никак лошадей в пятьдесят идет? Где же им бежать?

– Я же тебе говорю: бежали! Их завтра было на площадь выводить – приговор над ними ссылочный читать, – а они взяли да не спросясь уехали.

– Полно врать-то! Видно, хлебнул под вечер лишнюю!..

Поднялся спор, смех и ругань. Но в это время весь разношерстный сборный отряд, назначенный в погоню за Голицыным, собравшись на улице, сбился в кучу около дома отца Варсонофия. Вот и предводитель его, дворянин Хвостов, сел в седло, перекрестился на обитель, крикнул: «Гайда, за изменниками!» – и пустил коня вскачь по улице. За ним, теснясь и перегоняя друг друга, поскакали остальные дворяне и слуги боярские, бреча оружием и неуклюже подпрыгивая на сытых конях.

Князя Голицыны между тем добрались до

Присыпкова. Здесь, у самой околицы, встретил их князь Борис со своими псарями и ловчими, отпросившийся у Петра на этот день в отъезжее поле, чтобы не присутствовать при чтении указа об опале князей Голицыных.

Весь поезд остановился у той избы, в которой князь Борис отдыхал после охоты. Князь Василий вышел из кареты с сыном, и братья-соперники встретились на пороге избы.

– Вот где пришлось свидеться, князь Василий! – сказал Борис Алексеевич.

– Недаром говорят, что от сумы да от тюрьмы никуда не уйдешь, – отвечал князь Василий, протягивая руку брату.

И оба князя вошли в избу; за ними молча последовал и князь Алексей.

Печальна и поучительна была эта беседа – последняя прощальная беседа двоих людей, которые так долго боролись, стоя во главе двух различных партий, и так усердно старались друг другу вредить и подставлять ногу. И вот цель достигнута: борьба окончилась победою князя Бориса и гибелью его противника... Но победа не радует победителя...

– В поле съезжаются – родней не считают-

ся, – говорил князь Борис князю Василию после первых объяснений, – чай, сам это знаешь? Так уж не сетуй на меня...

– Поздно сетовать, князь Борис. От своей судьбы не уйдешь. Видно, моя судьба такая.

– Благодарю Бога, что удалось мне тебя от розыска выволить. Нарышкины все на тебя точили зубы – все хотели тебя да Шакловитого одним узлом связать. И мне пришлось государя уламывать... Пришлось и греха на душу взять... И если бы не Емельян Украинцев, пожалуй, не спасти бы тебя...

– Спасибо всем вам, – сказал князь Василий, опуская голову.

– Ну а теперь и далек твой путь, князь Василий, да все же не таков, чтобы из него возврату не было...

– На все воля Божья, князь Борис; я на скорый возврат не надеюсь. Уж больно у меня приятелей-то много. Видно, моя песенка спета!

– Пока еще ни за один день ручаться нельзя... Не мудрено теперь каждому с утра на коня взмоститься, а под вечер под конем очутиться... Вот почему я тебя и спугнул поско-

рее с посада. Ведь ты там под рукою, за тебя всегда бы опять твои недруги могли приняться, а тут поехал в ссылку – авось и забудут?

– Пусть бы забыли меня... Вот только деток жаль! За что они из-за меня страдать будут?

– Князь Василий, дай грозе пройти... Авось как опять проглянет солнышко, мы о тебе вспомним... Слышишь, Алешенька! Бодрись да молись – еще свидимся!

Юноша поднял на дядю признательный взор, но глаза его отуманились слезами, и он поспешно отвернулся в сторону.

В это время на улице раздался какой-то неопределенный шум и гул, потом приближающийся топот скачущих по дороге коней и громкие крики:

– Гайда! Держи, хватай их! Оцепляй обоз! Руби гужи!..

– Что это такое? Кто смеет?.. – воскликнул князь Борис, быстро вскакивая со своего места и тревожно оглядываясь кругом.

– Эй, люди!

Но никто не отзывался. А шум на улице перешел в совершенную бурю... Слышались призывы на помощь, ругательства, стук ору-

жия и вопли. Кириллыч вбежал в комнату, бледный, перепуганный, и только мог проговорить:

– Государевы люди нападают! Всех бьют! Отбивают обоз!

Но князь Борис уже не слушал его и бросился из избы на улицу.

Князь Алексей ухватил отца за руку и спросил его тревожно:

– Батюшка, не за нами ли эта погоня? Не за нашими ли головами?..

Князь Василий ничего не отвечал и не двинулся с места, приготовившись твердо встретить новые грозившие ему удары судьбы.

Когда князь Борис вышел на улицу, то увидел, что около обоза и экипажей князя Василия происходит в темноте какая-то ожесточенная свалка.

В темноте можно было только различить, что на людей и на обоз князя Василия нападают какие-то конные люди, от которых гайдуки и слуги князя Василия отчаянно отбиваются, но среди шума, криков, ругани и стука оружия никакой не было возможности различить, кто были нападающие и откуда они

явились. Князю Борису пришла в голову счастливая мысль – затрубить что есть мочи в охотничий рог. И этот громкий звук, на который по всей деревне отозвались воем и лаем его своры, озадачил нападающих и вынудил их на мгновение приостановить свалку.

– Люди! – закричал громовым голосом князь Борис. – Огня! Огня! Гей, псари! Собак сюда! Арапников! – гремел он среди мрака и общей сумятицы. – Кто смеет нападать на обоз князя Голицына, тот мне головою ответит!

Заслышав гневный крик грозного боярина, люди опрометью сбежались к нему, высыпал и народ с фонарями и с пучками горящей лучины. Сила оказалась на стороне Голицыных, и нападающие увидели себя в положении довольно затруднительном. Приходилось волей-неволей вступить в переговоры. Хвостов и несколько сопровождавших его дворян, еще не успев вложить сабель в ножны, подошли к крыльцу избы, на котором стоял князь Борис, окруженный своими псарями.

– Кто вы? – грозно крикнул на них Борис Алексеевич. – Как смее вы здесь разбойни-

чать?

– Мы не разбойничаем, – резко отвечал князю Хвостов. – Мы посланы ловить государевых изменников, князей Голицыных, что из-под Троицы бежали.

– А есть ли у тебя с собою указ государев, по которому тебе их ловить велено? – грозно крикнул князь Борис, наступая на Хвостова.

– Мне указа не дано никакого... А послали меня бояре... приказали... их нагнать! – заговорил, растерявшись, Хвостов, пятясь назад от гневного Бориса Алексеевича.

– А как они смели посылать тебя без указа государева? – заревел в исступлении князь, хватая Хвостова за грудь и встряхивая его с такою силою, что шапка у него слетела с головы и сабля выпала из рук. – Да я тебя запорю здесь до смерти, разбойника! Затравлю собаками вместе с твоими асаулами!

И он, бросив Хвостова наземь, наступил ему на грудь сапожищем, а руками ухватил за шиворот двух ближайших его сотоварищей.

– Что вы зеваете? – крикнул он своим людям. – Вяжи их! Крути им руки за спину! Я на-

учу их, какво разбойничать по дорогам!

Приказание было исполнено так быстро, что несчастные предводители отряда, перепутанные насмерть гневным князем Борисом, не успели и слова промолвить.

– А вы все, там! – гаркнул Борис на озадаченных и перетрусившихся боярских слуг, приехавших с Хвостовым. – Убирайтесь отсюда подобру-поздорову да расскажите всем у Троицы, какво не в свое дело вступаться да ловить изменников без государева указа!

Вся эта сбродная братия не заставила повторять приказания, а повернула коней и врассыпную пустилась обратно по Троицкой дороге.

– А их поберегите покамест! – сказал князь Борис людям, указывая на Хвостова с товарищами. – Завтра они мне сами укажут у Троицы, какие бояре их за князьями Голицыными в погоню посылать осмелились, когда князья свято волю государеву исполнили и тотчас после указа сами в ссылку поехали.

Хвостова и его товарищей увели.

Князь Борис вернулся в избу и сказал князю Василию:

– Изволишь видеть, как ты в пору от Троицы уехал? Видно, твоим приятелям жалко, что им твоей головы не удалось от государя добиться! Теперъ поезжай с Богом и жди в Ярославле своего пристава. Да молись усерднее Богу, чтобы он умягчил сердце царево! Ну и мне пора восвояси... Прощай, князь Василий, не поминай брата лихом!

– Прощай, князь Борис Алексеевич! Дай Бог тебе никогда не изведать, каково счастье изменчиво!

И братья обнялись крепко-крепко... Им и в голову не приходило, что они уже никогда более не свидятся в жизни.

Спешно отъезжая от Троицы к Ярославлю, князь Василий поручил Куземке мчать что есть духу к Москве, передать грамотку княгине Авдотье Ивановне и все то исполнить, что она ему прикажет, а затем помочь ей собраться в дорогу настолько скоро, чтобы весть об оплате и описи имущества, достигнув Москвы, не успела уже ее застать в Белокаменной.

– Хоть коня загнать, а быть в Москве надо еще до рассвета! – сказал князь Василий Куземке, отпуская его в дорогу и сам собираясь садиться в карету.

Куземка исполнил приказ князя с удивительной точностью. Как отличный ездок, он знал своего коня превосходно, и добрый степной аргамак, подаренный Куземке князем, сослужил своему хозяину хорошую службу. Окольными тропинками, не выезжая на прямоезжую Троицкую дорогу, Куземка в шесть часов с небольшим доехал до Москвы, сделав верст двенадцать крюку, пробрался в город мимо застав и караулов, и начинало чуть расцветать, когда он подъехал к Большому двору

князя Василия со стороны Дмитровки, а не со стороны Тверской, чтобы не наделать излишней тревоги.

Но наши деды жили крепко, и со стороны Дмитровки двор князя Василия был обнесен такой же высокой оградой, как и со стороны Тверской, с тою только разницей, что там была каменная стена, а здесь деревянный забор. Куземка попробовал постучаться в ворота, надеясь, что стук будет услышан сторожем, который спал в сторожке около самых ворот. Но на стук его отозвались громким лаем только собаки, спущенные на ночь с цепи.

– Урвайка, Белка, Арапка, цыц, подлые! Разве не чувствуете, что свой приехал?

Собаки, узнав знакомый голос, стали визжать и подлаивать, прыгая около ворот и скребясь в них своими сильными лапами.

– Ишь, спит дьявол, словно на печь завалялся, а тоже сторожем называется! – пробурчал с досадою Куземка, попытавшись еще раз постучаться в ворота.

Потом, не думая долго, он свернул бурку, положил ее на седло, подвел свою потную и усталую лошадь вплотную к самым воротам,

вступил ногою в стремя, потом обеими ногами встал на бурку, ухватился за верхнюю перекладину ворот, поднялся на своих сильных руках, сел на перекладину верхом и, как кошка, спустился на другую сторону. Через минуту воротный сторож, крепко заснувший в сторожке, был разбужен здоровенным тумаком в шею и окриком Куземки:

– Так-то ты, леший, боярское добро бережешь! Я на коне подъехал, всех собак переполошил, через ворота перелез, а ты все дрыхнешь?

– Виноват, Кузьма Гаврилыч, недослышал!.. – извинился сторож, помогая Куземке отпереть ворота, между тем как пять огромных лохматых дворняг ластились к ловчему и, приветливо помахивая хвостами, радостно визжали.

Прибрав коня, Куземка пошел будить тех лиц из дворни, которые были ему нужны для облегчения доступа к княгине Авдотье Ивановне. Все были очень удивлены, когда услышали, что Куземка прискакал прямо от Троицы с поручением к княгине и может передать его только лично.

Пошли будить княгиню и порядком ее напугали. Спешно поднявшись с постели, она торопилась одеваться и мыться, распрашивая свою старую постельницу, не слыхала ли она от Куземки, здоров ли ее князь и не случилось ли с ним беды какой у Троицы?

– Сама знаешь, Агапьевна, близко царя, близко смерти! – говорила княгиня, вздыхая и спеша надеть на голову теплый каптур. – Ты Куземку о князе Василии Васильевиче не спрашивала?

– И спрашивала, матушка-княгиня, да разве с ним сговоришь? – отвечала Агапьевна. – Молчит, как колода, да глазищами по сторонам водит. Только и сказал, что тебя наедине видеть должен.

Наконец княгиня вышла в моленную, помолилась перед иконами и велела позвать Куземку. Это была женщина под сорок лет, белая, полная, еще не утратившая некоторой привлекательности в лице; особенно приятно было выражение ее больших спокойных голубых глаз, не выражавших большого ума, но зато светившихся удивительною добротою и мягкосердечием.

Куземка, введенный Агапьевной, отвесил низкий поклон боярыне, перекрестился на иконы и стал молча у притолоки, косясь на Агапьевну, которая притворила за собою дверь и, видимо, желала присутствовать при тайной беседе княгини с Куземкой.

– Здоров ли князь-то мой, сокол мой ясный? – спросила торопливо княгиня.

– По вчерашний день, по вечер здравствовать изволил, – отвечал Куземка и опять замолк.

Расспросив еще о здоровье сына и получив такой же краткий ответ, княгиня сказала Куземке:

– Что же у тебя – грамотка, что ли, есть? Так давай ее сюда и говори, с чем ты прислан так спешно?

– Не смею, государыня. Мне при других говорить не приказано.

– Да что ты? В уме ли? Агапьевна свой человек – при ней все говорить можно.

– Не приказано, – твердо отвечал Куземка, закладывая руку за пазуху и пощупывая княжью грамотку.

– Ну, делать нечего! Выйди, Агапьевна, –

кротко сказала княгиня.

Старая постельница вышла из моленной, хлопнув дверью и ворча себе под нос: «У-у-у! Разбойник! Все и ухватки таковские!»

Куземка вынул грамоту из-за пазухи и сказал:

– Прежде чем тебе грамотку отдать, государыня, приказал князь тебе сказать, чтобы ты его бедой не печалилась и не пугалась и никому о ней не сказывала, а сказала бы всем, что князю Василию Васильевичу приказано ехать в ростовское имение и ты туда же, мол, должна выехать сегодня же, еще до вечера.

Княгиня очень перепугалась этого предварительного заявления, и рука ее дрожала, когда она приняла от Куземки письмо князя Василия и стала его вскрывать.

В письме князь Василий писал ей откровенно, что его постигло большое несчастье – опала и полное разорение, что он, впрочем, надеется еще склонить государя на милость и, может быть, избегнет далекой ссылки, но вместе с тем приказывал княгине спасти из громадного имущества то, что поценнее, раздав кое-что в верные руки, а кое-что и при-

прятав в надежном месте. Все это исполнить, снарядить громадный обоз и выехать из Москвы – по приказу князя – следовало в несколько часов, пока весть об опале не достигла Москвы и не наехали на двор к князю царские приставы для описи княжьих животных.

Княгиня, прочитав письмо мужа, расспросила Куземку, который рассказал ей всю сцену опалы и чтение указа на государевом крыльце в Троицком монастыре. Но Авдотья Ивановна ни из его рассказа, ни из письма мужа не могла уразуметь всей громадности постигнувшего ее семью несчастья. Бедствие представлялось ей большим и тяжелым, но ее ни на минуту не покидала надежда на то, что это бедствие минует очень скоро, что всемогущий князь Василий сумеет отклонить от себя ужасную грозу, а главное, что юный царь, конечно, не в силах будет обойтись без помощи такого советника и дельца, как князь Василий...

Когда зазвонили в церкви к заутрене, весь княжеский двор был уже в движении и волнении. Приказано было приготовить к дороге

два рыдвана, три кареты, шесть колымаг для служни и пятьдесят телег для обоза. Людям объявлено было, что княгиня едет на житье в ростовское имение со всем домом и что князья приедут туда же от Троицы. Все ключники и ключницы были призваны в княжеские хоромы и, получив приказание, засуетились в кладовых и амбарах. Княгиня, домовитая хозяйка, сама следила за укладкой всего необходимого для нее, для мужа, для сыновей и невестки, для маленького внука; сама ходила по амбарам и кладовым, наблюдая, чтобы не были забыты съестные припасы, вино, лакомства, фрукты; сама заботилась о людях, чтобы захватили с собою все зимнее платье и побольше одеял, ковров и войлоков. Так спокойно и толково все это делалось, что никому из людей и в голову не приходило, что княгиня собиралась в дальнюю ссылку; все твердо были уверены, что едут зимовать в ростовское имение князя, прославленное своими обширными фруктовыми садами и огородами. И самой княгине казалось, что ей не придется ехать далее Ярославля, и – самое большое – провести в деревне год или даже менее, «пока

уляжется вся эта смута» (так рисовались в воображении простодушной Авдотьи Ивановны первые шаги Преобразователя!). Вот почему она заботилась не только о том, чтобы захватить необходимое, но и то, что составляло ненужную прикрасу жизни или излишнюю роскошь.

Агапьевна, вместе с двумя старыми горничными княгини разбиравшая белье и платье княгини, то и дело прибегала к ней и спрашивала:

– Матушка-княгиня, не прикинуть ли, кстати, и твою коробью и кисейные рубахи князя Алексея Васильевича?

– Вестимо, прикинь, пригодятся.

– А куда прикажешь из князь Алексеевых животов бумажники с взголовьями атласные алые положить?

– Положи их вместе с князь Васильевыми подушками с рудо-желтыми в один сундук: да не забудь туда же приложить наволоки камчатые жаркого цвета.

– Приложила, матушка, приложила! Там же, с бочку, положила подушечки цветные атласные, обшитые кружевом золотым, еще с

духами трав-то немецких... Знаю, что их ба-
тюшка князь Василий Васильевич очень лю-
бит.

Уложив все необходимое, княгиня Авдотья
Ивановна свято исполнила приказ мужа: са-
ма обошла все кладовые с платьем мужа и
сыновей, спорола с них золотые аламы[17],
запаны и пуговицы – усыпанные драгоценны-
ми камнями и крупным жемчугом, приложи-
ла к ним из своего запаса перстни, серьги, за-
пястья, ожерелья, монисты и четки из само-
цветных камней – сложила все это в сунду-
чок, окованный железом, заперла висячим
замком и запечатлела княжескою печатью.
Куземка Крылов отвез сундучок в Чудов мо-
настырь и сдал там на руки келарю Герману
и казначею Никанору, давним приятелям
князя, на хранение. Затем княгиня приказала
отобрать из оружейной палаты наиболее цен-
ное оружие. Два воза нагрузили саблями, кон-
чарами, кинжалами, саадаками и доспехами
с золотой и усыпанными жемчугом и драго-
ценными камнями, а на другие два воза, в
простых рогожных кульках, навалили самые
дорогие и редкие из золотых и серебряных

утварей и посуды. Все это было отправлено на хранение к отцу княгини – боярину Стрешневу.

Когда все было уложено и увязано и даже лошади впряжены в кареты и телеги, оказалось, что забыли о двух важных делах! Не поставили в карету княгини Марьи Исаевны клетку с ее любимым попугаем, а в колымагах для прислуги не отвели места для двух карликов, Дениски да Федьки Вахрамеевых, присланных гетманом Мазепою в подарок князю Василию. Карлики были очень обижены и жаловались княгине, которая обратилась к Агапьевне с упреком и сказала:

– Скажи, чтобы им сейчас нашлось место! Не оставлять же их здесь: свет-Алешенька любит с ними поиграть на досуге. Да посмотри, чтобы и короби с их потешным платьем не забыли прихватить.

Наконец все было готово, прилажено, приспособлено и уложено. Отслужен был в церкви долгий напутственный молебен; все экипажи и повозки окроплены святою водою. Княгиня Авдотья Ивановна вместе с невесткою, княгинею Марьей Исаевной, с младшим

сыном Михайлом и с внуком, еще грудным ребенком, вошла в дом и в столовой палате князя Алексея стала прощаться со всеми собравшимися родными, с дочерью своей Ириною, бывшею в замужестве за стольником Одоевским. Все, по русскому обычаю, перед прощанием присели ненадолго на кресла и лавки «в поперек половицы», потом поднялись, помолились на иконы и стали прощаться. Княгиня никому ни единым словом не обмолвилась, что она с мужем и сыном едет в дальнюю ссылку, потому и проводы вовсе не были печальны. Плакала только Ирина Васильевна, целуя и обнимая свою дорогую матушку.

Спокойно и твердо сошла княгиня со двора, простилась со всеми людьми, наказала всем ключникам и начальным людям, чтобы зорко смотрели за боярским добром, без всякого упущения и оплошки, и слушались главного управителя Матвея Ивановича, на руках которого оставались ключи от всех богатств и неистощимых запасов княжеских. Затем княгиня еще раз приложилась к кресту, поднесенному ей священником, который не упу-

стил случая пожелать матушке-княгине «безпакостного путешествия» и просил о присылке ему «запасца» из деревни, перекрестилась на крест своей придворной церкви и села в карету, напутствуемая поклонами и пожеланиями всей родни, знакомцев и дворни.

– С Богом! – проговорила она чуть слышно, едва сдерживая слезы.

– С Богом! Мир дорогой! – подхватили крутом несколько голосов, и тяжелая карета, целый ковчег Ноя, всколыхнувшись, двинулась с места и покатила из ворот налево. За нею тронулись тем же порядком еще восемь повозок и колымаг. За колымагами потянулся обоз из тридцати огромных черкасских телег с кровлями, запряженных четверками коней, и двадцать простых телег, запряженных тройками. Около повозок и обоза шла густая толпа провожатых, ехали на конях вооруженные слуги, бежали мальчишки и досужие зеваки и плелись нищие, выпрашивая подаяние и желая щедрым боярам счастливого пути.

На повороте к Лубянке в одной из кучек, собравшихся на углу улицы, две какие-то вет-

хие старушонки долго смотрели на поезд Голицыных и провожали глазами каждую отдельную телегу, словно хотели запомнить все, что на них было погружено, навалено и увязано.

– Господи боже мой! Добра-то, добра-то что! – прошамкала одна из старух, опираясь желтыми, исхудалыми руками на посох. – Одних коней, мать моя, насчитала я двести и пятьдесят!

– Что и говорить, Антипьевна, боярам не житье, а рай пресветлый! Умирать не надо!

Пристав Федор Мартемьянович Бредихин, назначенный для присмотра за князьями Голицыными и препровождения их в Каргополь, считал это поручение великим для себя бедствием. Он тотчас после назначения бросился во все стороны, к разным своим знакомцам и милостивцам и слезно молил их «не оставить его, убогого, в таких его напастях».

– Призри, государь, милостью своею, – говорил он каждому из них в особицу.

– Кроме Бога и тебя, защитника у меня нет! – повторял он, кланяясь каждому в пояс.

И милостивцы обещали его не забыть.

– Порадей, государь, чтобы мне там не зажитья, – хлопотал Бредихин у своих приятелей, приказных, дьяков, поднося им «барашка в бумажке». И дьяки обещали порадеть.

Действительно, положение пристава при знатных ссыльных было очень трудное. Если бы он не исполнил данного ему строгого предписания, то подвергся бы суровым взысканиям и тяжелой ответственности перед на-

чалством; если бы исполнил предписание и стал относиться сурово к ссыльному вельможе, то возбудил бы против себя всех его родственников и друзей, что могло быть очень опасно в случае, если бы опальному удалось получить прощение и возвратиться из ссылки.

Федор Мартемьянович это понимал и заранее принимал меры к избавлению себя «от злого сего тартара», как он величал свое назначение. Надеясь на то, что это избавление не замедлит, он даже и относился к своим обязанностям спустя рукава. Да и мудро было отнестись к ним иначе. Пристав и данная в его распоряжение команда, состоявшая из капитана и двадцати стрельцов, нагнав около Ростова громадный поезд князей Голицыных, уже съехавшихся с женами, оказались среди всей свиты вооруженных слуг князя также чем-то вроде почетной княжеской служни. Что могли сделать эти двадцать два человека, когда князья, их семейство и сопровождавшая их челядь занимали при остановке в деревнях по пятнадцати дворов, а при роздыхе в местах пустых, нежилых раскидывались це-

лым станом в несколько десятков палаток? Притом от самой Троицы и до Ярославля князь ехали почти сплошь по своим вотчинам, где все население выходило им навстречу и при проезде княжеского поезда отвешивало своим боярам земные поклоны.

Благодаря всем этим условиям князь и княгини ехали почти до Ярославля очень спокойно и свободно, даже не замечая того, что они едут в ссылку, и все более и более свыкались с мыслью о том, что это путешествие должно будет, вероятно, благополучно окончиться и в их судьбе, несомненно, произойдет в скором времени благоприятный оборот. Не верил этому только князь Василий, хорошо понимавший современное положение дел и характер лиц, приближенных к Петру, но он, мрачно настроенный и молчаливый, никому не сообщал о своих тяжелых сомнениях. Судьба, впрочем, не замедлила со своими ударами...

23 сентября, как раз в то время, когда князь Голицыны, переночевав в слободке Гавшинке, вотчине Толгского монастыря, собрались ехать далее, к Ярославлю, на дороге по-

казались десятка два ямских подвод со стрельцами, ехавшие очень бойко. Завидев княжеский обоз, изготовлявшийся в дорогу, ямские подводы остановились, и бывшие при стрельцах начальные люди, отыскав пристава Бредихина, передали ему какие-то бумаги. Через несколько минут один из приехавших со стрельцами капитанов отдал им приказание – остановить княжеский поезд и никого из поезда не выпускать впредь до нового приказания.

Вскоре к князьям, уже собиравшимся садиться в повозки, явился Федор Мартемьянович в сопровождении какого-то высокого, худощавого, носатого мужчины лет под пятьдесят, с жиденькой бородкой и карими глазами, смотревшими исподлобья. Федор Мартемьянович не мог скрыть своего удовольствия, когда стал заявлять князю Василию, что он получил приказ воротиться к Москве, а князей Голицыных повелено от него принять стольнику Павлу Михайловичу Скрябину (при этом он указал на своего спутника).

Скрябин поклонился князьям и, не теряя ни минуты, заявил им, что привез с собою

указ государев, который и должен им прочесть немедленно.

– Читай, мы готовы слушать, – спокойно сказал князь Василии, поднимаясь со своего места вместе с сыном.

Скрябин развернул указ и прочел в нем следующее:

– «Сто девяносто восьмой год, сентября в восемнадцатый день, великие государи, цари и великие князья Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич, всея Великие и Малые и Белые России самодержцы, указали: князь Василия и сына его князь Алексея Голицыных послать в ссылку с женами и детьми в Яренск, а в Каргополе быть им не указали...»

– Господи! – невольно вырвалось у князя Василия, беспомощно опустившего голову.

Скрябин, не обратив ни малейшего внимания на это восклицание, продолжал чтение весьма длинного указа, в котором далее значилось, что стольнику Скрябину повелевается отобрать у князей Голицыных всех «служилых поваренных и иных работных людей и конюхов» и оставить при них только пятнадцать человек с женами; всех остальных от-

пустить или прислать к Москве, а человека их Куземку Крылова «прислать к Москве же за караулом».

Сверх того, стольнику Скрябину приказывалось у князей «осмотреть и переписать именно», сколько у них захвачено с собою «золотых и ефимков, и денег, и камня, и жемчугу, и серебряной, и всякого служилого заводу, и конских нарядов, и лошадей, и карет, и рыдваны, и коляски, и служилые телеги, и шоры, и иные всякие припасы, и поваренную посуду». Из всего добра, какое окажется у князей, приказывалось им оставить «на пропитанье» денег и движимости всего на две тысячи рублей, включая в это число и две кареты для княгини и лошадей, необходимых для дальнейшего путешествия.

— А вас, князь, — обратился Скрябин к опальному, — приказано мне из карет высадить и везти в Яренск на простых ямских подводах.

— Ну что ж? — сказал князь Василий, уже успевший совладать с собою. — Исполни волю пославшего тебя.

Начался ряд тяжелых сцен, к которым не

были приготовлены ни князья, ни их жены. Скрябин приказал стрельцам разгрузить весь княжеский обоз, открыть все шкапуны, сундуки и баулы; затем он обыскал самих князей, а княгинь выслал из избы в сени в одних телогреях, пока он со стрельцами рылся в их белье, платье и детских нарядах. Всему имуществу князей составлена была подробная опись, а на другой день призваны были из Ярославля ценовщики и на каждый предмет ими установлена цена. По этой цене Павел Скрябин отделил князьям из их имущества только существенно необходимое, старательно отобрав в казну все, что было получше. Недаром писал он потом своему начальнику боярину Тихону Стрешневу, что «против великих государей указу все учинил и оставил князьям только самое некорыстное».

Трудно передать, что должны были вынести князья и княгини при этом осмотре и оценке их имущества. Но ни князья, ни княгиня Авдотья Ивановна не высказали внутреннего состояния своей души ни единым словом. Только княгиня Марья Исаевна, беременная на сносях, не могла перенести всей

этой тяжелой передряги и разрыдалась. Но невозмутимый делец Скрябин как будто даже и не видел, и не замечал того, что кругом него происходило: он считал, пересматривал, записывал, взвешивал, измерял и успокоился только тогда, когда все отобранное у Голицыных имущество было навалено на их же телеги, крепко увязано и сдано по описи возвращавшемуся к Москве Федору Бредихину.

На другой день после оценки и разбора имущества Скрябин занялся переписью людей, выехавших из Москвы с князьями и княгинями. Отобрав из числа их пятнадцать человек, пристав запер их в двух избах и приставил к ним караул. Всех остальных он сдал на руки Бредихину и не дозволил им проститься с опальными князьями.

– Павел Михайлович, – обратился Бредихин к Скрябину, пересматривая список людей, отпускаемых к Москве, – тут у тебя записан еще Куземка Крылов, которого приказано везти под караулом. Где же он?

– А он еще третьего дня в клети у старосты посажен за сторожи. Пошли туда стрельцов, чтобы его взяли.

Послали стрельцов, и стрельцы прибежали оттуда перепуганные.

– Беда! – кричали они еще издали.

– Что там такое? – спросили их приставы.

– Человек-то князей Голицыных повесился!

– Что вы врете?

– Чего там врать! Поди сам посмотри, коли не веришь! И сам – на гвозде, и язык – на губе!

Побежали приставы – посмотрели: и точно. Вбил Куземка в стену гвоздь да на гашнике и повесился...

Верный княжой холоп не выдержал опалы и унижения своих господ.

Все эти описи, оценки и возня с людьми заняли более двух дней. На третий Скрябин явился к князьям рано утром и заявил им, что имеет относительно их предписание – учредить над ними строжайший надзор, а потому никуда из избы не дозволит им выходить без караула и ни с кем не допустить ни в какие сношения, ни письменные, ни личные.

– Делай, что приказано! – сумрачно отвечал князь Василий. – Да мне сдается, что уж чем так-то нас караулить – лучше бы сразу

посадить на замок, за решетку.

– Будет указ, так и посадим! – отвечал, осклабясь, Скрябин. – А теперича указа нет.

Князей развели в две разных избы и к каждому из них посадили по капитану, который выходил из избы только тогда, когда к князьям приходили их жены.

Еще день промедлили в Гавшинке; Скрябин, видимо, чего-то выжидал – и не тщетно. В ночь на четвертый день к нему привезены были какие-то бумаги, и рано утром он явился к князю Василию с Федором Бредихиным и, потирая руки, заявил, что прислан указ государев, который обоим князьям придется выслушать вместе.

– О чем же указ государев? – спросил князь Василий.

– А вот как изволишь выслушать, так узнаешь! – сказал Скрябин с улыбкой. Ему, видимо, доставляла большое удовольствие тревога князя Василия, на котором он хотел выместить всю досаду за ту тяжелую и невыгодную службу, которая ему самому выпала на долю при князьях.

Привели князя Алексея; заперли избу на

крюк. Затем при двух стрелецких капитанах и при Федоре Бредихине Скрябин громогласно прочел указ о том, чтобы князя Василий и Алексей Голицыны были приставами допрошены по двенадцати статьям, извлеченным из последнего показания Шакловитого.

– «А у расспросу указали мы, великие государи, – так значилось в указе, – им, князь Василию и князь Алексею, сказать, чтобы они против тех вышешпоименованных статей сказали обо всем подлинно. Да и то им сказать, что в тех статьях о том о всем Федька Шакловитый сказал у смертной казни. А по нашему великих государей указу, таким ворам, которые у смертной казни на кого учнут говорить, верят...»

Скрябин взглянул из-за указа на князя Василия и продолжал с особенным ударением:

– «А буде те люди, на которых языки у смертной казни говорят, в чем учнут записаться, и *таких оговорных людей велено и пытать...*»

И Скрябин опять взглянул на князя Василия, как бы желая удостовериться в том впечатлении, которое на него производит чтение

указа. Но на этот раз он встретил такой решительный и твердый взгляд и в нем прочел такой суровый ответ на свои взгляды, что поспешил уткнуться нос в бумагу и дочитать указ.

– Воля великих государей, – сказал князь Василий, – на расспросные речи будем отвечать правду. А если и пытаться нас укажут – ничего иного не скажем.

Князей рассадили в разные избы и, распечатав расспросные речи, приступили к допросу. Федор Бредихин вместе со Скрябиным допрашивали сначала князя Василия по двенадцати статьям, прочитывая ему статью громко и на особом листе бумаги записывая его ответы. К этим ответам князь Василий должен был приложить руку. Допрос длился несколько часов сряду, но ответчик давал такие сжатые и точные ответы, так умело и тонко рассчитывал каждое слово, что приставам приходилось удовлетворяться и записывать ответы сразу. К высказанному князь Василий не прибавлял потом, несмотря на все крючки и уловки Скрябина, ни единого слова.

Затем был в другой избе допрошен князь Алексей по одной статье, и к вечеру расспрос-

ные речи были запечатаны и отправлены в Москву с Федором Бредихиным, который был вне себя от радости, что мог свалить опальных князей на руки Павлу Скрыбину. Милостивцы и приятели оказали Бредихину истинную услугу.

Вслед за отъезжавшим приставом потянулся обратно громадный обоз с животами князей Голицыных, захваченными в дорогу из Москвы и от Троицы. Не забыты были даже и карлы Вахромеевы; о них была даже прислана особая бумага к приставам, в которой указывалось, на основании сведений, полученных от Мазепы, что князь Василий самовольно присвоил себе этих карлов, которых гетман будто бы не ему подарил, а только просил его довести до Москвы для передачи в дар великим государям.

На другое утро чем свет Скрыбин приказал разбудить князей и семейства их. Ему указано было везти их наскоро, без всяких остановок и «мотчанья», и он, видимо, собирался это выполнить в точности.

Сырой и холодный туман заволакивал окрестность, когда из слободки двинулся в

путь маленький поезд князей Голицыных, состоявший теперь уже только из двух небольших карет и десяти троечных телег... В одной из них на простом ковре, положенном сверх веревочного переплета, сидели князя Голицыны. Позади них на двадцати парных подводах ехали караульные стрельцы и Павел Скрябин со своею рухлядишкою, занимавшею пять подвод.

И отец, и сын молчали, грустно устремляя взор в туманную и немую даль.

XXXVII

Павел Михайлович Скрябин, имевший в Москве кое-какие связи и знакомства, отправляясь из Гавшинки, питал некоторую надежду на то, что и ему тоже не придется везти князей до самого Яренска. Ему почему-то представлялось, что его покровители и заступники сумеют о нем озаботиться не хуже, чем о Бредихине озаботились его милостивцы. «Доеду до Вологды, – мечтал суровый пристав, – а там уж, верно, пришлют на мое место кого-нибудь другого». И вот, ввиду ни на чем не основанных предположений, Скрябин спешил и погонял к Вологде, ехал почти безостановочно, нимало не обращая внимания на то, что князья и их семьи не были привычны к такой тяжелой и утомительной езде и должны были, при изнеженности и привычке к роскоши, с большим трудом переносить неудобства пути и недостаток в здоровой и свежей пище. Обе княгини и грудной внук князя Василия, конечно, простудились и расхворались дорогою и ехали полубольные. Князья страдали не менее жен, в первый раз

в жизни испытывая прелести осеннего переезда по русским проселочным дорогам в тряской телеге. Но Скрябин прикидывался, что ничего этого не знает и не замечает: ему нужно было поскорее добраться до Вологды. «Из Вологды пошлю доклад великим государям, что далее по бездорожью нельзя ехать до зимнего первопутка, а тем временем авось меня и заместят... Нечего мне от Москвы далеко-то забираться!»

По странному и совершенно случайному соотношению положений князь Василий и князь Алексей тоже мечтали об остановке в Вологде и о возможности отдохнуть от тяжелого и непривычного путешествия, как о чем-то весьма желанном и приятном. Князю Алексею приходило в голову даже и то, что, может быть, их только припугнули Яренским, а дальше Вологды и не повезут... Князь Василий, мрачно настроенный, озлобленный мелкими придирками пристава и непривычными условиями жизни, ни о чем не мечтал, ни на что не надеялся, но и над ним еще раз собиралась подшутить шалунья-судьба, и подшутить очень злобно, пробудив какие-то про-

блески упований на возможность улучшения участи...

По приезде в Вологду Скрябин остановился с князьями на Соловецком подворье и, думая здесь остаться довольно долго, озаботился о том, чтобы устроиться поудобнее. Сам занял он на подворье большую избу на середине двора, из которой во всякое время мог, сидя под окном, наблюдать, что делалось в двух меньших избах, отведенных под помещение князей с их семействами и их прислуги. Стрелецкий караул поставлен был у ворот подворья и на входном крыльце к княжеской избе, и сверх того капитаны по нескольку раз в день заходили к князьям для ближайшего за ними надзора.

Казалось, что всякие сношения с внешним миром были прерваны... «К ним и муха без моего ведома не пролетит!» – утешал себя Скрябин и совершенно погрузился в сочинение доклада великим государям и письма к боярину Тихону Никитичу Стрешневу. Но Скрябин совсем упустил из виду, что одно из окон княжеской избы выходило в огород подворья, обнесенный частоколом, и что имен-

но это окно облюбовал князь Василий и проводил около него большую часть дня, потому что из него не было видно ни капитанской избы, ни стрельцов, ни сторожей. По целым дням, сумрачный, унылый, он просиживал в глубоком молчании у этого окна, без всякой мысли устремив взгляд на тянувшиеся перед ним пустые гряды огорода, которые начинало порошить первым осенним снежком. Совершенно безучастно относился он к совершавшейся около него жизни, не замечая ни забот жены, ни устремленных на него с любовью и надеждою взоров сына и почти тяготясь невольною близостью к полубольной снохе и к маленькому внуку. Полное и вынужденное бездействие умственное и неподвижность физическая наводили на него какое-то оупение, погружали его мысль в состояние нравственной дремоты.

В один из тех сентябрьских дней, которые князь Василий просиживал под окном, он досидел до сумерек и уже собирался сойти с насиженного места, как вдруг увидел, что через частокол огорода перелезают два каких-то человека... В одном из них князь узнал своего

конюха Микитку; другой, закутанный в охабень, был ему совершенно неизвестен. Каково же было его удивление, когда Микитка подвел этого человека к самому окошку и сказал князю вполголоса:

– К тебе, князь-батюшка, с вестями из Москвы...

Князь отскочил от окошка как ужаленный.

– Что с тобою? – спросила его жена, подходя к нему и хватая его руку.

– Кто-то с вестями из Москвы! – мог только ответить ей князь, а через минуту незнакомец переступал уже порог избы, прокрадываясь в нее как вор и боясь скрипнуть дверью.

Опустив воротник охабня и перекрестившись на икону, вошедший поклонился князю Василию и сказал вполголоса:

– Чай, не узнал меня, государь?

Князь взгляделся в гостя и признал в нем Михайлу Кропоткина, ближнего стольника царя Иоанна Алексеевича.

– Узнать-то узнал, да не знаю – пугаться ли мне или радоваться твоему приходу?

– Уж и не говори, князь! Душа не на месте! Коли я у тебя попадусь твоим караульным на

глаза – пропала моя головушка! Возьми ты от меня, Христа ради, письмо и посылку да пиши поскорее ответ, а меня припрячь куда-нибудь покамест...

И он вытащил из-за пазухи холщовый мешочек, завязанный и запечатанный, и записку, писанную знакомым крюком; положив все это на стол перед князем Василием, он заговорил скороговоркой, наклоняясь к самому его уху:

– Призвала меня на Верх, в церковь Воскресенья (изволила быть у обедни), в церковных дверях остановила и говорит: «Слышала, что ты в свою Вологодскую деревню едешь, так буде можно, посмотри, как везут князя Василия. Ведомо мне учинилось, что везут его скованного в телеге и сказывают-де-которае у него была рухлядь – и то-де взяли на великого государя. Вот, говорит, отвези ему... что могу!..» Я было попробовал ей челом ударить, чтобы меня от того освободила: «Опасаясь-де я гневу государского...» Так куда тебе! Изволила прогневаться; говорит: «Если ты не послушен учинишься – и за Сибирью места не сыщешь!» Видя я такую напасть, уж не смел ей

и перечить, а только челом ей бил, чтобы мне какого бедства не было... «Ничего, говорит, не будет; отдай князю Василию золотые, что в мешке, и пусть на меня не обижается. А еще ему скажи, что, как увижусь с братом Петром Алексеевичем, стану просить, чтобы над князем Василием милость показал».

Но князь Василий его уже почти не слышал; он не верил ушам своим, не верил глазам... Ему казалось, что он видит во сне и этого человека, занесенного случаем из Москвы в Вологду, и этот посильный дар царевны Софьи, и теплый привет, присланный ею далекому другу, забытому всеми.

Князь Алексей увел Кропоткина в чулан, в котором сидели его мать и жена, а сам стоял у двери на стороже, пока отец его вздувал огонь, читал письмо царевны и писал на него ответ условным крюком.

Стоя у двери и прислушиваясь к малейшему шороху в сенях, князь Алексей не спускал глаз с отца и дивился той перемене, которая в нем произошла: щеки его горели румянцем, взор оживился и заблестал, рука быстро бежала, набрасывая строку за строкою...

– Ох, господи! Да кончит ли он? – шептал между тем князь Кропоткин, сидя в чулане. – Князь Алексей, попроси ты отца, чтобы отпустил мою душу на покаянье!..

Но вот князь Василий окончил письмо и, вручая его Кропоткину, мог только сказать:

– Кланяйся... расскажи, что сам видел...

Минуту спустя князь Алексей и Микитка тем же путем, через сени, проводили Кропоткина в огород и помогли ему перебраться через частокол.

А между тем князь Василий ходил взад и вперед по избе, с отвращением заглядывая в ее темные и грязные углы... Ему вспомнилась его роскошная палата, ему чудились в самом привлекательном свете картины дворской жизни, блеск и почет и раболепное преклонение перед ним – великих посольских дел и царственной печати Оберегателем... И он с отвращением и злобою возвращался от своих золотых грез к окружавшей его действительности и клял свою судьбу, и дерзал роптать, забывая о том, каких бед он избег, забывая о грядущих бедствиях.

А грядущее готовило новые удары... Скрыбин, ожидавший со дня на день ответов на свои письма в Москву, медлил с отъездом из Вологды и прожил на подворье еще две недели. Между тем наступила глухая осень, со слякотью, с холодными резкими ветрами. И вдруг вместо ожидаемого разрешения выждать земного пути из Москвы был прислан строгий выговор Скрыбину за остановку в пути и строгое приказание везти опальных князей, несмотря ни на что, к месту ссылки.

Приходилось ехать на Тотьму Сухоною, которая к осени обыкновенно мелеет, так что плавание по ней становится очень затруднительным. Пришлось всю рухлядь князей и их экипажи и телеги нагрузить на небольшие суда и бечевою тащить их по реке, перегружать на перекатах и беспрестанно стаскивать суда с бесчисленных мелей. На беду вдруг завернули легкие морозцы, реку затянуло тонким ледком, а потом повалил снег, – суда пришлось бросить и ждать возможности ехать рекою в повозках, поставленных на зимний ход. Местные жители остерегали Скрыбина: «Выжди, – говорили они, – дороги еще нет,

лед тонок, потому снега упали великие, а под снегом мерзнет лед мало и ваших тяжелых возов не подымет». Но Скрябин спешил, опасаясь новою выговора. 18 октября выехал он из села Турантьева, прокладывая дорогу по таким местам, где никто еще до него не ездил. Подвигались вперед всего по пять-шесть верст в день, а через речки и ручьи, пересекавшие путь, приходилось брести мужчинам пешком, перетаскивая на плечах сани и возки, перенося детей и женщин на руках.

«Господи боже, – думал опять князь Василий, совершенно изможденный трудным путем, – хоть бы до какого-нибудь крова поскорее добраться!»

– А вот и Тотьма! – сказал, оборачиваясь к нему, ямщик, указывая вдаль и как бы отвечая на его мысль. – Тутотка не больше трех верст будет. Как за реку Сухону переедем да на горку вздымемся – тут и есть!

Вот уже и на реку спустились, и не больше версты до городка осталось, и приветливо в тумане замерцали огоньки в окнах домов, и воображению путников стали в самом привлекательном виде представляться и теплый

угол, и горшок горячих щей... Но что это? Сзади раздается пронзительный, раздирающий душу крик! Десятки голосов разом зовут на помощь!

– Батюшки, тонем! Помогите! Спасите!

Все выскакивают из саней, бросаются на крики и с ужасом видят, что оба возка княгинь и повозка с женской прислугой медленно опускаются в широкую полынью... и вода, выступившая из-под тонкого слоя льда, заливают несчастных, с ужасом видящих перед собою неминуемую, неизбежную гибель...

Вопль ужаса вырывается у всех разом, и на мгновение всеми овладевает только одна мысль, одно побуждение: спасти погибающего ближнего. Все – князя и слуги, стрельцы и сам Скрябин – устремляются на помощь, не помня о себе, бросаются к полынье, лезут в воду, забывая о личной опасности!

По счастью, оказывается, что возки обломались не на глубоком месте и всех женщин и детей, обезумевших от страха, удалось вытащить из воды и кое-как привести в чувство.

И вот, когда после этого смертного страха продрогнувшие, иззябшие, мокрые князя

пришли в отведенную им дрянную избенку с закоптелыми стенами и спертым, затхлым, смрадным воздухом, когда они внесли в эту избу своих полузамерзших жен и детей, еще не оправившихся от перепуга, князь Василий впервые убедился в том, что у него есть в сердце привязанности, не имеющие ничего общего ни с внешним блеском, ни с мирскою суетною славою, ни с богатством, ни с соблазнительною роскошью и удобствами жизни.

Проведя бессонную ночь над изголовьем жены и молодой снохи, метавшихся в бреду на жесткой лавке, князь Василий в первый раз после отъезда из Троицкого посада позабыл о себе, о своем прошлом и будущем, и не роптал, и не сокрушался, и не жаловался, поглощенный заботою о ближнем и кровном.

XXXVIII

Княгиня Авдотья Ивановна поплатилась за испуг и жестокую простуду только легкой горячкою, но ее молодая невестка заболела жестоко, раньше времени разрешилась двумя девочками (из которых одна тотчас после родов и умерла) и пять недель сряду была на волосок от смерти. Едва только она начала немного оправляться, суровый пристав потребовал, чтобы князья собирались в дорогу, и двинулся на Сольвычегодск к Яренску. Каково было это путешествие, можно судить по тому письму, которое Скрябин, по прибытии князей на место ссылки, отправил к боярину Стрешневу. Заявляя своему начальнику и покровителю о том, что он прибыл «в Еренской городок Января в 6-м числе, совсем в целости», пристав при этом добавляет: «А езда, государь, моя была такая: лучше бы, государь, я болезнью какою лежал или в полону был, а нежели бы, государь, в таком мучении один день был». Можно судить по этому отзыву, каково было путешествие князей и княгинь с их малолетними и грудными детьми...

Яренск и теперь невелик город, и теперь в нем немного более тысячи жителей, а двести лет тому назад, по описанию самого Скрыбина, это был «городишко самый убогий, – всего и с церковниками, и с подьячими, и с приставами тридцать дворишек». С величайшим трудом отыскалось помещение для несчастных князей с семействами: им отвели две нежилых, черных (курных) избы, двор умершего протопопа. В одной избе помещались князья с женами и детьми, в другой – их люди. При этой тесноте постоянно ощущался недостаток в запасах для насущного пропитания и в дровах, которые пристав чуть не с боем брал у яренцев, потому что они не соглашались давать ему дров без указа, а в наказе, данном ему, этот пункт не был предусмотрен. Житье князей было такое, что князь Василий не раз вспоминал о тех горицких мужиках, у которых отнята была последняя одежонка и деньжонки; но по крайней мере не отнята была теплая изба... «Им, чай, получше нашего жилось», – думал князь, оглядывая свое горемычное жильё.

Но все же, припоминая свое пребывание в

Тотьме, где почти пять недель непрерывно пришлось провести у изголовья больной и беспомощной снохи, слушать ее стоны и вопли, видеть отчаяние сына, трепетавшего за жизнь жены, князь почти отдыхал в Яренске. Не мог он надивиться и на свою княгиню. Эта женщина, с детства воспитанная в роскоши, избалованная, изнеженная, привыкшая сладко есть и мягко спать, переносила все бедствия ссылки с таким мужеством и такою готовностью ко всяким напастям и бедствиям, что князь даже не мог понять, откуда бралась в ней эта замечательная сила духа. И это мужество было вовсе не похоже на ту напускную твердость и равнодушие, которые нередко высказывал князь, не желая унизиться и уронить своего достоинства перед Скрябиным и в то же время внутренне отчаиваясь, проклиная и ропща на судьбу... Нет! Это мужество исходило прямо из того безропотного покорства судьбе, к которому с детства приучала русскую женщину ее скромная и горькая доля – горькая даже и в раззолоченном боярском тереме, среди раболепной прислуги, среди забав и роскоши. Сознывая это, князь

Василий, впервые сблизившийся со своею женою, впервые узнавший ее, начинал чувствовать и всю свою виновность перед нею, начинал ценить ее голубиную незлобивость, начинал понимать, насколько она выше его прекрасными качествами своего женского сердца. Нередко, окруженный ее заботами, он уже стеснялся ее услугами и хлопотами о его спокойствии.

После двух-трех недель житья в Яренске, в этих ужасных черных избах, в которых в былое время он не позволил бы поставить рабочей лошади, князь Василий настолько успел окрепнуть духом, что стал каждый воскресный и праздничный день ходить с князем Алексеем и приставом в церковь и находить большое наслаждение в богослужении, которое совершалось в жалкой церковке, едва вмещавшей в себя тридцать – сорок прихожан. Его умиляла эта несказанная бедность, которую он видел около себя в храме Божьем, – эти оловянные сосуды, эти крашеные облачения с нашитыми на них кумачными крестами, эти почерневшие и облупившиеся иконы, которыми еле теплились грошовые

свечечки – усердный дар полудикаря-зырянина. Творец являлся ему Великим, Всемогущим, Всемиловитвым и в этом убогом храме, и князь молился здесь спокойнее, теплее, усерднее, чем в обширных московских храмах, блиставших золотом, узоровьями и камнями, залитых лучами солнца, игравшего на богатом облачении, полных благоухания и дивной гармонии стройных певческих хоров.

В то время, когда князь Василий только еще начинал понемногу оправляться в Яренске от постигших его тяжких невзгод, судьба готовила ему новые тяжелые удары.

В Москве о князе Василии не забывали его друзья и князь Борис, но не забывали и враги его. Розыск над сообщниками и единомышленниками Шакловитого все еще продолжался и приводил к новым открытиям. В «животах» казненного вора и изменника, тщательно разобранных и пересмотренных, была отыскана большая переписка, которую князь Василий вел с Федором Леонтьевичем во время двух Крымских походов.

В письмах князя Василия нашлись намеки, не совсем понятные, нашлись и целые стро-

ки, писанные крюками. Решено было в них потребовать объяснения у князя Василия. Мало того: пойман и привезен был в Москву Сильвестр Медведев и, подвергнутый пытке, сознался на допросе в своих сношениях с волхвами, которые, как оказалось, бывали и у царевны Софии, и у князя Василия. Являлся, следовательно, целый ряд новых обвинений против князя Василия, и, ввиду этих обвинений, особенное внимание Разыскного приказа обращено было на совершенно невинное письмо князя Алексея к отцу, писанное также во время одного из Крымских походов. В этом письме сын писал к отцу на условном языке о дворских делах вообще и выражался так: «Ветры у нас тихи; дай Бог и впредь так». И вот в расспросных речах приказано было дознаться подробно: «Что тем ветрам тишина, кто ему таким скрытным письмом писать приказывал, и для чего и почему он о тех ветрах дознавался, и каким гаданием и с которого и по которое число такие тихие ветры были, и что в тех ветрах каких причин было?»

В довершение всего, когда уже новые следователи готовились выехать из Москвы в

Яренск, разыгралась несчастная история с каким-то плутом, который называл себя старцем Иосифом (а впоследствии по розыску оказался расстрига Ивашка) и заявил в Москве, будто он был в Яренске, виделся с князем Василием и будто бы тот просил его зайти к князю Борису Алексеевичу и сказать ему, что «государю Петру Алексеевичу жить еще только год». И вот ко всем новым обвинениям против князя Василия прибавилось еще одно тяжкое обвинение в «умысле на государево здоровье» – обвинение, которое, если бы подтвердилось, должно было привести обвиняемого на плаху. Для расследования всех этих дел и важных вопросов в феврале 1691 года отправлены были в Яренск люди надежные и сановитые – окольник Иван Иванович Чадаев и думный дьяк Автоном Иванович, и с ними отправлен был чернец Иосиф для очной ставки с князем Василием и для допроса его на месте. Окольничему Чадаеву даны были большие полномочия и строжайшие приказания. Он должен был не только самих князей допросить с пристрастием, но и людей их пытаться, и перебрать всех поочередно постав-

ленных караулить Голицына, начиная от пристава Скрябина до последнего стрельца. Мало того: в случае нужды приказано было о том чернеце Иосифе допросить всех жителей города Яренска. Поехали к Яренску грозные послы и повезли грамоты немилостивые...

Князя Голицыны только вернулись из церкви, от обедни, только что уселись за стол, готовясь хлебать уху из свежей рыбы, купленной поутру княгиней у рыбака-зырянина, как дверь в избу отворилась и вошел один из капитанов.

– Ну, князь, – сказал он, переступая порог, – недобрые вести я вам принес. Приехали от Москвы думный дьяк да окольный и колодника сюда привезли на очную ставку с вами...

Ложки выпали из рук князей, а княгиня Авдотья Ивановна, державшая горшок с горячею ухою, так задрожала от страха, что должна была поставить горшок на стол.

– Господи! – взмолилась она, обращая взор к иконе. – Опять допросы! Опять мучения! Смилуйся, смилуйся над нами, грешными...

– Я затем забежал, чтобы вас обо всем предупредить, – продолжал капитан тре-

можно, – не было бы обыску какого... Если что у вас есть – смотрите, поберегите себя и нас! Чтобы и нам за вас не быть в ответе.

– Пусть придут – обыщут! Нет ничего зазорного, – сказал князь Василий, стараясь казаться спокойным.

– Да будьте готовы, князь! Того и гляди, не потребовали бы вас в Приказную избу, – сказал капитан, подходя к двери и готовясь переступить порог.

В тот же день вечером князья были точно призваны в Приказную избу к ответу на расспросные речи, а в их избе и в избе их людей обыскано и перерыто все до последней тряпки. Князей рассадили по разным избам, допрашивали их и вместе, и порознь... Допрос и записывание их ответов по двадцати девяти статьям с волхвами длился несколько дней сряду. В течение этого времени – этой долгой нравственной пытки – князьям не дозволено было даже видеться с женами, и несчастные женщины, томясь неизвестностью об участи мужей, утешались только долгою, горячею, слезною молитвою о спасении несчастных.

Князь Василий при этих допросах страдал

ужасно. Перед ним вдруг во всей полноте воскресла вся прошлая жизнь его и деятельность, раскрылись ухищрения и лукавства, которыми он добивался славы, почестей, богатств, видного положения в свете. И он, сознавая всю свою «мерзость перед Господом», должен был опять лукавить, чтобы избежать ответственности – спасти от гибели себя и сына.

Наконец долгий, мучительный допрос был окончен. Князь Василий надеялся, что ему дадут возможность вздохнуть свободно, хотя и недоумевал, какого колодника держат в запасе его строгие судьи и следователи. Тогда-то именно и был выведен на сцену наглый обманщик, именовавший себя старцем Иосифом. Князю Василию предъявлен был запрос о страшном извете, который возводил на него мнимый чернец.

– Государи мои, – сказал князь Василий, с полным сознанием своей невинности, – заклинаясь в том Всемогущим Богом, что никакой старец Иосиф не бывал у меня здесь в Яренске, ни в прошлом сто девяносто восьмом, ни в нынешнем сто девяносто девятом

году; что ни здесь, ни в Москве я никогда не слышал его имени, а те слова, которые он на меня в расспросе сказал, никогда и в мысль мою не вместились. Бог свидетель мне и в том, что я никого из Яренска ни с письмами, ни с словесным приказом не посылал...

Тогда ввели в Приказную избу чернеца Иосифа и дали ему очную ставку с князем Василием. Наглый чернец настойчиво утверждал и в глаза князю Василию, что он его знает, что он был от него к князю Борису послан с речами и даже получил сорок алтын на дорожку. В доказательство своих слов чернец говорил, что он узнает того человека, который его к князю проводил, что укажет и дом, в котором ту ночь ночевал, и хозяина того дома узнает в лицо.

Князь Василий слушал нахальное вранье и сам себе не верил. Ему представлялось, что сам ад выслал против него беса в изветчики и грозит ему гибелью... «Если этот обманщик и клеветник был когда-нибудь в Яренске и сумеет свои клеветы подтвердить хотя подобием истины, мне придется сложить голову на плахе как изменнику и злодею!» – думал

князь Василий, холодея от ужаса.

– Что ты скажешь на речи изветчика, князь Василий? – сурово обратился к Голицыну окольныйничий Чаадаев, вперя пристальный взгляд ему в очи.

Князь Василий собирался ему ответить с достоинством и рассуждением и вдруг почувствовал, что в нем что-то оборвалось, что в сердце его рушился последний оплот его гордыни и самомнения. Слезы градом покатились из глаз его. Позабывая о сохранении приличий и собственного достоинства, позабывая о людском мнении, князь разрыдался, как ребенок, и, ломая в отчаянии руки, воскликнул, упав на колени:

– Государи судьи! Бью челом великим государям, чтобы они меня пожаловали – велели бы милостиво разыскать всеми городскими жителями, и священниками, и церковниками: откуда этот чернец сюда пришел, у кого здесь ночевал и какою дорогою сюда попал? И если его извет подкрепят, пусть погибну я на плахе лютою и позорною смертью! Но не выдайте же меня, государи, лжецу и обманщику на посмеяние!

Несчастный князь долго не мог успокоиться. Чернеца отправили по городу с полковником Кровковым, да с подьячим Кузьминым, да со стрельцами и понятыми, требуя от него подтверждения его указаний на места и лица. Ложь его выяснилась вполне: он сбился и спутался, стал ссылаться на запямятование и даже на умоисступление и, сведенный поочередно на очные ставки со стрельцами, со священниками и местными жителями, вынужден был наконец сознаться, что он никогда в Яренске не был и взвел на князя Василия небывальщину...

Невиновность князя Василия по этому страшному извету была доказана, и все ответы по всем расспросным речам отправлены в Москву вместе с донесениями окольного Чаадаева и дьяка Иванова, которые должны были в Яренске выжидать ответа на их доклады из Разыскного приказа. Князя Голицыны были возвращены своим семействам, но князь Василий был так потрясен последними событиями, что не мог оправиться, не мог прийти в себя. Он беспрестанно плакал и без всякой причины всего пугался, вздрагивая

от каждого стука или шороха. Чуть только скрипнет дверь – он уже поднимался с лавки и тревожно спрашивал:

– Уж не за мной ли? Не опять ли к допросу?

В этом тяжелом состоянии трепетных ожиданий прошло более двух месяцев, которые показались князю Василию целую вечность. В одну из бессонных ночей под утро князь вдруг заснул так сладко, так хорошо, как не спал еще ни разу с самого отъезда из Москвы. Ему снилось, что он гуляет по какой-то чудной кленовой роще, вкось освещенной красноватыми лучами заходящего солнца, и беседует с каким-то маститым старцем отшельником, жалуясь на свою горькую долю, на переживаемые им напасти и смертные страхи. Старец слушал его участливо, внимательно, ласково, а потом погладил его по голове, как ребенка, и сказал ему в утешение:

– Ничего, соколик! Все обойдется, уладится, а ты не отчаивайся, Бога не забывай и помни: «Его же любит Господь, наказует!»

С этим князь Василий и проснулся.

В тот же день призваны были князя в

Приказную избу и сказан был им только что полученный из Москвы указ великих государей о том, чтобы «их, князь Василия и князь Алексея с женами и детьми, послать из Яренска в Пустозерский острог на вечное житье»...

Князь Василий, выслушав длинный указ, перекрестился на икону и сказал твердо:

– Господи! Да будет воля Твоя!

По какой-то странной случайности только в эту минуту окольныйничий Чаадаев и сам Скрябин заметили, что князь Василий в последние два месяца совсем поседел... И было от чего.

XXXIX

Эпилог

Минуло пятнадцать лет со времени описанных нами событий. Много воды утекло, много крови пролилось с тех пор... Царственный юноша, которого мы видели вступающим нетвердою ногою на престол, успел уже выказать себя Великим царем и могучим вождем своего народа. Сокрушив крамолу, вступив в борьбу с ненавистным невежеством и вековым застоєм, он смело вел Россию вперед тернистым путем преобразований, смело и твердо боролся с Карлом и в то же время строил, созидал, изобретал, неутомимо работая на пользу своего возлюбленного отечества. В Европе Петру изумлялись и много о нем говорили, особенно после того, как он прорубил знаменитое «окно», создав свой «парадиз» на болоте; в России – особенно на дальних ее окраинах – Петра мало знали, не очень любили и очень боялись.

Около Петра не осталось почти никого из старых бояр, с которыми он начинал царство-

вать. Одни из них почили сном праведных; другие сошли со сцены и удалились на покой; третьи навлекли на себя гнев пылкого царя и были заменены новыми людьми. Умерли братья Нарышкины и царица Наталья Кирилловна. Весною 1705 года в келье Новодевичьего монастыря скончалась всеми забытая царевна Софья, постриженная под именем инокини Сусанны... А братья-соперники все еще были живы! Князь Борис Алексеевич даже стоял еще у дел и пользовался по-прежнему расположением своего царственного питомца, который посещал его и даже из походов писал ему дружеские письма; князь Василий все еще был в ссылке и тоже давно был забыт всеми.

В половине июня 1705 года, когда скудная и скупая на ласки северная природа наконец побаловала теплом даже такую дальнюю и неприветливую окраину, как Пинежский Волк (ныне уездный город Пинега Архангельской губернии), ближайший к этому городку Красногорский монастырь готовился к храмовому празднику. Игумен и казначей осматри-

вали братские кельи, двор и холодную церковь монастырскую и рассуждали о том, что на поновление и поправку зданий потребуются порядочная сумма денег, до которой не хватало много в монастырской казне.

– Авось, Бог милостив, православные поусердствуют, как соберутся на празднике? – сказал игумен, добродушный седенький старичок лет семидесяти.

– Ну, этим усердием, отец игумен, крыши на храме не перекроешь! Здесь народ-то все – голь с беднотою!

– Ну, что Бога гневить! Жертвуют по возможности, – перебил казначея игумен. – Да и вперед не забегай – больше Бога не будешь... Ведь уж Он, Милосердный, коли даст, то и окошко подаст.

– Что говорить! У Бога всего много – недаром это говорится. Вот ведь посмотри, отец игумен, какой денек Бог дал красный! Не на радуешься и не удивишься... Все холода стояли – вдруг благодать какая!

Беседуя таким образом, оба старика подошли к воротам обители и почти одновременно увидели вдали, на дороге от села Кологор,

высокую фигуру человека, который довольно быстро шел, опираясь на палку и, видимо, направляясь к обители.

– А вот, кажется, и богомолец-то к нам жаует? – сказал игумен. – Посмотри, отец Антоний, у тебя глаза помоложе моих – должно быть, не князь ли?

– Кому же другому быть? Вестимо, князь Василий!

– Должно быть, соскучился, голубчик, по нас! За распутицей дней десять и у службы не был... Так вот по первой просухе к нам и поспешает?..

Между тем человек, шедший по дороге, подошел уже на такое расстояние, что его нетрудно было рассмотреть. Это был высокий сухощавый, но чрезвычайно благообразный старик лет шестидесяти пяти, с белыми как снег кудрями и окладистой седою бородою. Прекрасное, умное и выразительное лицо старика было изрезано глубокими морщинами, но он был свеж и бодр, и в его глазах еще было много блеску и жизни. Однако же и в этом старце, одетом в простой суконный темный кафтан на олешках и в поношенную шапку с

лисьей опушкой, трудно было бы узнать князя Василия – бывшего Оберегателя и первостепенного вельможу. Так изменили его годы и тяжкие испытания!

– Отцу игумну и отцу казначею низкий поклон правлю! – сказал князь Василий, подходя под благословение игумна и дружелюбно здороваясь с монахами.

– Ты ли по нас больше встосковался, или мы по тебе больше соскучились, князь, – уж, право, не знаю, – сказал Голицыну игумен.

– Все эти дни к вам порывался, отцы, да старуха моя все что-то недомогала, да притом... и вести пришли недобрые... на душе было беспокойно – а уж тогда какая же молитва!

– Что же у тебя за горе, князь? В семье, что ли? С детьми или с внуками что-нибудь неладно?

– Нет, отец игумен, не то... А вот что: умер человек близкий, дорогой! В былое время хороши с ним были – и пострадали вместе... Так вот, отец игумен, просьба до тебя... Нельзя ли теперь же отслужить панихиду, а потом и сорокоуст положим...

– Рады служить тебе, князь. Пойдем в храм.

Отец Антоний, прикажи отпереть да созови братию, – сказал игумен.

Вскоре раздались удары в звонкое било, и братия стала собираться в церковь.

– По ком же, князь, прикажешь панихиду петь? – спросил игумен у князя Василия.

– По усопшей рабе Божьей Софии, – отвечал князь Василий, печально наклоняя голову.

– Болярыне?.. – как-то нерешительно переспросил старый инок, делая вид, что недослышал.

– Нет! По рабе Божьей, отец игумен... Что за болярин? Был болярин – и нет болярина; а был раб Божий – и остался рабом Божьим; и останусь, пока Богу угодно...

Когда началась панихида, князь стал за столбом на клиросе, опустил на колени и все время усердно молился за упокой той пламенной и гордой души, которая так горячо его любила и так непоколебимо осталась ему верна до конца... Он молился и сам не замечал, как обильные слезы текли из его глаз и катились по серебристым сединам. Когда панихида окончилась, князь Василий отер сле-

зы и подошел к игумну.

– Вот, отец игумен, примите вклад за сорокоуст по усопшей рабе Софии, – сказал князь Василий, подавая иноку сверток в десять червонцев. – Пятнадцать лет тому назад она мне эти золотые прислала в милостыню, наслышавшись о моей горькой нужде... И думал ли я, что переживу ее?

И князь Василий смолк, поникнув головою.

Игумен подозвал казначея, который изумился, когда ему был передан богатый вклад князя Василия.

– Вот видишь ли, отец Антоний, какова благодать-то Божия! Ты был в сомнении, что нечем нам поновить обители... Теперь что скажешь?

– Ничего сказать не дерзаю, отец игумен! Одно только и можно – благодарить Его, Всеблагого.

По выходе из храма князь Василий сказал казначею:

– Да! Велика благодать Божия! И пути ее точно неисповедимы! В то время, когда я находился на краю гибели и все дорогие и близ-

кие видели перед собою уже наступавший час смертный, Господь через пучину морскую вел нас ко спасению и к успокоению... Давно это было, еще в сто девяносто девятом году, как постигла нас царская немилость и были мы посланы из Яренска в Пустозерский острог на вечное житье... И вздумалось сдуру приставу везти нас морем, через Архангельский город. Чего мы там натерпелись, горемычные! Истинно, говорю вам, отцы, – кто на море не бывал, тот Богу не маливался!

– Что же это? Погодой вас било, что ли?

– Из Двинского устья не пускала нас встречная погода, побольше трех недель, и сутки с лишком так была, что насилу мы от смерти избавились. Потом повезли нас морем, и пришла опять погода встречная, с туманом, и кинуло нас на песок, и насилу спаслись. Чуть поотдохнули, опять настигла нас погода с великою бурей и захватила парус, и ладью совсем стало грузить в море. Работные люди еле успели сорвать парус; и било нас великим боем, и все наши лодьи разнесло врозь по морю. Под конец у Моржевого острова ладью нашу на берег кинуло и раздробило, и

все мы лежали долгое время как мертвые, – и нас, и жен наших, и детишек одолела лютая болезнь... И лица наши, и все тело опухло... Не чаяли быть живыми... И что же? Этими-то мучениями мы и спаслись от вечной ссылки в Пустозерский острог!

– Как же так, князь Василий?

– А так, что мы великим государям в пространной челобитной рассказали, какие терзания нам пришлось перенести на море, и просили их именем Божиим над нами смиловаться... Ну и смиловались – дозволили жить сначала на Мезени, а потом и сюда переселиться; и здесь-то наконец нашел я тихое пристанище... Здесь у вас в ограде и могилу себе облюбовал...

Князь Василий смолк и задумался.

– И вот эти самые червонцы, что я вам сегодня вкладом вложил, были со мною и на море, в шапке защиты... И сколько мы там добра потеряли, сколько всякой рухляди и запасов пучина морская поглотила, а шапка цела осталась... На все воля Божия!

И, распрощавшись с иноками, князь пошел обратно по дороге, к селу Кологорам, по-

груженный в глубокую думу...

«Меня смирил Господь, – думал он на пути домой, – я давно успокоился, и не тянет меня в мое прошлое! Здесь я в душу свою заглянул, здесь нашел время о ней позаботиться – а там ведь недосуг все было! Дела да соблазны, вражда да злоба! Смирилась ли *она* – хоть перед смертью-то? Нашла ли себе успокоение от мирских тревог? Простила ли брату и всем ненавидевшим ее? Трудно спастись в тамошней келье... Упокой, Господи, ее тревожную душу!..»

И действительно, князь Василий нашел здесь, на далеком Севере, полное успокоение души, при здоровой и простой жизни тела – единственное прочное счастье, какого можно желать человеку! Давно забытый и врагами, и друзьями, князь Василий уже года три жил в селе Кологорах, близ Красноярского монастыря, где у него был выстроен небольшой домик. Жил он только с женою своею, княгинею Авдотьей Ивановной, потому что сын его Алексей лет пять тому назад «помрачился разумом» и впал в детство, причем и ему, и его жене, Марье Исаевне, разрешено было вер-

нуться вместе с их детьми в Москву, в дом отца ее, боярина Квашнина. Младший сын Михаил потребован был на службу царскую и служил во флоте... Старики доживали свой век одиноко, сносясь изредка только со Стрешневыми, родней Авдотьи Ивановны, да с Одоевскими – дочь Ирина Васильевна не забывала отца и матери, и при ее помощи они жили в своей глуши безбедно, ни в чем не нуждаясь, тем более что научились ограничивать свои потребности только существенно необходимым. Шум, блеск, слава и ослепительная роскошь прежней жизни в Москве иногда мерещились князю во сне и давили его тяжелым кошмаром, но наяву он уже не вспоминал об этом прошлом и отворачивался от него «без зависти и гнева».

Дом князя Василия стоял на самом въезде в село Кологоры, направо от дороги. Эти «княжьи хоромы», как называли их кологорцы, состояли из чистой и просторной избы в два жилья, с крытым двором и клетью около ворот. В верхнем жилье жил князь с княгинею, а в нижнем помещалась кухня и жили двое слуг – старик и старуха – единственные пред-

ставители всей многочисленной голицынской дворни, выехавшей с опальными боярами из Москвы. Когда по указу государей решено было отправить князей из Яренска в Пустозерск, то всем их людям предложено было или остаться при них, или получить отпускные и вернуться к Москве.

Из пятнадцати человек шестеро не решились покинуть господ своих в страшной ссылке и перенесли все ужасы странствования по морю, все бедствия житья на Мезени и в Кевроле, где Голицыны жили, пока им не было разрешено поселиться в Пинежском Волоке. Из этих шести человек четверо отъехали к Москве с князем Алексеем и его семьей, а двое остались доживать свой век в Кологорах.

На пороге дома, у калитки, князь был встречен старым слугою, который, сидя на завалинке, грелся на солнце.

– Что, Василий? Небось старые кости распарить вышел? Любо? – ласково окликнул слугу князь Василий.

– Как не любо, батюшка-князь, одна благодать!

На крыльце ожидала князя видная, свежая

и бодрая старушка княгиня, закутавшись в старенькую телогрею коричневого цвета, на сильно потертом собольем меху, – то был единственный остаток ее роскошной «платенной казны», от которой когда-то ломились высокие сундуки и пузатые скрыни.

Князь поцеловался с женою и присел на лавочку крыльца, любясь солнечным днем и оживающею зеленью.

– Что ж? Отслужил панихиду-то? – спросила мужа княгиня.

– Отслужил, – тихо и спокойно сказал князь, отворачиваясь в сторону.

– Ну и дай ей Бог на том свете такой же покой, какого мы с тобой на этом свете дожили!

Старики посидели на лавочке и вошли в свою просторную светлую комнату, ничем в убранстве не отличавшуюся от избы зажиточного мужика-северянина.

В углу накрыт был белою скатертью стол. Княгиня ожидала мужа к обеду.

– Чем это, Дунюшка, так хорошо сегодня у нас пахнет? – спросил князь Василий, снимая кафтан и усаживаясь к столу на лавку.

– А это я без тебя подушки твои перебива-

ла, – смеясь, сказала княгиня, – да вздумала тебе в них душистых здешних трав положить. Вспомнила, как ты прежде любил немецкие духи и как я о твоих подушках хлопотала, как мы из Москвы выезжали... Чай, на тех подушках и теперь еще тот пристав спит, который у нас их отобрал при описи!

И оба старика добродушно рассмеялись, принимаясь за свою скромную трапезу.

В одном из темных приделов главного храма во Флорищевой пустыни есть скромная могила. Надпись на полуистертой каменной плите гласит, что под нею погребен инок Боголеп, в мире носивший громкое имя князя Бориса Алексеевича Голицына. Воспитатель Петра, достигнув глубокой старости, за год до смерти удалился в ту дремучую лесную глушь, которая и теперь еще окружает Флорищеву пустынь, и скончался здесь 18 октября 1714 года. Вероятно, и он также пришел сюда искать единственного возможного в жизни счастья – покоя и забвения.

Примечания

1

При согласии и малые дела растут, несогласие и большие разрушает (*лат.*). – *Ред.*

[^^^]

Переведенные на русский язык выписки из иностранных газет.

[^^^]

Имением.

[^^^]

4

Ей в это время было 29 лет.

[^^^]

5

То есть духовенству черному и белому.

[^^^]

6

Жалованье – в смысле пособия, пенсии.

[^^^]

Герб В. В. Голицына изображал вооруженного всадника, скачущего на коне.

[^^^]

8

Высокочтимый! (*лат.*) – *Ред.*

[^^^]

9

Разделяй и властвуй (*лат.*). – *Ред.*

[^^^]

Намерения (*лат.*). – *Ред.*

[^^^]

Ваше высококочтимое высочество! (*лат.*) – *Ред.*

[^^^]

Ваша высокоименитость (лат.). – Ред.

[^^^]

Иларион Лопухин после женитьбы Петра на его дочери наименован был Феодором, отчего и супруга Петра именовалась не Иларионовною, а Феодоровною.

[^^^]

То есть падучая болезнь.

[^^^]

Здесь под общим названием «книжной справки» князь Борис понимает *исправление книг* во времена патриарха Никона, при царе Алексее Михайловиче.

[^^^]

16

То есть без всякой проволоочки.

[^^^]

Аламы – драгоценные застежки из золотого плетения, с жемчугом и камнями.

[^^^]